

лениздат



библиотека
молодого
рабочего

Виктор Курочкин

Виктор Курочкин
**На войне
как на войне**





библиотека
молодого
рабочего

Виктор Курочкин
На войне
как
на войне

ПОВЕСТИ

ЛЕНИЗДАТ · 1984

84 3(2)7
К93

К $\frac{4702010200-035}{M171(03)-84}$ 200—84

© Вступительное слово, оформление,
Лениздат, 1984

Сколько написано книг о Великой Отечественной войне — документальных и художественных, прозаических и поэтических?

Пожалуй, и самый дотошный библиограф затруднится сегодня ответить на этот вопрос.

А вот какие книги о солдатском подвиге читаются постоянно и любовно, на протяжении многих лет и десятилетий, читаются молодыми и старыми, с незатухающим интересом, с волнением сопереживания и даже сопричастия, — об этом вам скажет любой наблюдательный библиотекарь. Скажет и посоветует что-то прочесть, а если какая-то из этих книг окажется на месте, то и предложит ее вам.

Обычно-то эти книги на библиотечных полках не задерживаются. Они несут свою службу в народе. И выглядят они под стать тому солдату-пехотинцу, который только что вышел с переднего края. Вспомните его по документальным кинокадрам военной поры. Изрядно обносившийся, в потрепанном, а то и простреленном обмундировании, с обветренным потемневшим лицом — одни только глаза и посветят тебе в ответ, когда на него помотришь. А где-нибудь на привале,

перекусив и свернув самокрутку, начнет неторопливый и негромкий, хрипловатым голосом рассказ:

«Так вот, значит, стояли мы тогда в лесу, а потом двинулись...»

Так вот, значит...

«Двадцать четвертого декабря 1943 года Первый Украинский фронт перешел в наступление...»

Настоящий солдат любит во всем обстоятельность и точность: где это было, когда, и что было перед этим. Стояли в лесу. «Лес этот младший лейтенант Малешкин — командир СУ-85 — считал ни с чем не сравнимым убожеством. Немецкие летчики с артиллеристами так его обрабатывали, что он просматривался насквозь: и с боков, и сверху.

Две ночи экипаж Сани Малешкина сидел под машиной в яме, около танковой печки. В яме было невыносимо жарко...»

Обстоятельно, с точным обозначением стратегической обстановки на фронте, с бытовыми подробностями, начинается повесть Виктора Курочкина «На войне как на войне». И все в ней действительно «как на войне». Это и есть сама война, увиденная и рассказанная приметливым, памятьливым и много пережившим солдатом. На ней ведь так: сейчас тихо и по-своему уютно в натопленном укрытии, через минуту приказ — и в бой, в крошечный кровавый ад. Сейчас улыбка и шутка, через минуту — смерть.

Как на войне, так и в книге.

Сам Виктор Курочкин, как и многие из нас, писателей — ветеранов Великой Отечественной, мальчишкой пришел на фронт. В звании младшего лейтенанта он принял командование тяжелой самоходкой, прошел через небывалое танковое сражение на Курской дуге, был ранен, за боевые дела награжден орденами Отечественной войны I и II степени, орденом Красной Звезды. Солдат по всей своей сути. И оттого-то война в его изображении — истинная, подлинная.

Однако прекрасных солдат было в нашей армии великое множество, их были миллионы. У каждого из них нашлось бы что порассказать, и многие из них до сих пор вспоминают и рассказывают случаи и эпизоды, может быть, более удивительные, чем в книге Виктора Курочкина. Но книгу эту мог написать только он, один из многих воевавших и один из немногих пишущих, кому удалось найти на редкость верный тон рассказа и

создать предельно правдивые образы воинов-фронтовиков.

Он не стремится удивить, поразить или напугать читателя, нигде не пытается как-то превознести и возвысить своего главного — и любимого им! — героя. Больше того, автор временами даже «приземляет» Саню Малешкина — в том святом смысле, что показывает его истинно земным человеком, со всеми его особенностями, странностями, неудачами. У молодого командира не слишком хорошо складываются отношения с непосредственным начальством, то и дело возникают какие-то сложности — то серьезные, то смешные — в собственном экипаже. Иногда он кажется не слишком ловким и находчивым, но вот чем его не обидела судьба, так это сознанием ответственности, честностью, чувством долга. И как же расцветает этот человек уже в первом для него серьезном бою!..

О Сане Малешкине можно бы говорить много, но лучше всего это сделал сам автор, и вам, сегодняшним его читателям, предстоят добрые часы знакомства и с Саней, и с самим автором.

Некоторые наши товарищи литераторы склонны были отождествлять самого Виктора Курочкина с его Саней Малешкиным. Какие-то основания для этого вроде бы есть. Виктор Курочкин не любил громких слов, он хорошо видел забавное и смешное (одно время даже собирался стать актером) — и все это чувствуется в обрисовке образа Сани Малешкина. Мы слышали от Курочкина, как в одном бою он шел впереди танка с пистолетом, — и этот эпизод был «передан» Сане Малешкину. Есть сходства биографические, по большей части — внешние. На самом же деле автор был куда сложнее и многограннее, чем его герой в этой повести. Курочкин был талантливым писателем — прежде всего! Именно это и придает его героям и книгам неповторимые черты достоверности, заставляет искать прототипы.

В эту книгу вошли и другие произведения Виктора Курочкина — «Железный дождь», «Урод», «Наденька из Апалева», журнальный вариант ранней повести «Судья Семен Бузыкин». Они покажут вам и несколько «другого» Курочкина, а в сущности — того единственного, который только и мог вот так, по-своему, рассказать нам о войне, о любви, о доброте человеческой. Где-то он пишет с почти незаметной хитрецей и усмешечкой, где-то — открытым сердцем, что называется, грудь нарас-

пашку, и все это Курочкин, Виктор Александрович, наш Виктор, к великой нашей горести преждевременно ушедший от нас.

Нам осталось то, что он успел оставить. Но это совсем немало. Его повесть «На войне как на войне» уже вошла в золотой фонд русской военной прозы, и ей обеспечена долгая славная жизнь... В ней, как и в других своих произведениях, продолжает жить и продолжает вести бой за человечность писатель-фронтовик Виктор Курочкин.

Иван Виноградов

НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ ЖЕЛЕЗНЫЙ ДОЖДЬ



НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ

Двадцать четвертого декабря 1943 года Первый Украинский фронт перешел в наступление. На участке Радомысль — Брусилев оборону немцев прорывала 3-я гвардейская танковая армия. Первые три дня самоходный полк полковника Басова находился в резерве начальника артиллерии 6-го гвардейского танкового корпуса.

Самоходки закопались в лесу, куда они прибыли еще за два дня до начала наступления. Лес этот младший лейтенант Малешкин — командир СУ-85 — считал ни с чем не сравнимым убожеством. Немецкие летчики с артиллеристами так его обработали, что он просматривался насквозь: и с боков, и сверху.

Две ночи экипаж Сани Малешкина сидел под машиной в яме, около танковой печки. В яме было невыносимо жарко, и дым безжалостно выедал глаза. Огонь в печке надо было поддерживать все время. Таков был приказ командира полка.

Последнюю ночь Саня не смыкал глаз до утра. Дежурство у печки он побоялся доверить даже заряжающему — ефрейтору Бянкину, самому опытному и толковому бойцу экипажа. Накануне в полку произошло ЧП. Экипаж Саниного приятеля лейтенанта Пашки Теленкова так усердно топил печку, что раскалил

днище машины. Дюритовые соединения на трубопроводах обуглились и лопнули. Из мотора и баков вытекло все масло и горючее. Если бы полк не задержался в лесу еще на сутки по каким-то неизвестным Сане Малешкину причинам, Теленкову могли бы приписать умышленную порчу машины перед боем и отправить его в штрафную роту. Но Пашку пощадили. Впрочем, Пашка — парень действительно отчаянный, смелый, а самоходку вывел из строя потому, что уснул с экипажем и чуть сам не сгорел.

Младший лейтенант Малешкин подогревал свою самоходку осторожно и все время беспокойно ощупывал днище под мотором. По мнению Сани, температура была в самый раз, чтоб мотор завелся в одну секунду и самоходка, выскочив из ямы, ринулась в бой.

На войне младшему лейтенанту Малешкину пока что ужасно не везло. Вот уже полгода как он на фронте, а еще не выпустил по врагу ни одного снаряда. На своей самоходке Саня догонял немцев по пыльным дорогам Полтавщины вплоть до Днепра. И вот тут ему, казалось, улыбнулось счастье. Но увы! Оно только улыбнулось — не больше. Во время переправы на Буклинский плацдарм, когда Санина самоходка уже вскарабкалась на паром, немец словно нарочно пустил всего лишь один снаряд, и он плюхнулся у парома. Никто не пострадал, кроме Малешкина. Осколком снаряда, словно гигантским топором, обрубило у пушки конец ствола. Нелепый случай! А не будь его, Саня переправился бы на ту сторону реки и наверняка стал бы героем. По крайней мере, он так думал. Впрочем, кто знает, может, и стал бы. В приказе командующего фронтом значилось, что первый воин — пехотинец, танкист, артиллерист, — ставший ногой на правый берег Днепра, получает звание Героя Советского Союза. А ведь Санина машина переправлялась первой.

Самоходку Малешкина стащили с парома и поволокли в тыл менять пушку. Ребята воевали, дрались за Киев, а он все это время сидел около пустого корпуса своей самоходки. За это Пашка Теленков присвоил ему звание «корпусного генерала». Оно так прилипло к Малешкину, что теперь редко кто называл его младшим лейтенантом.

Очередного наступления Малешкин ждал с нетерпением и твердо был уверен, что в конце концов он покажет себя. Всю эту длинную декабрьскую ночь Саня подогревал машину, размышляя о своей злосчастной судь-

бе, думал о предстоящих боях и мечтал об ордене. У всех ребят в полку были ордена, у Пашки Теленкова — три. А у Малешкина — ни медали, ни значка.

Под утро Саня чуть-чуть прикорнул и был разбужен зычным голосом комбата:

— Командиры машин, ко мне!

— Подымайся! Живо! — закричал Саня на свой экипаж, который вповалку спал на дне ямы.

Командир четвертой батареи капитан Сергачев в белом полушубке, туго стянутом ремнями, нетерпеливо поспегибал прутиком по голенищу хромового сапога.

— Гвардии младший лейтенант Малешкин по вашему приказанию явился! — прокричал Саня, приложив к ушанке черную, как у трубочиста, руку.

Сергачев не то с удивлением, не то с презрением посмотрел на Малешкина:

— Шапку поправь, разгильдяй.

Саня схватился обеими руками за шапку, повернул ее на сто восемьдесят градусов, перетащил с бока на живот пряжку ремня и, став по стойке «смирно», без страха ел глазами командира. Весь его вид говорил: «Смотри, комбат, какой я сегодня молодец, не только шапку, но и ремень поправил».

Подбежал лейтенант Теленков и тоже доложил, что он явился.

— Машина готова? — вместо приветствия спросил комбат.

— Так точно, товарищ капитан! Всю ночь работали.

— Скажи мне спасибо, а то бы наверняка тебя под трибунал закатали.

Легко подпрыгивая, прибежал младший лейтенант Чегничка, стукнул каблуками и ловко вскинул к бровям руку. За ним не торопясь, развалисто подошел лейтенант Беззубцев и небрежно махнул рукой. Этого угрюмого широкоплечего офицера на батарее побаивались и уважали. Он всем им годился в батьки, обладал невероятной силой и удивительным спокойствием. У Беззубцева была тяжелая нижняя челюсть, исковерканная осколком, квадратный нос и крохотные колкие глаза. Вздувшаяся на лбу синяя вена, словно веревка, стягивала его мысли. Вероятно, поэтому Беззубцева считали тугодумом.

Сергачев внимательно осмотрел свой комсостав и, кривя тонкие губы, усмехнулся:

— Ну и видик! От одного вашего вида немцы разбегутся куда попало.

— Пусть разбегаются. Мы к ним не на блины собрались,— проворчал лейтенант Беззубцев.

Малешкин, чтобы сгладить столь неучливое отношение угрюмого Беззубцева к комбату, радостно воскликнул:

— Вы б посмотрели, товарищ капитан, на моего механика-водителя. Вот это видик! Черт чертом. Словно его из пекла вытащили.

Сергачев на столь важное замечание Малешкина не обратил внимания и приказал приготовить карту.

— А у меня ее нет,— пожаловался Саня.

— У тебя никогда ничего нет,— заметил комбат.

— А я виноват, что мне ее не дали? — обиженно протянул Малешкин.

Сергачев отлично знал, что Малешкину карты не досталось, и все же не упустил случая упрекнуть его в разгильдяйстве.

— Отмечаем по карте маршрут движения. Младший лейтенант Малешкин, достаньте бумажку и записывайте...

Саня схватился за сумку, которая болталась сбоку, и стал торопливо ее расстегивать. В сумке бумажки не оказалось. Вообще в ней ничего не было, кроме трех кружков печенья — остаток дополнительного пайка, который он вчера получил и вместе с экипажем в один присест уничтожил. Саня об этом знал и в сумку полез просто так, для отвода глаз комбата.

Сергачев перечислял села, мимо которых они должны были ехать, и названия их были очень знакомые: все те же Каменки, Боярки, Городища, Барановки. А сколько их за полгода проехал на своей самоходке младший лейтенант Малешкин! Потом мысли Сани перекинулись на самого себя. Он с тоской размышлял о том, отчего ему так не везет в жизни. Все над ним насмеются, подтрунивают, что ни случись в полку — все сразу почему-то вспоминают Малешкина. До чего дошло — карты ему не дали! Всем хватило, даже командиру автоматчиков, а командиру машины, основной боевой единицы в полку, не досталось. А зачем этому автоматчику карта? Ведь он со своим взводом только и делает, что штаб охраняет.

Горестные размышления младшего лейтенанта Малешкина прервал голос комбата:

— Вопросы будут?

Саня вздрогнул и непроизвольно громко выпалил:

— Вопросов нет. Все ясно, товарищ капитан.

Пашка Теленков захохотал. Даже мрачный Беззубцев заулыбался, и хмурое лицо его стало необыкновенно ласковым и добродушным. Капитан Сергачев показал Малешкину кулак.

— На подготовку и завтрак — двадцать минут.

Когда Малешкин вернулся к своей самоходке, заряжающий с наводчиком сидели на верху машины под брезентом и курили. Они не обратили на своего командира никакого внимания. Это взорвало Саню.

— Чего сидите? — закричал он. — Встать!

Наводчик с заряжающим вылезли из-под брезента, неуклюже поднялись, переглянулись, пожалы плечами.

— А где Щербак?

— На кухню пошел, — ответил наводчик.

— За завтраком, — пояснил заряжающий.

— Я вас не спрашиваю, ефрейтор Бянкин, за чем он пошел. Я спрашиваю, почему Щербак пошел, а не вы? — Саня передохнул. — Сколько раз запрещал отлучаться водителю с наводчиком. Почему не исполняются мои приказания?! — У Сани голос сорвался, и он последние слова просвистел фистулой.

Сержант с ефрейтором опять переглянулись и, как показалось Сане, усмехнулись нарочно оскорбительно.

— Сержант Домешек, прекратите корчить рожи и отвечайте на вопрос: почему не исполняются мои приказания?

Сержант Домешек, тощий одесский еврей с выразительными печальными глазами, принял стойку «смирно».

— Не могу знать, товарищ гвардии младший лейтенант.

— Ефрейтор Бянкин, почему не выполняются мои приказания?

— Почему? — Бянкин вздохнул, сдвинул шапку на лоб, со лба опять на затылок и, глядя на командира ясными, невинными глазами, пояснил: — Очень Гришка Щербак любит ходить на эту кухню.

— Даже больше, чем старый еврей в синагогу, — добавил Домешек.

От этого замечания у Сани не дрогнул ни один мускул, хотя кто знает, каких усилий ему это стоило. Он сердито посмотрел на своего наводчика.

— Отставить шуточки, сержант, — и хотел было четким командирским голосом отдать приказ на выступление. Но командирский запал у него уже иссяк. Саня широко улыбнулся и радостно сообщил, что через два-

дцать минут полк выступает, что наконец-то они выбе- рутся из этого проклятого леса. Однако наводчик с за- ряжающим не разделили Саниного восторга. Фронтная жизнь научила их многому, и в первую очередь — не торопиться. Заряжающий с наводчиком стали сворачи- вать брезент. Появился Щербак с картонной коробкой, которую он держал перед собой обеими руками. Забыв про брезент, экипаж Малешкина наблюдал, как Щер- бак осторожно обходит упавшую сосну. Всех, конечно, интересовал не сам Щербак, а картонка. Поставив ко- робку у ног Сани, Щербак выпрямился, козырнул и, глупо улыбаясь, доложил:

— Водку и энзе выдали, товарищ лейтенант. А чтоб два раза не ходить, я выпросил у чмошников коробку.

Чмошниками солдаты называли хозяйственников. В переводе это слово не выдержит никакой цензуры.

В коробке Щербак приволок два котелка супа, фляжку с водкой, хлеб, сухари, четыре куска сала, че- тыре банки свиной тушенки и кулек с сахаром. Саня, забыв про свое возмущение, искренне похвалил его за солдатскую смекалку, и экипаж здесь же, на несверну- том брезенте, сел завтракать. Выпили по сто граммов водки, закусили энзеновским салом, принялись за суп. У одного котелка пристроились наводчик с водителем, у другого — Саня с ефрейтором. Осип Бянкин почистил пальцем ложку и, навесив ее над котелком, ждал, когда командир приготовит свою. Но Саня, сколько ни шарил за голенищем, ложки там не находил. Не оказалось ее и в другом сапоге.

— Черт знает куда она девалась,— пробормотал Малешкин, виновато посматривая на Бянкина.— Вчера, ты помнишь, была?

— Наверное, под машиной в яме валяется,— заме- тел ефрейтор,— слазить посмотреть?

— Не надо. Я сам. Чего ты смотришь? Жри,— сер- дито приказал Малешкин и полез под машину.

Минут десять Саня рылся в песке и наконец нашел свою ложку на гусенице под опорным катком. Саня крепко выругался и закричал:

— Эй вы, черти, кто мою ложку под каток засунул?

— Я, наверное,— отозвался Щербак.

— Что же ты мне сразу не сказал?

— Забыл...

И прежняя злость на механика-водителя вспыхнула у Сани с еще большей силой.

— Ты вечно все забываешь.— Саня выполз из-под

самоходки и, держа ложку как пистолет, пошел на Щербака.— Я тебе запретил шляться на кухню? А ты опять забыл? Зачем потащился на кухню, а? Встать, разгильдяй, когда с тобой разговаривают!

Щербак поднялся и сгорбясь, опустив голову стоял перед командиром.

— Отвечай, почему пошел на кухню?

— За завтраком.

— А почему ты пошел?

— А кому-то все равно надо было идти.

— Не кому-то, а заряжающему! Я же приказывал!

— Приказывал,— как эхо повторил Щербак.

— А почему же вы, Щербак, нарушаете мой приказ?

— А Бянкин мне сказал: «Бери котелки и топай на кухню».

— А кто здесь командир? Я или Бянкин? Отвечай мне, кто здесь командир — я или...

— Конечно, вы, товарищ лейтенант. И полно вам ругаться. Рубайте суп, а то совсем холодный будет,— сказал ефрейтор и потянулся к банке с тушенкой.

— Отставить тушенку, ефрейтор Бянкин. Разве вы не знаете, что это неприкосновенный запас?! — прикрикнул Саня на заряжающего.

Ефрейтор покидал с руки на руки банку и, вздохнув, бросил ее в коробку. Саня, довольный тем, что Бянкин, которого он, откровенно говоря, побаивался, беспрекословно выполнил его приказание, уже не так грозно смотрел на водителя, и голос его сразу подобрел. Он еще продолжал ругать Щербака, но гнев его теперь звучал как награда собственному самолюбию. Впрочем, ругать Щербака можно было сколько хочешь. Он никогда не возражал, да и не обижался. Он чем-то напоминал старую, задубелую клячу, которая, сколько ее ни бей, сколько на нее ни кричи, не оглянется и не прибавит шагу.

Бестолковый, неряшливый Щербак стоял, беспомощно опустив руки, и преданно смотрел на командира. Сане одновременно стало жалко водителя и стыдно за свой разнос. Но он не знал, как сменить гнев на милость. Малешкину хотелось сказать Щербаку что-нибудь доброе, теплое, но подходящих слов не находилось. И он сказал:

— Ты бы хоть рожу помыл. А то ведь ужас на кого ты похож.

Щербак понял, что командир выдохся, и охотно согласился после завтрака помыться. Малешкин, доказав,

какой он строгий командир, спокойно уселся хлебать остывший суп. Наводчик с заряжающим переглянулись и, втянув головы в плечи, хихикнули. Экипаж давно раскусил своего командира: вспылчив, горяч, но отходчив, а вообще мягкий, как лен, хоть веревки вей.

Бянкин, видя, как командир вяло шевелит ложкой, заметил, что баланда сегодня жидковата. Саня, не чувствуя вкуса, утвердительно кивнул головой. Хотя суп был обычный — и наваристый, и довольно-таки густой. Осип Бянкин ругнул чмошников и, не спуская глаз с командира, вынул из коробки банку свиной тушенки. Подкинул ее, как мяч, поймал и поставил перед Саней. Домешек тоже взял банку и тоже ее подкинул.

— Ни-ни,— замотал головой Саня.

— Ну, товарищ лейтенант! — жалобно протянул Домешек.

Когда экипаж с командиром жил в полном согласии и дружбе, то повышал его в звании и величал лейтенантом.

— По уставу не положено,— сказал Саня.

Бянкин вынул из кармана нож.

— Лейтенант, неравно убьют, так зачем же добру пропадать?

— А если не убьют, то на тетушкином аттестате проживем,— заявил Щербак.

Саня помолчал, вздохнул и махнул рукой. Возражал он не потому, что был такой уж дотошный хранитель уставных норм, а просто потому, что был командир. И если бы заряжающий с наводчиком не проявили инициативы насчет тушенки, то он проявил бы ее сам.

Позавтракав, экипаж закурил и, покурив, нехотя поднялся и стал готовить машину к маршу. Свернули брезент и накрыли им снаряженные ящики, которые были штабелем сложены над мотором самоходки. По обеим сторонам машины и сзади, над трансмиссией, лежали толстые бревна, к которым были привязаны бочки с горючим и маслом. Самоходный полк в составе 6-го корпуса 3-й гвардейской танковой армии после прорыва обороны немцев должен был выйти на оперативный простор. Об этом Малешкину не докладывали, но он сам догадывался, потому как машина его была загружена снарядами и горючим до отказа.

Саня лично проверил крепление бочек и боеукладку. Все было в порядке. Малешкин спрыгнул с машины, критически осмотрел ходовую часть. Ему показалось, что с правой стороны гусеничная лента сильно провисла.

— Гришка! — закричал Саня.

— Чего?

— Подтяни правый ленивец.

— Ладно.

Однако Щербак даже не пошевелился. Он сидел в машине и, не зная, что ему делать, тер пальцем стекло тахометра. Приказ командира донесся до него издали, как эхо, он так же, как эхо, ответил: «Ладно». Механик-водитель не любил самоходку и боялся ее. Сокровенной мечтой Щербака было перебраться в ремонтную роту. Но перебраться туда не так-то просто, особенно когда сидишь за рычагами машины. «Вот было бы счастье, если бы фриц закатал болванку в моторный отсек: машине капут, и все живы».

В передний люк просунулось злое лицо Малешкина:

— Ты чего ж сидишь, обормот грязный? Я кому сказал подтянуть гусеницу? Ну погоди, ты меня выведешь из терпения!

Щербак заторопился, стал искать натяжной ключ, приговаривая:

— Сейчас, сейчас, товарищ лейтенант, все будет в порядке.

Поиски ключа продолжались долго, наконец ключ был найден заряжающим Осипом Бянкиным. Втроем они стали подтягивать ленивец. Но ленивец не поддавался: он был натянут до отказа.

— Надо выбрасывать трак,— заявил ефрейтор.

— Надо,— нехотя согласился с ним Щербак.

— Давайте выбрасывать. Бянкин, тащи паука с выколоткой,— приказал Саня.

Бянкин нагнулся, прищурясь, осмотрел гусеницу, ударил по ней каблуком и решительно плюнул:

— И так сойдет, лейтенант.

— А если свалится?

— Хрен свалится,— заявил Бянкин.

Авторитет ефрейтора в экипаже был непоколебим. Малешкин облегченно вздохнул. Выбрасывать траки — грязная и утомительная работа. А Саня с минуты на минуту ждал команду: «Заводи».

— Щербак, у тебя все готово? — отрывисто спросил Саня.

Щербак козырнул:

— Так точно, товарищ лейтенант.

— У тебя, Бянкин?

Заряжающий пожал плечами:

— Мои снаряды всегда готовы.

— Домешек? Где наводчик?

Саня оглянулся. Домешек стоял сзади. Вид его испугал Саню. Вернее, он не увидел самого Домешека. Он увидел длинный белый, как у грача, нос и огромные белки, которые, казалось, вот-вот вывалятся из глазниц. Домешек протянул Сане руку:

— Вот...

— Что это? — спросил Саня.

— Чека... от гранаты.

Саня ничего не понимал, не понимали и Щербак с ефрейтором. Но всем вдруг стало страшно.

— Я проверял в сумках гранаты и не знаю, как... вытащил чеку.— Домешек хотел улыбнуться, но вместо улыбки лицо его задрожало и сморщилось.

У Малешкина обмякли ноги, и все вокруг стало нерезко маленьким и серым.

— Граната без чеки в сумке? — спросил ефрейтор.

Домешек кивнул и, схватившись за голову, сел прямо в снег.

— Почему же она не взорвалась? — вслух подумал Саня.

— Наверное, трубку взрывателя прижало. А то б она рванула.— И Бянкин зябко поежился.

— Что ж теперь делать-то?

Саня по очереди посмотрел на своих ребят. Домешек сидел на снегу и тупо разглядывал ладонь, на которой лежала чека. Щербак, уставясь на самоходку, размазывал по лицу грязь. Ефрейтор Бянкин сворачивал сигарку и никак не мог свернуть: то просыпался табак, то рвалась бумага.

Малешкина сковал ужас. Его самоходка, родной дом, превратилась в огромную глыбу взрывчатки. Малейший толчок — капсуль-детонатор срабатывает, и... Саня закрыл глаза и увидел огромный взрыв, а на месте машины — черную яму. Он невольно попятился.

— Дела так дела,— протянул Бянкин; ему все-таки удалось свернуть папироску и закурить.

Малешкин взглянул на ефрейтора, который жадно глотал дым, и протянул руку. Бянкин отдал ему окурочек. Саня затаился, обжег губы и опять рассеянно спросил:

— Что же делать-то теперь, а? Если взорвется машина, нам всем...— и не договорил.

Впрочем, все поняли и молчали. И в этом молчании младший лейтенант Малешкин почувствовал, что теперь все зависит от него. Он командир, он за все в ответе. Саня закрыл ладонью глаза, стиснул зубы.

— Сержант Домешек, вы сейчас пойдете в машину и достанете ту гранату. Понятно?

Домешек скорее удивленно, чем испуганно посмотрел на командира, словно спрашивая: «Ты что, шутишь, лейтенант?» — и наконец понял, что это не шутка, а приказ. Он поднялся, опустил руки и тихо по складам проговорил:

— Есть достать гранату.

С минуту он стоял повесив руки и опустив голову, потом поднял ее, горько усмехнулся и пошел к машине. Когда он уже занес ногу на гусеницу, Малешкина обожгла мысль: если Домешек погибнет, ему тоже не жить. «Так зачем же и ему? Уж лучше один я». И Саня тихо позвал:

— Мишка.

Домешек через плечо посмотрел на командира.

— Вернись.

— Зачем?

— Назад! — грубо оборвал его Саня.

Домешек пожал плечами и вернулся.

— Я сам... Понимаешь, я сам.— Саня отвернулся от наводчика, посмотрел на корявую сосну с перебитой макушкой.— В какой сумке она?

— С левой стороны.

— Какая она?

— Не знаю, лейтенант. Я ее не видел. Когда я увидел в руке чеку, все забыл, ничего не помню, словно по затылку бревном ахнули...

— Значит, в левой?

— Кажется, в левой.

— Кажется, кажется! Должен точно знать,— взорвался ефрейтор.— Лейтенант, давай я ее достану?

— Нет... Я сам.

— Разрешите. Для меня эти гранаты раз плюнуть.

— Ефрейтор! — И Малешкин так посмотрел на заряжающего, что у того сразу отпала охота настаивать. Бянкин посоветовал лейтенанту снять фуфайку.

— Без нее удобнее,— сказал он.

Саня стащил фуфайку, бросил ее на снег, потом снял шапку и тоже швырнул, подошел к машине, вскочил на нее и взглянул в открытый люк. Оттуда на него дохнуло холодом. Он оглянулся на ребят, хотел улыбнуться, помахать им рукой, сказать что-нибудь доброе, но улыбки не получилось, рука не поднялась, и сказал он то, что надо было сказать:

— Отойдите от машины подальше. А то взорвется, и вам будет хана.— Последних слов Саня не хотел произносить, они сами неожиданно соскочили с его губ, и Малешкин почувствовал, что он немеет от страха.

— Господи, помоги! — прошептал гвардии младший лейтенант Малешкин и спустил ноги в люк, как в могилу.

Саня не помнил, как он разыскал гранату, как осторожно и цепко ухватил ее за взрыватель и вынул из сумки.

Когда Саня вылез из машины и вытер с лица пот, который был холоднее родниковой воды, он опять увидел мир, огромный и прекрасный, хотя над лесом висело сырое, тяжелое декабрьское небо. Саня поднял вверх гранату и закричал:

— Ребята! Вот она!

Ребята подошли и боязливо покосились на гранату, которую Малешкин так сжал, что побелели пальцы.

— Забрось ее вон туда, в кусты,— посоветовал Домешек.

Но Саня категорически отверг это разумное предложение, сказав, что на взрыв сбегутся и опять припишут батарею ЧП.

— Вставить на место чеку. Вот и все,— сказал Бянкин.— Мишка, давай чеку.— Ефрейтор подул на чеку, обтер об ватник и подступил к командиру: — Где там дырка?

Малешкин протянул заряжающему руку с гранатой.

— Что же ты зажал дырку? Раздвинь пальцы!

— Не могу.— Саня спрятал гранату за спину.

— Почему? — удивился ефрейтор.

— Боюсь.

Бянкин попытался отобрать у Малешкина гранату.

— Ладно, черт с тобой. Держи крепче взрыватель.

— А ты что будешь делать? — испуганно спросил Саня.

— Ничего. Держи.

Саня не успел сообразить, в чем дело, как Бянкин отвернул от взрывателя гранату.

— А теперь бросай взрыватель.

— Куда?

— В снег. Да чего ты боишься?

Саня бросил. Взрыватель, описав дугу, упал в снег. Все ждали взрыва, а его не было.

— Что за хреновина? — удивленно протянул Домешек.

Бянкин поднял взрыватель, подергал трубку:

— Брак!

Заряжающий с наводчиком принялись дико хохотать, к ним присоединился и Щербак.

Домешек схватил Малешкина за руку:

— Я по этому поводу расскажу один еврейский анекдот...

Анекдота наводчик рассказать не успел: появился комбат и приказал выводить машину на дорогу.

На другом конце леса, как молотилка, застрекотала самоходка, к ней присоединилась вторая. «Первая батарея уже заводит»,— догадался Малешкин и стал торопливо натягивать фуфайку. Затрещал и защелкал мотор командирской машины, и в ту же секунду за кустами взвизгнул стартер и, как пушка, захлопала самоходка Пашки Теленкова. Справа с надрывным воем выползла из ямы машина Чегнички. Сам он пятился перед ней, махал руками, грозил кулаком и показывал пальцем то на одну, то на другую гусеницу. Теперь весь лес стрекотал, трещал, хлопал, выл... Сизый вонючий дым по стволам искалеченных сосен пополз к такому же сизому сырому небу, смешался с ним, и ничего не стало видно.

Саня, прикрывая лицо руками, стоял перед люком механика-водителя и ждал, когда тот запустит мотор. Стартер визжал, выл, как сирена, а мотор не заводился. Саня в конце концов не выдержал, подскочил к люку:

— Почему не заводится, а? Ты что, меня угробить хочешь?!

— Аккумуляторы сели,— ответил Щербак.

— Отчего ж они сели? Вчера заводили, а сегодня сели?

— Потому что вы всю ночь рацию гоняли! — закричал Щербак.

Саня опешил. Такого он от Щербака не ожидал. Малешкина затрясло от обиды.

— Ты чего валишь с больной головы... Не подготовил машину, а теперь валишь. Ну погоди, я с тобой разберусь,— зловеще прошипел Малешкин.

— Не очень-то, лейтенант, разоряйтесь! А что вы все время музыку слушаете — факт, и никуда не попрушь,— заявил механик.

Действительно, против этого факта переть было некуда. Радио он любил и частенько часа по два гонял рацию, хотя знал, что от этого аккумуляторы разряжаются. Саня с тоской посмотрел в глаза механика-води-

теля. Они от гнева округлились и пожелтели, стали как медные пуговицы.

— Давай еще попробуй, Гриша,— попросил Саня.

Щербак попробовал, и металлический, пронзительный звон ударил Малешкина по ушам. Однако мотор не завелся.

— Эх ты, механик-водитель,— простонал Саня.

— Садитесь сами и заводите,— огрызнулся оскорбленный механик-водитель.

Ах, если б Саня умел! Разве бы он не завел? Но Саня не знал мотора и не умел его заводить, в боевой машине за рычагами сидел всего два раза в училище на танкодроме, а то все время упражнялся на учебных да на макетах. Попав на фронт, он целиком доверился механику-водителю. Как в эту минуту он жалел, что так бесшабашно относился к технике! «Выйдем на формирование — не отойду от машины, изучу ее до винтика и научусь водить». Дав себе такой обет, Саня попросил Щербака попробовать в последний раз. Попробовали, и ничего не вышло. Подошел ефрейтор Бянкин.

— Лейтенант, может, воздух попал в систему?

— А может, и в самом деле! — Саня ухватился за этот «воздух», как утопающий за бревно, и крикнул наводчику, чтобы тот спустил из топливной системы воздух.

Домешек давно успел все приготовить к маршу. Закрепил пушку, чтоб она не болталась, на казенник натянул чехлы, поудобней приспособил сиденье. И теперь, наблюдая, как Щербак мучается с мотором, злорадно думал: «Так ему и надо». Он не любил Щербака за трусость, лень и наплевательское отношение к машине и твердо был уверен, что это для них когда-нибудь кончится очень печально. Всегда веселый, неунывающий, Мишка Домешек в последние дни скис и почти перестал рассказывать свои анекдоты.

— Мишка, выпусти из системы воздух. Там есть краник, поверни вправо! — кричал младший лейтенант Малешкин. Сам он толком не знал, где этот краник находится, но знал, что он есть и что повернуть его надо вправо.

Наводчик же отлично знал этот краник, и поворачивать его ему приходилось тысячу раз еще до лейтенанта Малешкина. Домешек полтора года сидел в танке. Когда после госпиталя его направили в самоходную артиллерию, он несказанно обрадовался, что наконец-то избавился от «братской могилы четырех» — так называли

танкисты свою машину. Но когда его посадили в самоходку, которая почти не отличалась от танка, Домешек, горько усмехнувшись, сказал: «Нельзя желать того, чего не знаешь... На войне как на войне».

Наводчик повернул краник, спустил на днище машины сто граммов газойля. Щербак нажал кнопку стартера, он дзинькнул, и мотор завелся с таким остервенелым хлопаньем, что у Сани чуть не лопнули барабанные перепонки.

Щербак со страшным скрежетом воткнул первую скорость и дал такой газ, что машина пробкой вылетела из ямы. Саня едва успел отскочить в сторону, а Домешек, проклиная дурака водителя, завалился на снаряды.

Малешкин пятился перед самоходкой, показывая Щербаку то на одну, то на другую гусеницу. Спिनной дошел он до канавы на окраине леса, перепрыгнул ее и стал обеими руками махать водителю, что означало: «Давай смело вперед, через канаву». Но самоходка стояла перед канавой, а Щербак ожесточенно ругался. Саня бросился к машине:

— Опять? Что?

— Лопнула тяга левого фрикциона.

— Почему же она лопнула? — со слезами на глазах спросил Саня.

— Лопнула, и все,— ответил Щербак.

— Ну и гад же ты, Гришка! Мерзавец,— сказал Домешек.— «У меня все готово»... Подлец!

Подошел Бянкин и, узнав, в чем дело, мрачно засопел.

— Слушай, Щербак, а ведь ты доиграешься.

— Я виноват, что она лопнула? — истошно заорал водитель.

— А кто ж? Конечно, ты,— поддержал ефрейтора Домешек.— Ладно, лейтенант. Если что, мы скажем, какой он механик-водитель и как он к машине относится.

— Факт, командир здесь ни при чем,— добавил Осип Бянкин.— А перед наступлением за такие штуки...— И ефрейтор выразительно щелкнул языком.

У Щербака испуганно забегали глаза.

— Вы что, ребята, с ума сошли? Думаете, я ее нарочно сломал? Ей-богу, она сама сломалась!

— Почему же ты перед выездом не проверил, а доложил лейтенанту: «Все готово»? — спросил Домешек.

— Да, почему ты доложил: «Все готово»? — повторил Саня.

— Ну что вы на меня все навалились? Подумаешь, тяга! Да я ее сейчас, в одну минуту... Одну минуту, и поедem, товарищ лейтенант.— Щербак выскочил из машины, забегал вокруг нее, с грохотом открывая ящики с инструментом, бросился назад, к яме, где раньше стояла самоходка, и вернулся с толстым концом проволоки.

Щелкая по сапогам прутиком, короткими отрывистыми шажками к машине подошел капитан Сергачев.

— Опять у Малешкина не слава богу,— усмехнулся комбат.

Всех боялся Саня, а капитана Сергачева особенно. В полк Сергачев прибыл недавно, и его сразу же назначили командиром четвертой батареи, на место уехавшего в академию старшего лейтенанта Танеева. С приходом Сергачева для Сани настали черные дни. Капитан с первого взгляда невзлюбил младшего лейтенанта Малешкина, придирался по любому пустяку, а в последнее время все чаще и чаще грозился снять Малешкина с машины, отчислить из батареи и отправить в резерв. Это для Сани было подобно смерти. Жить без самоходки, без своих ребят он уже не мог.

— Почему стоим, Малешкин?

Саня съежился, как от удара.

— Тяга лопнула.

— Что? Какая тяга?

Бянкин хмуро посмотрел на комбата.

— Бортового фрикциона.

— Сейчас поедem. Один секунд, товарищ комбат! — крикнул из машины водитель.

— Ни у кого не лопнула, а у Малешкина лопнула. Вот навязали мне на шею командира,— желчно, не разжимая зубов, процедил капитан Сергачев и, резко повернувшись, пошел от машины, четко чеканя шаг.

— Это еще неизвестно, кого кому навязали. Ишь зачикилял, как принцесса Турандот,— сказал Домешек.

Бянкин неожиданно сорвался с места и побежал за комбатом. Догнав, стал что-то говорить ему, энергично размахивая руками.

Саня смотрел на них и думал, что Сергачев наверняка отнимет у него самоходку. Настроение было отвратительное. Ничего не хотелось делать, и ничто не радовало, даже предстоящий марш, наступление, бои, к которым он так рвался.

— Над чем, лейтенант, задумался? — окликнул его наводчик.

— Да так. Ужасно все плохо, Миша,— пожаловался Саня.

— Не унывайте, лейтенант, еще будет и хуже.

Саня вздохнул:

— Веселый ты парень, Мишка, отчаянный!

Домешек удивленно вскинул на командира свои большие, с тяжелыми веками глаза и очень серьезно спросил:

— Это я-то веселый, отчаянный? — и обнял Малешкина.— Сейчас, Сан Саныч, я вам по этому поводу расскажу заплеседелый анекдот.

Саня приготовился слушать. И на этот раз Мишка не успел рассказать свой заплеседелый анекдот. Из люка высунулась грязная рожа Щербака и, скаля зубы, объявила:

— Готово. Поехали.

Самоходка переползла через канаву. Саня с Домешком вскочили на нее, и машина покатила по дороге.

Полк Малешкин догнал на северной окраине леса. Он стоял, вытянувшись в походную колонну, и чего-то ждал. Саня пристроился в хвост и тоже стал чего-то ждать.

Настроение у младшего лейтенанта Малешкина теперь было превосходное. Машина готова к бою хоть сейчас. История с гранатой прошла так удачно, что и комбат не узнал. Саню все радовало, даже это хмурое утро. Он готов был расцеловать и веселого наводчика, и умного Осипа Бянкина, а заодно и Гришку Щербака. За то, что механик-водитель в какие-то десять минут устранил такую сложную неисправность, Саня простил ему сразу все грехи и пороки.

Прошло полчаса. Колонна продолжала стоять. Сверху посыпался снег; мелкий, как крупа. Стало подмораживать. Экипаж уселся на жалюзи и накрылся брезентом. Саня залез в шубу. Шуба эта тоже была своего рода реликвией полка. Ее привез начальник штаба майор Кенарев из Монголии и сдал на склад помпохозу Андрющенко. Когда в полк привезли легкие романовские полушубки и стали одевать в них офицеров, Сане не досталось полушубка. Помпохоз выдал ему этот тяжелый, как воловья шкура, монгольский тулуп. В него можно было завернуть двух лейтенантов Малешкиных.

— Чего стоим? Чего стоим? — сердито спросил себя Саня.

Его окликнул ефрейтор Бянкин:

— Лейтенант, узнай, когда тронемся. Может, еще обедать тут будем.

Саня сполз с машины и пошел вдоль колонны. Шел, переваливаясь с боку на бок, а сзади волочилась шуба, заметая его следы. Саня миновал свою батарею — никого из командиров не было, третью — тоже, вторую...

Комсостав полка собрался у самоходок первой батареи. Еще издали Малешкин услышал дружный хохот.

«Наверно, надо мной...» — поморщился Саня, но не изменил ни походки, ни важного вида. Он знал, что сейчас опять начнется комедия и главную роль в ней будет исполнять он, гвардии младший лейтенант Малешкин. Саня и сам не понимал, почему это так получалось. С экипажем он был строг и всячески стремился держать на высоте престиж командира. А как попадал в общество офицеров, совершенно терялся.

Когда Саня приблизился, круг офицеров разомкнулся, вперед выскочил лейтенант Наценко и громко доложил:

— Товарищ генерал Малешкин, полк в полном составе к маршу готов.

У всех, видимо, было отличное настроение, поэтому хохотали так громко и долго, что Сане стало не по себе. Смеялись все: и командир полка Басов, и начальник штаба, и даже пожилой строгий замполит полковник Овсянников. Когда смех наконец смолк, Овсянников сказал:

— А что? К пятидесяти годам Малешкин вполне может быть генералом.

Саня быстро взглянул на замполита и потупился. Даже этот серьезный человек, которого он очень уважал, смеется над ним.

Сергачев с нескрываемым презрением посмотрел на Малешкина и сказал:

— Пусть этот «генерал» расскажет, как вынимал из машины гранату. Чуть в штаны не наложил.

У Сани из глаз покатались желтые кольца. Такого удара в эту минуту он никак не ожидал.

— А зачем он ее вынимал? — спросил Басов.

— Не знаю. Он мне не докладывал, — ответил капитан.

— Малешкин, в чем дело? — строго спросил полковник.

Саня, как рыба, хватил ртом воздух и начал рассказывать.

Он хотел посмеяться, но шутки не получилось. Рассказ произвел угнетающее впечатление.

— Вы говорите, Малешкин, что наводчик дотронулся до гранаты и чека сама вывалилась? — прервал молчание майор Кенарев.

— Так мне сказал наводчик, — ответил Саня.

— А сколько в сумке гранат?

— Шесть.

— И все со взрывателями?

— Все.

Начальник штаба повернулся к Басову:

— Во время движения машину трясет, усики, вероятно, разогнулись, и чека свободно вывалилась. Но ведь какая случайность! А если б не испорченный взрыватель?

Полковник Басов вынул из кармана платок, вытер им лицо и шею.

— Капитан Сергачев, почему вы об этом сразу не доложили?

Сергачев пожал плечами.

— Я этому не придавал значения.

— Вот как, — выдавил Басов. — А вот Малешкин придавал этому значение.

— Мне об этом рассказал заряжающий. — Сергачев вытянулся и щелкнул каблуками.

Басов уставился на Саню:

— Малешкин, почему вы не доложили комбату?

Саня опустил голову и так сжал зубы, что никакая сила не смогла бы их разомкнуть. Что будет, то пусть и будет. Все смотрели на Малешкина, а он, опустив голову, упорно молчал. И вдруг Пашка Теленков громко сказал:

— Он боится комбата, товарищ полковник. Комбат Сергачев все грозит снять его с машины.

— Как это снять? — недоумевая, переспросил Басов и с интересом посмотрел на Сергачева.

Теперь все смотрели на капитана. Сергачев вскинул подбородок и заговорил твердо, не спуская глаз с полковника:

— Снимать с машины командира у меня нет прав. Я имею в виду, товарищ полковник, подать вам рапорт, чтоб убрали с батареи младшего лейтенанта Малешкина. Я его подам после боевых действий.

— Почему?

Сергачев удивленно вскинул брови, как бы давая этим понять, что вопрос крайне странен.

— Вы сами видите, товарищ полковник, какой Малешкин командир. Шут гороховый.— Капитан усмехнулся одними губами.

Командир полка побагровел:

— Я вас, капитан, спрашиваю не о причинах. Я вас спрашиваю, почему вы хотите его снять не перед боем, а после? Вы считаете его плохим командиром?

Сергачев четко щелкнул каблуками:

— Так точно.

— Тогда почему же вы с плохим командиром решились идти в бой?

Стало так тихо, что было слышно, как в головной самоходке работает радиостанция.

— Странная логика у капитана Сергачева,— задумчиво промолвил замполит Овсянников.

— Вы недавно на фронте? А до этого где служили? — как бы между прочим спросил полковник Басов. Сергачев побледнел и растерялся.

— В Нижнем Тагиле. В учебном полку.

Саня заметил, что комбат не знает, что делать ему со своими руками. Капитан старался держать их строго по швам, но пальцы невольно хватались то за ремень, то за планшетку.

Командир полка о чем-то тихо переговорил с начальником штаба, и майор Кенарев объявил: комбатам остаться, а командирам машин разойтись по своим местам и немедленно снять с гранат взрыватели.

Саня Малешкин уныло поплелся к самоходке. Теперь он твердо был уверен, что надо собирать вещевой мешок и отваливать в резерв. Его догнал Пашка Теленков и дернул за воротник шубы.

— Санька, а ты не знал, что взрыватель порченный? — спросил Пашка.

— Откуда я знал?

— Ей-ей, не врешь?

Саня обиделся:

— А чего мне врать!

— Смелый ты мужик. Я не полез бы за этой гранатой.

Саня подозрительно скосил на приятеля глаза.

— Ни за что бы не полез! — решительно заявил Пашка и хлопнул Саню по спине: — Храбрец ты, Малешкин!

Сане это очень польстило, и он решил отплатить той же монетой:

— А сам-то какой? Один против шести «тигров» сражался.

— Ну, сравнил. «Тигры» — другое дело. А тут верная амба. Ты сам не представляешь, какой ты отчаянный!

Саня грустно улыбнулся:

— Отчаянный... А с машины все равно снимут.

— Чудак ты, нашел, о чем горевать.— Пашка взял Малешкина за воротник шубы и сильно встряхнул.— Не дрейфь, Саня! Все, что ни делается, все к лучшему.— И, оставив Малешкина в недоумении, побежал к своей самоходке.

Саня смотрел ему вслед и думал: «Треплется Пашка или взаправду?» И в конце концов решил, что треплется. Нахватав орденов, вот и ломается. Знает, что его с машины ни за что никто не снимет. А если б сняли, небось как сумасшедший бы забегал. «А меня снимут! Кому нужен такой неудачник? Боже мой, как мне не везет!»

У Сани так больно защемило сердце, что он потихоньку застонал.

Мысль, что через десять — пятнадцать минут придет капитан Сергачев и грубо объявит: «Малешкин, собирай манатки и хиляй в резерв», теперь ни на секунду не оставляла младшего лейтенанта. Ему было так тяжело и тоскливо, что хоть ложись на дорогу и помирай.

Он подошел к самоходке и равнодушно посмотрел на нее. Самоходка, задрав вверх тупое, с длинным носом рыло, казалось, к чему-то принюхивалась. В открытые люки сыпался снег. Саня хотел крикнуть: «Эй, закройте люки!» — но, подумав, что теперь он тут не хозяин, махнул рукой.

Экипаж по-прежнему сидел под брезентом. Домешек что-то рассказывал.

С каким удовольствием Саня посидел бы сейчас с ними! И Малешкина, как волна, захлестнула обида и на комбата, и на командира полка, и на замполита, и на Домешека с заряжающим — на всех, кому в эту минуту было лучше, чем ему.

— За что? За что? Что я им плохого сделал? — прошептал Саня, и из глаз у него посыпались горькие, злые слезы.

Экипаж закурил. Из-под брезента пополз сизый махорочный дым. Бянкин закашлялся с надрывом, как старик, и, откашлявшись, прохрипел:

— Интересно, мы когда-нибудь поедем?

— А куда торопиться? — спросил Щербак.

— Гришка мудр, как змий,— заметил Домешек.

Щербак зевнул.

— Пока стоим, повара могли бы уже и кашу сварить. Да разве чмошники пошевелиятся?

— А наш командир ничего, не из трусливых,— задумчиво проговорил ефрейтор Бянкин.

Саня притаился и смахнул ладонью слезы.

Щербак презрительно хмыкнул.

— А ты бы полез за гранатой? — закричал на него Домешек.

— Приказали б — и полез.

— Полез! — передразнил водителя ефрейтор.— У самого от страха шары на лоб вылезли.

Щербак обиделся не на шутку:

— Вы меня видели в бою? Не бойтесь — Щербак не подведет. Машина как ласточка будет носиться вокруг «тигров».

— Дай бог доехать до них! — серьезно сказал ефрейтор.— Ты думаешь на этой проволоке далеко уехать?

— У первого подбитого танка сниму тягу и поставлю.

— Проще пойти в техчасть, взять эту тягу и поставить.

— Конечно. Два часа уже стоим. Не выйдет из тебя, Гришка, путного водителя. Ни хрена не выйдет,— заключил Домешек и вылез из-под брезента.

— Лейтенант, долго мы еще здесь стоять будем?

Саня тяжело вздохнул:

— Не знаю.

Ефрейтор выразительно посмотрел на Щербака. Тот взмахнул руками, спрыгнул с машины и, сгорбясь, побежал в техчасть. Саня невольно улыбнулся:

— Здорово вы его продраили.

— Ничего, лейтенант, мы его обстругаем — гладенький будет! — весело крикнул Домешек.

Если бы эти слова Саня услышал час назад, как бы он радовался. Теперь же ему от них стало невыносимо больно. Поборов слезы, он приказал наводчику немедленно вывернуть из гранат взрыватели и сложить их отдельно в коробку. А чтоб приказание звучало весомее, добавил:

— Это приказ командира полка.

Наводчик гаркнул: «Есть!» — и нырнул в люк. Силы, которые Саня собрал, чтоб отдать приказание, мгновенно покинули его. Он привалился спиной к самоходке, тоскливо посмотрел на лес, на ворону, которая снялась с сосны и, лениво махая крыльями, полетела над полем, почти задевая брюхом снег. Так она летела вплоть до

рыжей скирды и только над ней взмыла, уселась и замерла.

— Лейтенант, что с вами? — спросил Бянкин.

Саня вздрогнул и торопливо ответил:

— Так... ничего... А что?

— Да вы как будто не в себе.

У Сани невольно сморщилось лицо и дрогнули губы.

— Ты доложил комбату о гранате?

— Я. А что?

— Так, ничего... Правильно сделал.

Повернувшись спиной к заряжающему, Саня пошел вдоль машины, остановился у люка механика-водителя и долго смотрел на запорошенный снегом лист брони, а потом, сам не зная для чего, аршинными буквами написал на ней пальцем: «МАЛЕШКИН». Заряжающий взобрался на самоходку и стал передвигать снарядные ящики. Саня не понимал, зачем он это делает; видимо, не понимал и сам заряжающий.

От головы колонны на разные голоса покотился крик: «Лейтенанта Беззубцева к начальнику штаба!» Ефрейтор Бянкин во всю мощь своих легких с каким-то озорством заревел:

— Лейтенант Беззубцев, к начальнику штаба!

— Чего ты орешь, идиот? Беззубцев уже давно в штабе, а ты орешь,— сказал, вылезая из машины, Домешек.

— Да так! Скучно, холодно! — Бянкин замолотил по броне каблуками.— Самоходочка моя окаянная, поговорим с тобой, ненаглядная. Эй, лейтенант, добьем энзе?

Саня махнул рукой.

— А вы?

— Не хочу.

— Потом захотите. Мы вам с Гришкой оставим.

Наводчик с ефрейтором уселись добивать энзе. Саня как неприкаянный обошел самоходку. Сержант с ефрейтором ели тушенку и так громко чавкали, что Малешкину стало невмоготу. Он влез на самоходку, сел на ящик. Ефрейтор вскрыл ножом банку и, услужливо подавая лейтенанту, напомнил:

— Гришку не забудьте.

Вкуса консервов Саня не чувствовал, а ел он их не потому, что был голоден, а потому, что не знал, что делать, куда деваться.

Бянкин, развалясь на ящиках, закурил, посвистал и вдруг неожиданно объявил, что после войны вернется в свою деревню и женится на соседке-вдове. Когда Доме-

шек поинтересовался, почему именно на соседке, да еще на вдове, ефрейтор сказал: потому что у нее убили мужа. На такой резонный довод Домешек не смог найти возражений и тоже, видимо, решил поделиться с заряжающим своими сокровенными мечтами.

— А я после войны буду шить сапоги,— сказал он.

На вопрос Бянкина: «Почему?» — Домешек ответил, что он больше ничего не умеет делать, а сапоги научился шить в окружении, когда скрывался от немцев у сапожника. На этом мечты заряжающего и наводчика оборвались. Они свернули по второй сигарке, молча закурили, лениво сползли с машины, сошли с дороги, растегнули ремни, уселись друг против друга и густо задумили.

Малешкина окликнул лейтенант Беззубцев:

— Сан Саныч, как вы себя чувствуете?

Саня усмехнулся:

— Слава богу, хреново.

— Взрыватели сняли с гранат?

— Сняли.

— А где твое доблестное войско?

— А вон,— Саня показал на кусты.

Беззубцев оглянулся, и по угрюмому лицу лейтенанта, как рябь по омуту, пробежала улыбка.

— Посылай за обедом на кухню.

— Ладно.

— Не «ладно», а «есты!» отвечайте, младший лейтенант Малешкин,— резко оборвал Саню Беззубцев и как бы между прочим добавил: — Меня назначили командиром батареи вместо Сергачева.

Саня вскочил и, приложив к шапке руку, повторил:

— Есть, товарищ комбат, виноват — гвардии лейтенант.

Чего хочешь ожидал Малешкин, только не этого. По лицу его в одну минуту пробежали все оттенки душевных волнений: и испуг, и радость, и удивление, и недоумение. Он смотрел вслед Беззубцеву, на его квадратную спину, и все еще не верил своему счастью. Когда Беззубцев оглянулся и погрозил ему кулаком, Саня чуть не задохнулся от радости: перевернулся на одной ноге и, присев, закричал:

— Ребята! Сергачева сняли с комбатов. Вместо него лейтенант Беззубцев.

Однако ребята не выразили ни радости, ни удивления. Это Саню обидело, и он сердито приказал ефрейто-

ру забирать котелки и отправляться на кухню. Пришел Щербак с тягой и сообщил, что видел Сергачева с вещевым мешком около штабной машины.

— Так ему и надо. Не рой другим яму, — сказал Домешек.

Пока устанавливали тягу, пока обедали, прошел еще час. Снег перестал сыпать. Ветер сматывал с неба за горизонт грязно-серую хмарь, обнажая трехслойные горы облаков. Между ними, как среди льдин в половодье, проглядывали зеленоватые щели с раскаленными алыми краями. В одну из них выглянуло солнце. Искалеченный лес прижался к земле, словно ему очень было стыдно за свою срамоту. Под солнцем лес выглядел до невероятности убогим и загаженным.

Домешек, глядя на него, грустно покачал головой:

— Сколько за эту войну леса погубили!

— И людей! — в тон ему добавил ефрейтор.

Щербак посмотрел на солнце, понюхал воздух и авторитетно заявил, что будет мороз. Никто ему не возражал. И так уже заметно подмораживало. Зябли ноги, зябли руки — все зябло. Домешек галопом обежал три раза самоходку, потом долго размахивал руками и наконец, вскочив на машину, забрался под брезент. Туда же нырнули и Щербак с Бянкиным.

Малешкин влез в шубу, чуть не два раза обернул себя полами, поднял воротник и уселся на башню. В первый раз за три месяца у Сани на душе было так спокойно, как еще никогда не было. У него есть свой дом-самоходка, замечательный экипаж. И полк, в который он попал, великолепный полк. И товарищи хорошие, правда, посмеиваются над ним, но в этом он сам виноват: как поставил себя, так и пошло. И ребята что надо! Один Пашка Теленков какой!

Потом Саня стал по очереди перебирать начальство. Начал с командира полка, которого так уважал и боялся, что не мог смотреть ему в глаза. Басов когда-то давно сам был простым танкистом, механиком-водителем. Поэтому он и строгий и справедливый. Когда помпохоз Андрющенко жалуется ему, что самоходчики опять слопали неприкосновенный запас, то Басов не обращает на это внимания и приказывает выдать новый. От командира полка Саня перешел к начальнику штаба. Поскольку майор Кенарев ничего плохого не сделал Сане, то он решил, что начальник штаба тоже очень хороший человек. О замполите Овсянникове Саня всегда думал с удовольствием. Настоящий командир, старой за-

калки! У него даже шинель не такая, как у всех. Длинная, до каблучков, и всегда чистая, отглаженная, как новая. Овсянников всеми уважаемый после Басова начальник. Хотя он меньше всего заботится об этом уважении. Очень уж простой этот Овсянников. Только что была атака, захватили село, на минуту остановились передохнуть, попить водички, и вдруг откуда ни возьмись появляется высокая тощая фигура замполита в кавалерийской шинели. Подходит, снимает фуражку, приглаживает седые волосы. Лицо сморщилось — не то от старости, не то от улыбки: «Ну как, жарко было нынче, ребятки?» — попьет водички, расскажет последние новости или просто так «потравит баланду». А солдату весело и отрадно.

Под Фастовом Санина самоходка была по пушку закопана на передке. Немецкие артиллеристы с летчиками так усердно обрабатывали передний край, что носа изпод машины не высунешь. Санин экипаж безвылазно дни и ночи сидел под самоходкой в яме. Снаряды с бомбами так часто и густо падали, что все вокруг тряслось и дрожало, а Мишка Домешек без конца сыпал анекдоты. И только когда начинало темнеть и стрельба с бомбежкой затихала, появлялись с термосами солдаты хозяйвода. В один из таких вечеров к ним пришел полковник Овсянников. Он принес почту: письма, газеты и журналы — и остался ночевать в экипаже. Замполит пробыл с ребятами всю ночь, весь следующий день...

А как Овсянников помог Пашке Теленкову! Это было на формировке. Пашка получил письмо от матери, которая, эвакуировавшись из Ленинграда, жила в колхозе. Мать писала, что живет очень тяжело: много работает, а семья голодает. Просила в колхозе коровенку, отказали. Всем дали, а ей почему-то отказали. Письмо очень расстроило Пашку, и он с горькой обидой рассказал об этом замполиту. Овсянников Пашку тогда очень крепко отругал...

А через месяц Пашкина мать сообщила в письме, что из райвоенкомата в колхоз пришла такая строгая бумага, что председатель сам привел ей на двор корову. Теленков побежал благодарить Овсянникова за помощь, а тот сделал удивленные глаза и сказал, что он к этому делу не имеет никакого отношения.

«Может, Овсянников и за меня замолвил словечко, чтоб оставили на батарее? — подумал Саня и твердо уверился в своей догадке: — Конечно, он!»

— Заводи! — разноголосо понеслось по колонне.

Саня вскочил, замахал рукавами шубы:

— Щербак, заводит!

Колонна затрещала, зарычала, захлопала, окутываясь густым удушливым дымом. Начало смеркаться, когда полк оставил позади расстрелянный лес. Неподалеку от него рос молодой дубок. Он так крепко держался за землю и так был жаден до жизни, что не уронил ни одного листка. Тонконогий, стройный, он стоял посреди дороги, вызываясь вскинув лохматую рыжую голову. Земля вокруг дубка была изъезжена, испахана, искромсана. Его пощадили и снаряды, и бомбы, и танки, и колеса машин, и солдатские сапоги. Последняя Санина самоходка прогромычала мимо деревца, и дубок тоже остался позади, и его поглотила серая мгла вечера.

Самоходки, задрав вверх пушки, набирали скорость. По сторонам тянулись голые поля Житомирщины. Проехали мимо пепелища. Видно, здесь стоял дом с надворными постройками. Теперь же осталась одна печка с трубой. И торчала она, как одинокий зуб во рту старика.

Когда совсем стемнело, выбрались на шоссе Киев — Житомир и пошли домолачивать оставшийся асфальт. Саня вспомнил о провисшей гусенице, и в сердце закралась тревога: «Как бы она не свалилась!» Но, не проехав и двух километров, свернули с шоссе и опять потащились полем по грязной, разбитой дороге. Саня успокоился.

Машину кидало из стороны в сторону, из-под гусениц летела грязь с водой. Наводчик с заряжающим сидели на решетке трансмиссии. Когда туда стали залезать ошметки грязи, перебрались в боевое отделение. Малешкин по-прежнему торчал на башне, свесив в люк ноги, кутаясь в воротник шубы. Дул сильный, упругий ветер, была такая густая темень, хоть ножом режь. То вспыхивал, то пропадал кровавый огонек стоп-сигнала впереди идущей машины.

Сане надоело торчать на ветру, и он спустился в машину. Бянкин с наводчиком доедали оставшуюся от обеда кашу. Саня напялил на голову шлемофон, включил рацию и стал ловить веселую музыку. Он исколесил весь диапазон — веселой музыки не было. Москва передавала какую-то тягучую симфонию, фрицы наяривали свои собачьи марши. Какой-то радист настойчиво вызывал «Юпитера».

— «Юпитер», «Юпитер», я — «Сатурн», — монотонно повторял он, — даю настройку... Раз, два, три, четыре, пять — прием...

Саня поставил стрелки на заданные волны, подцепил под горло ларингофоны, включил передатчик и стал вызывать Пашку Теленкова:

— «Липа», «Липа», я — «Ольха». Как слышишь меня, «Липа»? Даю настройку. Раз, два, три... — Саня сосчитал до десяти, потом в обратном порядке до единицы и переключил рацию на прием. «Липа» не ответила. Саня стал вызывать «Осину», то есть командира второй самоходки, младшего лейтенанта Чегничку. «Осина» тоже молчала. Малешкин решил вызвать машину комбата. Но сколько он ни кричал: «Сосна», «Сосна», я — «Ольха»! — ему никто не ответил. Тогда Саня осмелился связаться с машиной командира полка.

«Хопер» неожиданно ответил. Связь держал лейтенант Наценко. Он приветствовал Саню и спросил, что ему надо. Саня сказал, что ему ничего не надо, а связался он с ним просто так, от скуки. Наценко обозвал Малешкина ослом. Саня не обиделся. Другого ответа он и не ожидал от Наценки.

На днище самоходки, прижавшись друг к другу, скрючились наводчик и заряжающий. Грохотал мотор, самоходка дребезжала и звякала, а Домешек с ефрейтором Бянкиным спали. Саня сел в уголок, привалился к снарядам, завернулся в шубу и закрыл глаза. Трудно сказать, сколько он подремал — минуту, а может, и час. Разбудил его истошный голос комбата.

— Малешкин, в бога твою мать и селезенку! — кричал Беззубцев.

Саня выскочил из машины и, не понимая, за что его так поносит комбат, пролепетал:

— Я младший лейтенант Малешкин.

— Спишь? Почему в машину забрался? Где твое место? Машину мне хочешь угробить? Один угробил, теперь ты?

Отматерив Саню, комбат приказал ему сидеть на башне и внимательно следить за дорогой.

— Сейчас свалилась с моста самоходка третьей батареи, — сообщил Беззубцев.

— Как же так?

— А вот так. Такой же там сидит командир, как ты, раздолбай! Слезь и проведи машину, — приказал комбат.

Саня спрыгнул с машины и пошел вперед. Деревянный узкий мостик через крохотную речушку вынырнул перед носом. Проходя, он посмотрел вниз под мост и увидел самоходку вверх гусеницами. Около моста стоял экипаж.

— Чья машина? — спросил Саня.

— Лейтенанта Соболева, — равнодушно ответил кто-то.

«А ведь могло бы и со мной так», — подумал Саня, и его от макушки до пят передернул озноб.

Чтоб лучше видеть дорогу, Саня сел на крышку люка механика-водителя. И так просидел часа два, рискуя каждую минуту свалиться под гусеницу. От холода он окостенел, но не слез, пока не въехали в большое село. Здесь полк остановился на ночлег.

Батареи разбросали по окраинам огромного села с чудным названием Высокая Печь. Четвертой батарее досталась самая отдаленная окраина — северо-западная. Пока ехали, пока выбирали стоянки для самоходок, прошло не меньше часа. Малешкину отвели вишневый сад и белую, как игрушка, хатку с яркими окнами. Загоняя в сад машину, Саня не спускал глаз с окон и представлял себе, как их встретит гостеприимная хозяйка с молоденькой дочкой, нажарит картошки с салом и выставит бутылку самогонки. Потом Домешек станет из кожи лезть, чтоб рассмешить хозяйку с дочкой. А дочка, слушая брехню наводчика, будет украдкой лукаво поглядывать на Саню.

Примерно так же, как командир, представляли себе ночлег и наводчик с заряжающим.

Мечты Щербака были грубее. Он думал о чугуне картошки и теплой печке, на которую он сразу же завалится спать.

Замаскировав самоходку, экипаж бегом бросился к хате. У крыльца они увидели машину, крытую брезентом, и солдата с автоматом. Он перегородил им дорогу.

— Кругом! — крикнул солдат.

— Почему? — спросил Домешек.

Солдат снял с плеча автомат.

— Не велено пушать.

— Кто это не велел? — вспыхнул Саня.

— Товарищ майор Дядечка. Они здесь ночуют. —

Солдат взял на руку автомат и наставил на Малешкина: — Поворачивай кругом, марш! Стрелять буду.

Ефрейтор Бянкин отодвинул в сторону командира, вплотную подошел к солдату.

— Убери свою штуку. А то я тебе так стрельну, штанов не удержишь. Пошли, ребята!

Ефрейтор, не обращая внимания на крики, угрозы часового, пошел к крыльцу.

В хату ввалились гуртом. Солдат выскочил вперед. — Товарищ майор, никак не слушают. Я им — назад, стрелять буду, а они прут. А этот, — показал солдат на Бянкина, — за автомат хватает.

От яркого света Саня чуть не ослеп. В хате было так тепло, что сразу же обмякло тело. За столом в расстегнутом кителе сидел тучный майор. Он пил чай. Напротив майора черноглазая женщина с коротко остриженными волосами, в гимнастерке с погонами старшины лениво ковыряла ложкой творог. Стол был уставлен тарелками и мисками, среди которых торчали две черные бутылки. На краю стола попискивал самовар с чайником на конфорке. Откинув ситцевую занавесочку, из кухни вышла хозяйка и остановилась, заложив под передник руки.

— Так, — крикнул майор Дядечка, вытер полотенцем шею и уставился на Саню.

Малешкин козырнул.

— Товарищ майор, эта хата отведена моему экипажу под ночлег.

Женщина за столом подняла глаза и усмехнулась, покачала головой и опять уткнулась в тарелку.

— Как фамилия? — прохрипел майор.

— Младший лейтенант Малешкин.

— Младший лейтенант Малешкин, кругом!

— Товарищ майор, разрешите переночевать, хоть у порога. На улице морозище, замерзнем. Всю ночь ехали, устали...

Майор Дядечка так рывкнул: «Кругом!», что пламя в лампе взметнулось багровым хвостом, а Саня с экипажем выскочили на улицу. Когда младший лейтенант Малешкин опомнился, солдат с автоматом опять стоял у крыльца, широко расставив ноги.

— Я же говорил, что не пустит. Дюже злой майор Дядечка, как собака. — Часовой еще что-то хотел сказать про своего начальника, но, видимо не найдя крепче слов, жалобно протянул: — Товарищи танкисты, дайте закурить!

Щербак обложил солдата трехэтажным матом.

— А он-то при чем? — вступился за часового Домешек. — На, кури, бедняга. Не завидую я твоей службе. Какой части-то?

— Снабженцы, — отозвался солдат. — Разное барахло возим.

— Я так и знал — чмошники проклятые. А эта баба — майорова «ппж»? — спросил ефрейтор.

— Черт их разберет.— Солдат вытащил из кармана огромную «катюшу» — патрон от крупнокалиберного пулемета.

— А ты всю ночь так и будешь здесь торчать с автоматом?

Солдат долго бил рашпилем по кремню, пока не затлел толстый фитиль, прикурил и вместе с дымом выдохнул:

— Не-е-е! Мои сменщики в машине спят.

— Майор Дядечка свое дело туго знает,— сказал наводчик.

— Ну и гад! Собственных солдат на мороз выгнал. Таких людей, как клопов, давить надо.— Щербак показал, как надо давить, и погрозил кулаком.

Саня с тоской поглядел на небо. Оно было темное, прожженное крохотными колючими звездами. «Как дырявая печная заслонка»,— подумал Саня о небе и перевел глаза на снег.

Снег показался ему лиловым. Малешкин почувствовал, что замерзает и если простоит так еще десять минут, то превратится в сосульку.

— А еще говорят, на Украине зимы мягкие,— лягая зубами, простонал Саня.

И вдруг водителя прорвало. На нем была куца и отвердевшая, словно кирза, фуфайка. Руки чуть ли не по локоть вылезали из ее рукавов. Никто так не страдал от холода, как Щербак.

Сначала он долго ругался так изобретательно и ожесточенно, что даже ефрейтор Бянкин свистнул. А потом закричал:

— Чего на него смотреть! Ахнуть из пушки. Давай, лейтенант, я разверну, а ты ахнешь!

— Заткнись, Гришка! Испугался он твоего крика.

— Криком его не проймешь. Он толстокожий,— подхватил часовой.— Давай, ребята, куда-нибудь отसेлева. А то он меня завтра с потрохами сожрет.

— А, боитесь! — заревел Щербак.— Сейчас я с ним один расправлюсь.— И он бросился к машине.

— Щербак, вернись. Я приказываю, вернись! — закричал Саня, но водитель даже не оглянулся.

Самоходка, рыча, поползла к хате. Саня бросился ей наперерез.

— Стой! Стой! — закричал Малешкин.

Щербак остановился.

— Ты что задумал, идиот? Хочешь, чтоб всех под трибунал?

— Не бойтесь, лейтенант. Я их давить не буду. Я их выкуривать буду!

Саня опешил:

— Как это выкуривать?

— Поставлю машину выхлопными трубами к окнам и заведу. Увидите — майор со своей стервой как ошалелый из хаты выскочит.

— А что? Идея! — подхватил Домешек. — Давайте, лейтенант, попробуем. Если он побежит жаловаться, скажем — прогревали мотор.

Саня посмотрел на Бянкина:

— А что ты скажешь?

— А чего мы теряем? — сказал заряжающий.

Решили попробовать. Самоходку выхлопными трубами подвели под окно. От шума солдаты в машине проснулись и, узнав, в чем дело, обрадовались. Часовой убежал в хату.

Саня с экипажем на всякий случай закрылись в машине. Щербак завел мотор и стал потихоньку газовать. Из дома выскочил майор, подбежал к самоходке и, стуча по броне рукояткой пистолета, завопил:

— Прекратить! Я требую прекратить немедленно!

Механик заглушил мотор. Наводчик приподнял люк и удивленно спросил:

— В чем дело, товарищ майор?

— Что это значит?

— А ля герр ком а ля герр, — ответил Домешек.

— Что? — взревел Дядечка.

— На войне как на войне. Действуем в соответствии с обстановкой, товарищ майор. — И Домешек захлопнул люк.

Майор чуть не задохнулся от злобы.

— Прекратите безобразничать! Лейтенант Малешкин!

— Мы не безобразничаем! Мы прогреваем мотор, — ответил Саня.

Майор забегал вокруг самоходки, потом взобрался на башню и, безобразно ругаясь, долго колотил каблучками крышку люка. Наконец он выдохся и, пригрозив Малешкину трибуналом, ушел в хату.

Щербак опять завел мотор и так газанул, что задрожали рамы.

Так он газовал минуты две. На машину взобрался часовой и забарабанил прикладом автомата.

— Эй, танкисты, глуши душегубку! В хате не про-

дохнешь. Товарищ младший лейтенант, майор Дядечка просит вас в хату.

— Зачем? — спросил Саня, не открывая люка.

— Не знаю. Идите, лейтенант, не бойтесь. Он, кажется, труханул порядочком, — заверил солдат.

Саня посмотрел на Бянкина. Тот утвердительно кивнул головой, а Домешек добавил:

— Если что, мы из него окрошку состряпаем.

Когда Саня вошел в хату, в ней пахивало выхлопными газами.

Майор Дядечка стоял, глубоко заложив руки в карманы шаровар. На его мясистом багровом лице было столько безразличности, а в маленьких глазах столько злобы, что Саню передернуло.

— Значит, машину прогреваете? — спросил майор.

— Так точно, товарищ майор. — И Саня щелкнул каблуками.

— Ну и хлюст же ты, Мале-е-ешкин. — Майор так протянул в слове «Малешкин» букву «е», словно их там было не меньше десятка. — Кажется, и смотреть не на что, а ведь до чего додумался. Ну и ну... — Дядечка зевнул. — Можете располагаться здесь, на полу. Один может спать на печке. Лично вам, младший лейтенант Малешкин, рад бы предложить отдельную постель, но я здесь не хозяин. Сам сплю на лавке. А завтра мы с вами поговорим, Мале-е-ешкин.

Хозяйка приволокла ворох соломы, бросила под голову шубу, а вместо одеяла — грубую самотканую дерюгу.

Майор Дядечка спал на двух сдвинутых скамьях под шинелью. Хозяйка сжалась над Щербак, пустила его на печку, а сама легла на широкую деревянную кровать. Малешкин, сняв сапоги, забрался под дерюжку, с боков к нему привалились наводчик с заряжающим.

Сане не спалось. Он и сам не мог понять, что ему мешало. Двумя лиловыми пятнами маячили окна. С улицы доносился неразборчивый говор солдат, который поминутно прерывался хохотом. На печке с клекотом, как заузанный конь, захрапел Щербак. К нему присоединился майор Дядечка и с таким азартом принялся драть горло, как будто по хате поехала, лягая гусеницами, самоходка. Слева фистулой засвистел Домешек, справа рассыпал горох ефрейтор Бянкин.

— Фу ты, черт возьми! — прошептал Саня, скрючился и заткнул пальцами уши.

Проснулся он позже всех. В окна глядело солнце, и в хате было светло и жарко, как в фонаре. Саня долго

тер кудаками глаза, а когда протер их, то увидел, что Домешек с хозяйкой чистят картошку. Кроме них, в хате никого не было.

— А где майор? — спросил Саня.

Домешек заготовал, и хозяйка засмеялась, обнажив ровную, плотную полоску зубов.

— Чуть свет, не завтракамши, укатил. Во как вы его напугали.

Саня обратил внимание, что хозяйка довольно-таки недурна. Ночью-то он ее не рассмотрел как следует, а сейчас с удовольствием поглядывал на ее высоко вздернутые брови, мягкий румянец, на полные руки, на высокую грудь. Хозяйка, перехватив взгляд офицера, еще гуще покраснела и отодвинулась от Домешека, который все плотнее и плотнее прижимал колено к ее бедру.

«Уже клинья подбивает». — Саня поморщился и спросил про Щербака с заряжающим. Узнав, что они ушли за завтраком, Саня еще больше поморщился, однако ничего не сказал. Он скинул фуфайку с рубашкой и, оставшись по поясу голый, пошел на улицу. Следом за ним с ведром воды и полотенцем вышла хозяйка.

Младший лейтенант Малешкин мылся с усердием и кричал от удовольствия, хотя вода была так холодна, что у него замирало сердце. Хозяйка вылила на спину Сане полный ковш ледяной воды. Саня ахнул и завертелся, как уж, хозяйка захохотала и бросила Сане полотенце. Малешкин с таким ожесточением растирал кожу, словно собирался содрать ее с костей. Хозяйка смотрела на него, насмешливо щурила глаза, а потом, вздохнув, сказала:

— Ну и худущий же ты, хлопчик. Вылитый шкилет. В фуфайке как будто еще на человека похож, а так и смотреть не на что.

Младший лейтенант Малешкин оскорбился, и хозяйка в его глазах мгновенно из красавицы превратилась в глупую вздорную бабу.

«И чего в ней хорошего: долговязая лошадь», — думал он, глядя, как хозяйка, высоко вскинув голову, помахивая ведром, шагала к колодцу.

Саня оделся, принял командирский вид, то есть напыжился, и, придав лицу холодное выражение, старался не обращать на хозяйку внимания. Но когда она со словами: «Отчепись, сатана!» — звезданула наводчика по уху и тот пробкой вылетел из кухни, Саня перестал дуться, простил хозяйке обиду и даже поинтересовался, как ее зовут.

— Антонина Васильевна,— ответила хозяйка и так посмотрела на Саню зелеными глазами, что младшему лейтенанту Малешкину стало жарко.

подавив смущение и придав голосу абсолютное безразличие, он спросил:

— А муж-то где твой, Антонина Васильевна?

— А где ж ему быть? Воюет,— с такой легкостью ответила Антонина Васильевна, словно муж за хатой рубил дрова.

— За кого? За нас или за немцев? — спросил Домешек.

Лицо у хозяйки мгновенно погасло, и она укоризненно посмотрела на Домешека.

— А кто ж знает! Как ушел, так ни разу и не откликнулся.

— Если с нами — откликнется,— заверил наводчик.

— Дай-то бог,— вздохнула хозяйка и, подойдя к зеркалу, поправила волосы. А спустя минуту она была прежней: опять скалила зубы, язвила, поддевала Саню и легко, словно на крыльях, носилась по хате. Ухо у Домешека, видимо, остыло. Он не сводил с нее глаз, поминутно одергивая гимнастерку, ходил за хозяйкой по пятам и молот несусветную чепуху. А она беззаботно и заразительно хохотала. А когда наводчик увязался за Антониной Васильевной в погреб за огурцами, Сане стало не по себе. Пять минут ему показались вечностью. Все эти пять минут он страдал от ревности и проклинал свою робость. Когда они пришли из погреба с огурцами, Саня пытался по их лицам определить, что у них там было. Но так ничего и не понял. Антонина Васильевна смеялась и зубоскалила, а Домешек по-прежнему ходил за ней и все одергивал гимнастерку. Как Саня ненавидел в эту минуту своего наводчика! Он знал, что у Домешека на уме. Он же влюбился в хозяйку по-настоящему с первого взгляда, как влюблялся почти в каждом селе, в каждом доме, везде, где только можно было влюбиться.

Пришли Щербак с ефрейтором, принесли два котелка холодного супа, четыре куска мяса, хлеб и водку.

— Чертова кухня, в такую даль забрались. Пока шли, суп замерз,— ругался Щербак.

— Незачем было таскаться. Что я вас, не накормила б? — говорила хозяйка, накрывая на стол. Она поставила ведерный чугунок вареного картофеля, миску огурцов, миску квашеной капусты и тарелку с салом. Потом вскочила в сени, вернулась, загадочно улыбаясь, держа

руки под фартуком, и под дружный возглас «О-о-о!» выставила большую темную бутылку самогонки. У Щербака от радости выступили слезы. Он восхищенно посмотрел на хозяйку, потом на бутылку и сказал:

— Ух ты моя ненаглядная!

Никто не понял, кого он назвал ненаглядной — бутылку или хозяйку.

Даже серьезный ефрейтор Бянкин засмеялся. Антонину Васильевну хохот согнул пополам.

— Умру... ей-богу, умру. Ну и комики! — задыхаясь, бормотала она, но, случайно взглянув в окно, притихла и, подняв палец, прошептала: — Тсс, хлопцы! Какой-то важный начальник в папаше к нам.

— Полковник Овсянников. Вот уж некстати, — сказал наводчик и выразительно мигнул Щербаку. Тот сунул бутылку под стол.

Через порог шагнул замполит Овсянников. Снял папаху, пригладил жесткие седые волосы.

— Хлеб да соль!

Экипаж Малешкина дружно ответил: «Спасибо, товарищ полковник!» Саня вскочил и стал приглашать Овсянникова за стол.

— А что у вас вкусенького? — поинтересовался Овсянников и, узнав, что горячая картошка с огурцами, охотно согласился.

— Если, конечно, хозяйюшка не против! — Он подошел к Антонине Васильевне. Она испуганно вскочила, отерла о фартук руку и боязливо подала полковнику.

— Как величать-то?

— Антониной Васильевной, — прошептала хозяйка.

— А меня Тимофеем Васильевичем, выходит, что мы с вами по батькам тезки. А горяченькой картошки-то поем, Антонина Васильевна. С удовольствием поем.

— Сидайте, Тимофей Васильич. — Хозяйка метнулась в кухню за табуреткой, потом к сундуку за рушником.

Осип Бянкин разделил помпохозовскую водку; подвигая стакан Овсянникову, попросил его выпить с экипажем. Полковник взял стакан, покачал головой:

— Не пью я, вот ведь беда-то какая. А сегодня немножко выпью. Как говорят пьяницы, повод есть. — Он перелил водку в стакан ефрейтора, оставив себе на доньшке. — Выпьем за освобождение Житомира, Бердичева, Белой Церкви. Что вы на меня так смотрите? Очень серьезно говорю. Войска нашего фронта расширили прорыв до трехсот километров и продвинулись в

глубину на полтораста. Манштейн со своей ордой пока-
тился на запад. За полную победу! — И Овсянников
поднял стакан.

Выпили и набросились на картошку с огурцами.
Овсянников ел жадно, обжигаясь.

— А вы, товарищ полковник, наверное, со вчерашне-
го дня не ели? — заметил Бянкин.

Овсянников усмехнулся:

— Заметно?

— Еще бы!

— Верно, — вздохнул Овсянников. — Как встал, так
и пошел по экипажам. А они по всему селу разбросаны,
батарея от батареи на километр. А как не пойдешь, не
сообщишь такие вести. Сами ноги бегут. А мне уже на
седьмой десяток перевалило.

— Правильно, товарищ полковник! — воскликнул
Щербак. — За это надо еще выпить! — и вытащил из-
под стола бутылку.

Овсянников удивленно посмотрел на Щербака:

— За что же это выпить, старшина? За то, что мне
седьмой десяток пошел? Уберите, уберите, старшина,
чтоб и глаза мои не видели. — Овсянников укоризненно
посмотрел на хозяйку: — Балуете вы их, Антонина Ва-
сильевна.

Антонина Васильевна высоко вскинула брови.

— Так они ж гости, товарищ полковник! Сколько
время мы вас ждали! А потом они уж больно хлопцы
славные.

Овсянников засмеялся:

— Нравятся?

— Очень. Особенно лейтенант. — И она нежно по-
смотрела на Саню.

Саня втянул голову в плечи и боялся оторвать глаза
от тарелки.

Антонина Васильевна захохотала.

— А застеснялся-то, как красная девица! Товарищ
полковник, почему он у вас такой застенчивый?

Овсянников похлопал Малешкина по спине:

— Что ж это, Саня, такая интересная женщина, а
ты и не поухаживаешь? Я бы на твоём месте...

Овсянников с такой грустью посмотрел на хозяйку,
что та присмирела и тихо сказала:

— Ваш лейтенант молодец. Как он вчера майора вы-
куривал. Живот от смеха надорвешь.

— Моя идея, — гордо заявил Щербак. Сидел он
мрачный и проклинал себя за то, что вытащил бутылку.

— Что? Что? Какая идея? — оживился полковник. — Кто здесь кого выкуривал? Малешкин, что вы опять на-творили?

Малешкину пришлось все рассказать. Овсянников слушал внимательно, и его обычно строгое лицо теперь было грозным. А когда Саня стал описывать, как майор с пистолетом бегал вокруг самоходки и кричал: «Прекратите, стрелять буду!» — полковник закрыл руками лицо, и все его большое сухое тело затряслось от смеха.

Насмеявшись вволю, Овсянников вытер глаза, стал одеваться. Поблагодарив Антонину Васильевну за угощение, попрощавшись со всеми за руку, замполит попросил Малешкина проводить его немножко.

Они вышли на улицу. Был тихий, ясный декабрьский день. Снег, переливаясь, блестел и резал глаза, повизгивал под ногами. Заиндевелый вишневый садик сиял, как стеклянный. Воздух был чист, свеж и прозрачен. Каждый звук в нем звучал долго, отчетливо и звонко. Самоходка, подняв вверх пушку, тоже побелела от инея.

Они прошли от крыльца до колодца. Овсянников остановился, поправил на голове Сани шапку.

— Значит, майора Дядечку выкурили. Озорники! — Слово «озорники» у полковника прозвучало как «молодцы». Овсянников сел на обледенелый сруб колодца и пытливо посмотрел на Малешкина: — Ребята твои, наверное, сейчас за бутылку принялись. Они только и ждали, когда я уйду! Мне даже совестно стало. Тут, видимо, ничего не поделаешь. А ты побудь со мной! Выпьют — и пойдешь.

Саня усмехнулся:

— Оставят, товарищ полковник.

Лицо у полковника опять стало грозным.

— Вообще водка — гадость, а пить ее с подчиненными — вдвойне гадость. А ведь ты пьешь с ними?

Саня посмотрел на небо, потом на полковника и кивнул головой.

— Если хочешь быть настоящим офицером, прекрати. С сегодняшнего дня прекрати.

Саня удивленно посмотрел на замполита:

— Так водку ж дают. Положено.

— Что положено? — нахмурился Овсянников. — Я разве про эти сто граммов говорю? А я и эти сто граммов не пью. И никогда не пил. Еще Аристотель сказал: «Пьянство — добровольное сумасшествие». Знаешь, кто такой Аристотель?

Саня вздохнул и чистосердечно признался, что слышал, но кто он такой, не знает.

— Вот то-то оно и есть, что ничего вы не знаете и знать не хотите. Чем вы занимаетесь на отдыхе, формируете? — спросил полковник и сам ответил: — Бездельничаете. Редко увидишь, чтоб офицер на отдыхе читал книгу. Малешкин, почему ты ничего не читаешь?

От удивления у Сани даже открылся рот.

— А где книги?

— Было б желание, а найти всегда найдешь, — сказал Овсянников. — У командира машины второй батареи Васильева целая библиотечка. Ему каждую неделю из тыла невеста присылает книжку. Вот, брат, каких девушек-то надо иметь, а не таких, которые только дерут с вас, дураков, денежные аттестаты.

Саню вначале бросило в жар, потом в холод: «Откуда ему все известно?»

Дело в том — впрочем, опять виноват не Саня, а Теленков, — что Пашка переписывался с одной девушкой из Москвы. Сане тоже очень хотелось переписываться. Он и упросил Пашку познакомить его через свою подругу с кем-нибудь. Вскоре Саня получил письмо с фотографией писаной красавицы. Малешкин влюбился в нее сразу, да так, что, когда красавица попросила денежный аттестат, Саня, не задумываясь, выслал. На этом любовная связь и оборвалась. Оборвалась она и у Пашки Теленкова. Единственное, что утешало Саню, это то, что он аттестат выслал на полгода, а его приятель на весь год. Друг другу они поклялись хранить это в глубокой тайне. «Кто ж об этом рассказал? Наверное, начфин», — решил Саня. К начфину он обращался с просьбой вернуть аттестат обратно.

— Матери-то, наверное, ни копейки не послал? — спросил Овсянников. — А какой-то трясогузке всю зарплату.

Саня закусил губу, опустил голову и до тех пор не поднимал, пока Овсянников не кончил обличать его в невежестве, неряшливости и еще во множестве пороков, которые полковник Овсянников знал наперечет. Саня слушал и во всем соглашался. Что ж ему оставалось делать? Закончил Овсянников на том, что якобы он еще не потерял надежды увидеть Саню примерным командиром, так как времени для исправления у него хоть отбавляй. Полковник взял с него слово, что гвардии младший лейтенант Малешкин с сегодняшнего дня прекратит пить водку с экипажем.

Саня, обрадованный, что «лекция» на этом кончается, пообещал не только с экипажем, но и вообще ее не пить.

Пока Саня провожал замполита, его экипаж опорожнил бутылку и доел огурцы с капустой. Командиру была оставлена кружка мутной самогонки.

— Ваша доля, лейтенант,— сказал Щербак, подавая ему кружку и ломоть хлеба с салом.— Хлебните-ка во славу русского оружия.

Саня взял кружку, понюхал, поморщился.

— Чего ее нюхать? Откройте пошире зевальник, одним махом хоп — и в дамках! — посоветовал Щербак.

— Да он не умеет! — засмеялась Антонина Васильевна.

— Это я-то не умею? — возмутился Саня, но, вспомнив про зарок, решительно прошел в кухню и вылил самогонку в помойную лохань.

— Вот так. Понятно? — сказал он.

С минуту экипаж обалдело смотрел на командира. Молчание прервал Домешек:

— Понятно, товарищ гвардии младший лейтенант. Даже больше чем наполовину.

Саня посмотрел на Антонину Васильевну и по ее кривой усмешке и плотно сжатым губам понял, что она тоже недовольна.

— А мы-то ему больше всех оставили,— с горечью сказал Щербак.

— А как же, он у нас командир, офицер,— пояснил Осип Бянкин.

— Кто вам дал право обсуждать мои действия? — спросил Малешкин.

— А мы и не собираемся обсуждать. Вы, товарищ младший лейтенант, не только нас, но и хозяйку обидели,— сказал Бянкин.

Саня понял, что дал маху, а это еще больше обозлило его.

— Молчать! — закричал он.— Щербак, немедленно прогрей машину!

Щербак засопел и, схватив шапку с фуфайкой, выскочил на улицу. За ним вышли и Домешек с Бянкиным. На крыльце они остановились, стали закуривать и о чем-то разговаривать. «Наверное, обо мне»,— подумал Саня и так сморщился, словно у него заныли зубы.

Размолвки с экипажем случались часто. Саня переживал их болезненно. Но по своему характеру долго сердиться не мог и первым шел на мировую.

Антонина Васильевна, убрав со стола, принялась заметать хату. Выкинув за дверь соломенную подстилку; она ожесточенно шаркала веником. Около Сани она разогнулась, заправила под платком волосы и мягко улынулась.

— Ребята на тебя осердились, товарищ лейтенант. А ведь в бой-то вместе пойдете.— Она покосилась на темный циферблат ходиков и охнула:— Царица небесная! Одиннадцатый час, а у меня корова не доена! — Бросила веник, схватила подойник и побежала доить корову. Открыв дверь, остановилась.— Скоро поедете-то?

— Не знаю. Впрочем, наверное.

— Может, успеете еще молочка похлебать,— хлопнула дверью.

Малешкин походил по хате, остановился у окна. Стекла промерзли насквозь и запылились льдом. Саня лизнул и сплюнул. Лед показался ему соленым. Он совершенно не знал, что делать. Поднял веник и стал дометать пол. Через минуту бросил. Махать веником показалось ему ниже его офицерского достоинства. Саня оделся и пошел к самоходке.

Его экипаж усердно трудился. Щербак набивал солидомом масленку, наводчик надраивал казенник пушки, заряжающий чистил днище. Когда экипаж переходил с командиром на «вы», то особенно следил за чистотой и порядком в самоходке. Это был весьма прозрачный намек Сане на то, что экипаж и без командира сам отлично знает, что ему делать, и великолепно может существовать без младшего лейтенанта Малешкина.

Саня спустился в машину и спросил, чем они занимаются. Вместо ответа Осип Бянкин в неприятной форме сделал командиру выговор, суть которого заключалась в том, что он не покладая рук чистит машину, а другие ее только... Тут заряжающий выдал такое словечко, что Малешкина затрясло от бешенства. Огромной силой воли он сдержал себя и спокойно заметил, что так с командиром не разговаривают.

— А как же еще с вами разговаривать? — возмутился ефрейтор.— Сколько раз говорил вам очищать ноги! А вы что? Посмотрите, сколько на сапогах приволокли снега.

Саня посмотрел на ошметки грязного, талого снега и отвернулся.

Минут пять работали молча. Саня старательно очищал грязь с панелей радиостанции и ждал, кто же во-

ткнет ему очередную шпильку. Не выдержал Щербак: сначала он обругал помпотеха, который мало отпускает ветоши на протирку, потом Малешкина.

— Если вы, командир, будете понапрасну гонять рацию и разряжать мне аккумуляторы, я доложу помпотеху, — заявил он.

Саня мужественно смолчал, хотя кто знает, чего ему это стоило. Окончательно добил Саню наводчик. Он вытащил из-под пушки противогаз и спросил:

— Чей?

С противогаза ручьем стекало масло.

— Товарища гвардии младшего лейтенанта Малешкина, — громко объявил ефрейтор.

Домешек бросил Саню под ноги противогаз и объявил перекур. Экипаж оставил Саню в машине одного, а сам выбрался наверх покурить.

«Как будто здесь не могли, — горько усмехнулся Саня, — специально подчеркнуть, что я для них ничто, круглый нуль. И бьют-то как, подлецы! И синяков не оставят. Ни к чему не придерешься. Они кругом правы, я кругом виноват. Ну как теперь с ними мириться? А мириться надо. Иначе затюкают».

Саня вспомнил, что у него где-то запрятана на черный день пачка легкого табака. Саня разыскал ее, вылез из машины и со словами: «Закурим моего легонького, офицерского» — положил табак на колени ефрейтора.

Все потянулись за легким табаком, молча свернули сигарки. Саня тоже свернул, похлопал по карманам и выжидательно посмотрел на Домешека.

— Ком глих, — сказал наводчик.

— Чего, чего? — переспросил Бянкин.

— По-немецки «ком глих» — сейчас, — пояснил наводчик, вынимая из потайного кармана зажигалку. Зажигалка у него была трофейная и очень срамная. Домешек ею дорожил и гордился. Осип Бянкин, наверное, сто раз любовался зажигалкой и столько же возмущался. И сейчас он вертел в руках зажигалку и ухмылялся.

— Невесте такую похабель подарить вместо обручального кольца! Глупость и похабель. Хошь забросу? — Ефрейтор занес руку.

Домешек от испуга посерел:

— Ты что?! Ты что?! Слышишь, не дури!

Бянкин еще раз с омерзением посмотрел на зажигалку и бросил ее наводчику.

— Все, больше ты ее не увидишь, — сказал Домешек и запрятал зажигалку под бушлат.

— Вместе с комсомольским билетом хранишь? — спросил Бянкин. — Что ты мне головой мотаешь? Факт, вместе.

— А я комсомольский билет потерял, — неожиданно заявил Щербак.

— Потерял?! Где?

Саня машинально сунул руку за пазуху и успокоился. Комсомольский билет был на месте.

— Это когда я еще был в учебном полку. Хотели выдать новый. Потом раздумали, сказали, что я из возраста вышел.

— И тебе предложили вступить в партию? — спросил наводчик.

Щербак исподлобья посмотрел на Домешека, махнул рукой и отвернулся.

После этого надолго замолчали. От нечего делать свернули еще по сигарке. На этот раз прикуривали от «катушки». «Катушка» у Бянкина была превосходная, от одной искры срабатывала.

Саня чувствовал, что экипаж ждет, когда командир начнет каяться. Он мучительно раздумывал, как бы это дело повернуть так, чтоб не очень-то было унизительно и чтоб экипаж остался доволен.

Он решил начать издали:

— А ты, Домешек, неплохо немецкий язык знаешь. Наводчик самодовольно ухмыльнулся:

— С филфака Одесского университета на фронт ушел.

— С чего? С фигфака? — серьезно переспросил Бянкин.

— С филологического факультета, бревно нетесаное.

Бянкин, видимо, хотел ответить, но, не найдя веских слов, сплюнул окурочек и уставился на Саню, как бы давая ему понять: все, что говорилось, ерунда, я жду, голубчик, какой ты поведешь разговор.

— А я с самого начала невлюбил немецкий язык, — заявил Малешкин. — В школе совсем не учился, только немку изводил. Эх и поплакала же она от меня! — Саня стал подробно рассказывать, как он безобразничал на уроках немецкого языка, как его за это исключили на месяц из школы и как отец потом его порол. — С тех пор я так возненавидел фрицев, что готов их, гадов, душить вот этими собственными руками. — Малешкин показал руки и сжал кулаки.

Однако ни самобичующий рассказ, ни патриоти-

ческий порыв не тронули экипаж. Щербак смотрел в одну точку. Домешек насвистывал «Темную ночь».

— Все? — спросил ефрейтор Бянкин.

От этого вопроса Саня сморщился, словно проглотил горсть недозрелой клюквы, и стал горячо доказывать, что сердиться совершенно не на что, да и глупо, так как экипаж — одна семья и делить им нечего, и что скоро вместе в бой пойдут, и что он как командир ничего для них не жалел и не пожалеет. В доказательство своих слов Саня разделил табак на четыре части. Экипаж молча забрал табак и рассовал его по карманам.

— Ну что же вы молчите, черт возьми! Это ж в конце концов обидно! Ну виноват я с этой самогонкой, виноват, — с какой-то отчаянной решимостью выдавил Саня.

Бянкин заулыбался. Вероятно, он был доволен. Домешек усмехнулся.

— А мы тебе, лейтенант, больше всех оставили. А ты ее в помойное ведро — свиньям. Обидно. Так обидно, аж слезу давит, — пожаловался Щербак.

— Ну хватит тебе! Давит. Расчувствовался! — крикнул на водителя ефрейтор. — Извинился лейтенант, и ладно. Ставим на этом точку. Вон и комбат, кажется, к нам катит.

От дороги к дому бежал лейтенант Беззубцев. Тропинка, видимо, для него была слишком узка. Оступаясь, он переваливался с боку на бок и нелепо размахивал руками. Не добежав до машины, комбат подал сигнал: «Заводи!»

Щербак полез в люк. Саня с Бянкиным и наводчиком бросились в хату за вещмешками. Антонина Васильевна, узнав, что гости уезжают, торопливо разливала по стаканам молоко. Молоко пили на ходу, без хлеба, как воду, торопливо прощались и выскакивали на улицу. Когда подошел комбат, экипаж младшего лейтенанта Малешкина был в полной боевой готовности. Саня доложил, что все в порядке, все здоровы и никаких происшествий не было.

— Опять шапка задом наперед, — заметил комбат.

— А будь она проклята! — выругался Саня, поправляя шапку.

— По коням! — крикнул комбат и вскочил на самоходку.

Самоходка, рыкая, мягко покатила по снегу. С ходу проскочив канаву, выехала на дорогу и, круто развернувшись, ринулась в село.

— А Щербак, оказывается, неплохой водитель,— заметил Беззубцев.

Саня хотел сказать, что это у него сегодня так ловко получилось, а вообще-то... но раздумал и сказал, что Щербак — хороший водитель.

Сане очень хотелось поговорить с комбатом.

— Говорят, наши взяли Житомир, Белую Церковь... Тикает фриц.

Комбат усмехнулся:

— Не очень-то быстро. Вчера под Казатином Шестому корпусу досталось. Особенно Пятьдесят первой бригаде. Один батальон погорел начисто.

— Да ну? — И Саня повернул на голове шапку козырьком назад.

— Немцы подбросили свежие части, эсэсовцев. Дивизию «Мертвая голова».

— Тоден коф,— перевел на немецкий язык Домешек.

— Во-во! — подхватил комбат.— Говорят, головорезы — смертники. Или сегодня, или завтра нас наверняка на них бросят.

— В штабе так говорят? — спросил Саня.

— И в штабе, да и по всему видно.— Комбат схватился за полевую сумку: — Чуть почту не забыл. Держи,— и подал Сане пачку писем.

В основном письма были Щербак и Бянкину. Домешек получал изредка, да и то от фронтовых друзей. Сане пришлось сразу два треугольника. Одно — от матери, другое — из Москвы. Но не от той, от которой давно уже перестал их ждать, а от совершенно другой и незнакомой — К. Лобовой. Саня хотел сразу же распечатать это письмо. Но в это время по колонне, от головы ее к хвосту, покатился крик: «Товарищи офицеры, к командиру полка!»

Саня сунул письмо за пазуху, спрыгнул с машины и, придерживая колотившую по ногам сумку, побежал за комбатом. Саня несся как пуля и прибежал первым.

— Товарищ полковник, младший лейтенант Малешкин по вашему приказанию явился,— доложил Саня и вытянулся по стойке «смирно». Вместо «Хорошо, младший лейтенант Малешкин» командир полка сказал:

— Поправь шапку.

Саня чуть не взвыл и дал слово забросить эту проклятую шапку и опять носить шлемофон, который был и тяжелый, и холодный, и страшно неудобный, зато всегда сидел как надо.

Полковник Басов сообщил командирам стоящую перед ними задачу — она заключалась в том, чтобы совершить восьмидесятикилометровый марш в район местечка Кодня и с ходу вступить в бой.

— Двигаться на предельной скорости. Всякое отставание будет расцениваться как трусость. У кого машина плохо подготовлена, пусть пеняет на себя,— предупредил командир полка и отдал команду: «По машинам!»

Обратно Саня бежал с Пашкой Теленковым. Бежал легко, не чувствуя под собой ног. Ему одновременно было и страшно, и радостно. Боялся он не предстоящего боя, а за машину, за механика-водителя. «Что, если он подведет?!» — с ужасом думал Саня. А Теленков надсадно, как комар, гудел:

— Восемьдесят километров — и сразу в бой. Дела паршивые, если сразу в атаку. Что-то у меня на душе тяжело.

— Хватит тебе притворяться, Пашка. Как будто ты боишься.

— Да я уже разучился бояться. Только на сердце тяжело. Словно на него каблуком наступили,— говорил Пашка.— Будь здоров!

— Будь здоров! — Саня на ходу пожал руку приятеля.

Санин экипаж словно чувствовал, что дело нынче будет серьезное. Когда Малешкин доложил им задачу, они переглянулись и, ничего не сказав, разошлись по своим местам. У Домешека с ефрейтором все было в порядке. Они свои обязанности знали, как говорят солдаты, туго. А Щербак заметался. Он схватил шуп и бросился замерять в баках масло. Масла оказалось сверх нормы, а Щербак нервничал.

— В чем дело? — спросил Саня.

— Да что-то манометр шалит.

— Что с ним?

Щербак не успел ответить. Заревели моторы, и он ринулся в машину. Колонна тронулась и сразу же стала набирать скорость.

Ночью село Высокая Печь ничем не отличалось от других сел. Только сейчас Саня увидел, как Высокую Печь расколошматили. Погоревших хат было немного, лишь кое-где чернели пятна пожарищ. Большинство хат было расстреляно. Саня безошибочно определил, где хату поцеловал снаряд, а где шарнула мина. От снарядов в стенах чернели сквозные дыры. Мина накрывала хату

сверху. В крышах зияли провалы и торчали расщепленные жерди. Попадались хаты без углов, без стен, или вообще на месте дома лежала бесформенная куча глины и соломы. На самой окраине села крошечная, как скворечник, хатенка уткнулась окнами в снег.

За селом колонна круто повернула на юг и понеслась по хорошо накатанной дороге. На обочине сидели солдаты-пехотинцы, спустив ноги в кювет, и равнодушно смотрели на мчавшиеся самоходки. Гусеницы бросали им в лицо снежную пыль, перемешанную с едким, вонючим дымом. Солдаты не отворачивались. Видно было, что они смертельно устали.

Стреляя выхлопными трубами и лязгая гусеницами, колонна нырнула в молоденький сосновый лесок и круто объехала перевернутую куполом вниз танковую башню. Из-под башни торчали кирзовые сапоги и желтые, словно восковые, руки с растопыренными пальцами. Метрах в десяти стоял обожженный корпус. Из люка механика-водителя свешивалось безголовое туловище старшего сержанта. Руками он все-таки успел дотянуться до земли.

Малешкину стало жутко. Он взглянул на заряжающего с наводчиком. Они, в свою очередь, посмотрели на командира, и все трое, как по команде, полезли в карманы за табаком. У Бянкина по скуле, как челнок, сновал желвак. У Домешека одна бровь взлетела на лоб, другая сползла на глаз. Саня закурил, глубоко затянулся и вспомнил о неисправном манометре. Спустившись в машину, он пробрался к механику-водителю, тронул его за плечо. Щербак оглянулся и подставил ухо.

— Как манометр? — закричал Саня.

— Порядок, — ответил Щербак и, потянув на себя рычаг, зажал левый фрикцион. Правая гусеница забежала вперед. Щербак отпустил рычаг, и самоходка, словно укушенная, понеслась по дороге.

Мелколесье сменили ровные, как на подбор, медноствольные сосны с дырявыми макушками. Под соснами снегу еще было мало, кое-где зеленели лужайки брусничника. Декабрьское солнце греет плохо, светит мало. Оно уже задевало за макушки деревьев. На дороге лежали синие тени. Гусеницы, громыхая, кромсали их, смешивая с грязным дымом и сухим снегом. Было очень мирно, и если бы не рычащие самоходки, ничто не напоминало о войне...

Первой встретилась раздавленная немецкая каска, за ней грязно-зеленая шинель с алюминиевыми пугови-

цами, потом нога в сапоге. Потом... потом самоходки пошли переламывать, кромсать и утюжить остатки разгромленной фашистской колонны. Обе стороны дороги танкисты завалили повозками, разбитыми машинами, снарядами и трупами. Сразу столько убитых Сане еще не приходилось видеть. Они валялись и в одиночку, и кучами в странных до невероятности позах. Как будто смерть нарочно садистски безобразничала, издеваясь над человеческим телом. Убитая лошадь опрокинулась на спину, задрав вверх ноги. Стертые копыта под солнцем блестели, как никелированные. Привалившись к колесу, уронив на грудь голову, навеки задумался немецкий артиллерист. Совершенно нетронутой съехала на обочину кухня. Над котлом, весело поблескивая, торчал на длинной палке алюминиевый черпак. Зато от машины, к которой она была прицеплена, остался почерневший остов с коричневыми ободами. Поперек дороги лежало что-то темное, бесформенное. Саня не успел рассмотреть, как самоходка накрыла его. А когда оглянулся, то с трудом распознал человеческое тело. По нему, видимо, прошло не меньше сотни танков и раскатало, как блин. Промелькнула штабная машина с настежь распахнутыми дверцами. Все вокруг и дорога были усыпаны бумагой, папками в синих корках с черной фашистской свастикой. Убитый офицер в светло-голубой шинели лежал, уткнув голову в снег. На затылок его словно кто-то вылил банку густого вишневого варенья. Уголок тонкого листа бумаги прилип к нему, и, когда мимо пронеслась машина, листок встрепенулся, словно хотел улететь, беспомощно, как мотылек, потрепыхался, опять лег и успокоился.

— Ну и повеселились же здесь братья славяне! — воскликнул наводчик.

— Поработали что надо! — сказал ефрейтор.

Сане тоже стало весело. Там, при виде безголового танкиста, его затрясло. А тут ничего, как будто так и должно быть. А как же иначе? Это же не люди, а фашисты!

Колонну немецких машин, загруженных снарядами, братья славяне не тронули. От машин до леса протянулись кривые следы.

— А шоферня, наверное, разбежалась, — сказал Домешек.

— Далеко не убегут, — заверил ефрейтор Бянкин.

И опять потянулся белый, пахнущий свежей пустой снег, сосны с жидкой хвоей, изредка мелькала

тоненькая, словно забинтованная, ножка березки и серенький ствол осины.

Наводчик с заряжающим закурили. Саня вынул письма, повертел их, раздумывая, с какого начать. Очень хотелось с письма незнакомки К. Любовой, а все-таки развернул мамино.

Мать сообщила, что живет теперь одна: Надя, родная Санина сестра, вышла замуж за безрукого Митьку Болдакова. Живет пока неплохо: запаслась на всю зиму картошкой, хлеба тоже немножко есть, а корова помаленечку доится. Потом перечислила подробно все деревенские новости:

«А твой товарищ Колька Васин пришел с фронта слепой. Я его спросила: «Видишь хоть что-нибудь, Колька?» А он мне говорит: «Чуть-чуть, тетя Дуня, со спичечную головку». Пенсию ему положили четыреста рублей. Колька задумал учиться на музыканта. Говорит, что слепым это дело очень легко дается. Выпросил у меня твою гармошку. Ты уж на меня, сынок, не обижайся, ты все равно играть на ней не научился, а Кольку жалко. Избави бог тебя, Санюшка, от такого несчастья. А председателем у нас опять бывший староста Василий Архипыч. Его потаскали, потаскали и опять в председатели определили. При немцах-то он за своих стоял горой, поэтому его и не сослали. А в Малинниках, говорят, старосту в расход пустили. А часовенка-то у ручья в Соловьином лесу сгорела. Пиши, Санюшка, почаще, уж очень я беспокоюсь за тебя. Почти каждый день хожу к бабке Синице гадать на картах. Все мы к ней ходим. Мне все время выпадает хорошая карта. А вот Наталья Силина гадала на своего Егора, так ей выпала вся черная карта. Она два дня была дурным голосом. Потом Егор письмо прислал, пишет, что теперь служит в похоронной команде. Пиши, сынок, не ленись. Много не надо расписывать. Напиши, что жив,— мне и хватит. Береги себя, не суйся куда не надо, не лезь под пули с бомбами. Ты ж у меня какой-то оглашенный, всегда тебе больше всех надо было. А береженого и бог бережет.

Целует тебя твоя мать Евдокия Малешкина».

Письмо Саню и немного тронуло, и немножко рассердило, и немножко насмешило.

С волнением Саня развернул письмо москвички Любовой К.

«Здравствуй, боевой далекий, незнакомый друг Шура. Номер вашей полевой почты дала мне Лидка Муравьева, которой вы выслали денежный аттестат. Она мне сказала, что вы ей не нравитесь и она все порывает с вами. Я с Лидкой навсегда разругалась. Какая она дрянь! Я знаю, Шура, что вы Лидку очень любите. Она мне ваши письма показывала и насмехалась. Не переживайте, Лидка мизинца вашего не стоит. Если хотите, я с радостью буду с вами переписываться, а может быть, после войны встретимся. Я буду вас, Шура, ждать. Аттестатов мне никаких не надо, я не Лидка Муравьева и сама неплохо зарабатываю на электроламповом заводе. Живу с мамой, папа погиб еще в сорок первом году. Если «да», то я вышлю свое фото.

С дружеским приветом Катя».

Саня прочитал еще раз и поморщился. Письмо показалось ему уж слишком простым и тусклым. Он хотел разорвать его на клочки и развеять по ветру, но раздумал.

— Ладно, присылай. Посмотрим, что ты за штука,— сказал Саня.

— Ты это о чем, лейтенант? — спросил Домешек:

— Да так...— Он замялся.— Одна чудачка письмо прислала. Хочет познакомиться.

Домешек ухмыльнулся и почесал затылок.

— А ты, говорят, уже с одной познакомился? — спросил ефрейтор и, прищурясь, посмотрел на командира.

Саня не ответил.

Полк выскочил на широкое квадратное поле с рыжими скирдами соломы и остановился. Поле с трех сторон замыкал лес, впереди возвышалась невысокая плоская гора с очень ровным отлогим скатом. На ней виднелись крыши хат и церковь с двумя тонкими высокими колокольнями. У подошвы горы, да и по склону чернели танки, издали похожие на мух.

— Наши? — спросил Саня.

— Кажется,— неуверенно ответил наводчик.

— А чего они стоят? Где бинокль?

Наводчик слазил в машину за биноклем.

— Точно, наши, тридцатьчетверки,— бормотал он, подгоняя по глазам окуляры, и вдруг резко сунул бинокль командиру: — Смотри!

Саня поднес к глазам бинокль и долго не мог оторваться. Кроме закопченных корпусов он увидел на сне-

гу три грязных пятна, башню, похожую на каску, торчащий из снега казенник пушки и еще... он долго всматривался в темный предмет и наконец догадался, что это каток.

— Трех в клочья разнесло, — сказал он.

— Двенадцать штук — как корова языком слизала. Это их «фердинанды» расстреляли, — заверил ефрейтор Бянкин.

— Чего остановились? — спросил, вылезая из машины, Щербак.

— Танки горелые.

— Чьи?

— Наши.

Щербак взял бинокль и стал смотреть.

— Подпустил поближе, а потом в упор...

Возражать Щербаку не стали. Какое теперь имело значение, как умудрились немцы сразу столько расколотшатить танков. Каждый невольно думал о себе. Домешек думал, сколько погибло наводчиков, Щербак — механиков-водителей. Примерно о том же думали и командир с ефрейтором. Молчание прервал Малешкин:

— Утром мне комбат сказал, что где-то здесь погорел батальон Пятьдесят первой бригады. Может, он?

Домешек, великолепно знавший численность танковых подразделений, решительно отверг это предположение. Ему возразил заряжающий.

— А почему бы и не он? Был недоукомплектован или машины раньше погорели. Другой только считается батальоном, а в нем всего три машины.

Доводы были слишком логичны, чтобы возражать. И спор у заряжающего с наводчиком так и не вспыхнул.

— А чего остановились-то? — неизвестно к кому обращаясь, спросил водитель.

— А куда ехать?

— Не зная броду...

— Соваться, как эти сунулись?

— Странно: едем, едем — и ни одного выстрела.

— Это хуже всего. Когда стреляют, на душе спокойнее.

— Ни хрена мы сегодня не доедем до этой Кодни.

— Солнце уже на ели, а мы ничего не ели.

Колонна задымила. Щербак с грохотом свалился на днище машины. Самоходки, проскочив поле, полезли на гору. Саня не спускал глаз с темных железных коробок. Две из них потихоньку еще коптели: пахло резиной и

жареным хлебом. Заряжающий, схватив за рукав командира, повернул его влево. Саня увидел тридцатьчетверку с обгоревшим танкистом. Малешкину показалось, что на башне сидит веселый негр и, запрокинув назад голову, заразительно хохочет, а чтобы не упасть от смеха, держится за крышку люка.

— А это? — Ефрейтор повернул Саню направо.

У дороги, зарывшись головами в снег, лежали рядышком офицер с солдатом.

— Их, наверное, пулемет срезал, — сказал наводчик.

Самоходки вскарабкались на гору. Саня оглянулся назад. Поле затянуло снежной пылью и дымом... Сквозь дым и пыль тускло и холодно смотрело плоское оранжевое солнце.

В селе опять остановились. Самоходчики соскочили с машин, потоптались около них и стали разбегаться по хатам.

Санин экипаж во главе с командиром бросился к большому, обшитому тесом дому с резными наличниками и высоким забором. Калитка забора была закрыта. Щербак перекинул через нее свою длинную руку и отодвинул защелку. По тропинке шли степенно, у крыльца остановились, переглянулись, почистили о скребок подошвы, робко поднялись по намытым ступенькам, осторожно открыли дверь. Просторные сени были на редкость чистые, и пахло в них медом и свечками. Домешек наклонился над Саней и прошептал в ухо:

— Наверное, здесь поп живет.

В комнаты вели две двери. Подергали одну — не открывалась. Дверь в конце коридора распахнулась легко и бесшумно. Прежде чем войти, стащили шапки, а уж потом несмело переступили порог.

Саня, как командир, вошел первым и приветствовал:

— Здравеньки булы!

Со скамейки у окна, как тень, поднялась высокая женщина. Черная одежда висела на ней, как на палке. Она поднялась, поклонилась, опять села, не спуская с Сани сухих, колючих глаз. От ее цепкого взгляда Малешкину стало не по себе.

— Когда немцы ушли из села? — спросил Саня.

Мумия опять встала, опять поклонилась и опять села. Саня оторопел. Но тут из горницы вышла девица в яркой оранжевой юбке и легкой голубой кофточке с белыми пуговицами. Она прислонилась к косяку двери и посмотрела на Саню не то насмешливо, не то удивленно. «Ну и шикарна!» — с восхищением подумал Саня. Деви-

ца, видимо, заметила, что офицер покраснел и потупился. Она самодовольно улыбнулась и как бы между прочим сказала:

— Наша бабушка глухая. А немцы ушли вчера вечером.

— Вчера здесь был бой? — спросил Домешек.

— Был... — И, помолчав, добавила: — Мы сидели в погребе.

Девушка опять уставилась на Саню, на его кирзовые огромные сапоги, на погоны, смятые в гармошку, с одинокой тусклой звездочкой, и подавила улыбку. Саня люто возненавидел дивчину. Ее зеленые глаза показались ему злыми, а высокий лоб до противности умным.

Его экипаж тоже хмуро смотрел на девушку.

— А попить-то у вас можно? — спросил Щербак.

— А почему нельзя? — Девушка прошла к посуднице, взяла кружку, зацепила в ведре воду и подала Щербак. Когда он брал кружку, у него тряслись руки. Разве он в слово «попить» вкладывал прямое значение! Ему совершенно не хотелось пить, так же как не хотелось и Домешеку с ефрейтором.

— А вы, товарищ офицер, будете? — спросила девица.

Саня взял кружку и тоже выпил ее до дна. Ему действительно хотелось пить. От обиды и возмущения у него все горело внутри.

Санин экипаж постоял еще минутку и, видя, что на этом гостеприимство закончилось, не прощаясь вышел. В сенях нарочно топали сапогами, а Щербак так хлопнул дверью, что оцинкованный таз сорвался с гвоздя и с грохотом покатился по полу.

Садовую калитку Щербак открыл ногой, да так, что она едва удержалась на петлях.

— Это уж ни к чему, — заметил Бянкин.

— Что ни к чему? — набросился на него Щербак. — Этих немецких шкур надо вверх ногами вешать.

— Почему же они немецкие шкуры? — удивился ефрейтор.

— Да по всему. Солдата-освободителя не накормить? Были бы бедные. А то какой дом, обстановка, шкаф, диван, медом пахнет, картошкой с мясом. У, гады! — И Щербак погрозил дому кулаком.

Домешек снисходительно похлопал Щербака по плечу:

— Это тебе наперед наука, Гришенька. Не ходи по богатым домам. Добродетель, подобно ворону, гнездит-

ся среди развалин. Пойдем-ка в ту убогую хатенку? — Наводчик оглянулся на Саню и подмигнул: — А девочка-то дай бог, лейтенант...

— А чего в ней хорошего? Аптекарша какая-то, — буркнул Саня.

Если бы наводчик спросил его, почему аптекарша, он вряд ли ответил бы. Это слово случайно подвернулось на язык и так же случайно соскочило. Но Домешек не спросил, он, втянув голову в плечи, ринулся через дорогу к беленькой, с перекошенными окнами хатенке. В хату экипаж ввалился гуртом и сразу же как ошпаренный выскочил из нее. В хате на столе лежал покойник под холстиной, у головы и ног горели свечи. Около покойника старик в железных очках читал псалтырь.

— Ужас как боюсь покойников, меня даже озноб пробрал, — сказал Домешек.

— Я тоже их боюсь, — признался Саня.

— Черт старый, нашел время умирать, — озлобленно проворчал Щербак.

— А почему ты думаешь, что это старик? — спросил его Бянкин.

— А кто ж еще в такое время умирает своей смертью?

Экипаж вытянул шеи и стал высматривать, где бы еще попытать счастья. Но в это время закричали: «По коням!»

Ефрейтор вытащил мешок с хлебом. Разрезал буханку, потом откуда-то извлек грязный, завалившийся кусочек сальца, поскреб ножом и разрезал на четыре дольки.

— Голод — лучшая приправа к хлебу, — сказал Домешек и целиком отправил свою пайку в рот.

— Надо бы и Гришке пожрать — ты его подменишь? — спросил ефрейтор наводчика. Домешек кивнул головой.

Малешкин без аппетита жевал хлеб и думал о богатом доме, о красивой неприветливой хозяйке и сам себя спрашивал: «Почему они такие жадные и черствые? Или действительно с фрицами якшались? Или она и в самом деле попова дочка?»

— А ты это здорово, Мишка, сказал, что добродетель гнездится в развалинах. Ты это сам выдумал? — спросил Саня.

— Читал где-то. А где — убей меня, не помню.

Малешкин с любопытством посмотрел на своего наводчика:

— Ты здорово начитанный. Почему тебя не пошлют в офицерское училище?

— Посылали, даже приняли, а потом выгнали.

— За что?

— Потому что я сугубо гражданский человек,— не без гордости заявил Домешек.

Бянкин усмехнулся:

— Он мечтает стать фигфаком.

— Сколько я тебе долбил, идиоту, что буду сапоги шить.— И Домешек запустил в ефрейтора коркой.

В конце этого длинного несчастливого села они увидели подбитую «пантеру». Снаряд попал в борт и проломил броню. Неподалеку от танка застрял в канаве бронетранспортер. В нем валялись зеленая с рыжими пятнами куртка и каравай белого хлеба. За поворотом дорогу перегородило самоходное орудие «фердинанд». Сания увидел его впервые и разочаровался. Пушка у «фердинанда» была обычная, как у «тигра»,— восемьдесят восемь миллиметров, с набалдашником на конце, и сам он походил на огромный гроб на колесах. Броня у «фердинанда» вся была во вмятинах, словно ее усердно долбили кузнечным молотом. Но экипаж, видимо, бросил машину после того, как снаряд разорвал гусеницу.

— Смотри, как его исклевали. Это он, гад, расколотшил наших,— заявил Щербак.

— Такую броню нашей пушкой не пробьешь,— заметил Бянкин.

— С пятидесяти метров пробьешь,— возразил Сания.

— Так он тебя на пятьдесят метров и подпустит!

Колонна стала подниматься на холм, поросший кустарником. Кустарник, видимо, рубили на дрова и вырубали как попало. В одном месте он был высокий и частый, а в другом — редкий, низкорослый. Тут зияла плешь, а там тянулась кривая лесенка. Вообще круглый холм походил на голову, остриженную для смеха озорным парикмахером. Но не это привлекло внимание самоходчиков. По холму взапуски носились зайцы, совершенно не обращая внимания на рев моторов и лязг гусениц. Кто-то по ним застрочил из автомата. Серый длинноухий русак перед Саниной самоходкой пересек дорогу.

— Ну, это не к добру,— сказал Щербак.

Сания тоже в душе ругал косоного черта. А заряжающий равнодушно заметил, что стрелять их некому.

На горизонте словно из земли вылезала лиловая туча. Солнце, прячась под нее, разбрасывало по небу

длинные красные полосы. Снег от них стал алым. И вдруг из тучи выплыл «юнкерс», за ним — второй, третий. Саня насчитал двенадцать. Они плыли медленно, гуськом и походили на огромных брюхатых стрекоз. Головной «юнкерс» внезапно, как по желобу, скользнул вниз, скрылся за лесом, а потом взмыл вверх, догнал последний бомбардировщик, пристроился ему в хвост и опять ринулся в пике. «Юнкерсы» описывали круг за кругом. Казалось, между небом и землей крутится гигантское чертово колесо. Взрывы доносились глухие, словно из-под земли. «Юнкерсы» отбомбились, а на смену им из той же лиловой тучи выползли «хейнкели», похожие на куцых ворон. Они шли еще медленней, а потом начали, как из мешка, сыпать бомбы. Им никто не мешал.

— Да,— вздохнул Саня.

— Да,— повторил ефрейтор.

— Сволочи,— чуть не плача, сказал Щербак.

Самоходный полк, не снижая скорости, шел туда, к темному, как изогнутая бровь, лесу, над которым безнаказанно развлекались фашистские стервятники.

Догнали артиллеристов. Грузовики, буксуя, тащили за собой зенитные пушки. В кузовах сидели артиллеристы, хмурые и равнодушные. Скуластый сержант с красным обветренным лицом пиликал на губной гармошке. Звук ее сквозь шум моторов доносился до Сани, как писк комара. Когда самоходка почти вплитирку проходила мимо «студебекера», сержант надулся и, выпучив глаза, дунул. Гармошка дурным голосом закричала: «Караул!» — а сержант расхохотался.

Потом обогнали батальон пехотинцев. Батальон, видимо, месил снег весь день. Солдаты брели цепью один за другим, упорно глядя себе под ноги. Позади всех ковылял маленький солдатик. Сначала Сане показалось, что шинель идет сама по себе, перекладывая с плеча на плечо автомат. Когда машина с ним поравнялась, из воротника шинели на Саню глянула совсем детская остренькая мордочка, на которой горели два черных, с красными жилками глаза. И столько в них было злости и зависти, что Малешкин отвернулся. Впереди батальона в новеньком полушубке, опоясанном новыми ремнями, энергично размахивая руками, шел капитан. Шапка у него сидела на затылке, а темные волосы свисали на лоб.

Уже темнело, когда полк достиг леса. Ухали пушки. Глухо рокотали гвардейские минометы. Сбоку истошно заревел немецкий шестиствольный миномет «ванюша».

От взрыва Малешкин оглох. Щербак ринулся в люк, за ним ефрейтор. Миномет опять заревел. Саня бросился в машину и закрыл за собой люк. Взрыв был настолько сильный, что самоходку подбросило. Малешкин подбродком уткнулся в панораму и с кровью выплюнул на ладонь зуб.

— Один готов,— сообщил он.

— Кто? — спросил Щербак.

— Зуб.— Саня посмотрел на зуб.— Хрен с ним. Не жалко. Гнилой.

— А я располосовал фуфайку,— пожаловался Щербак.

Домешек оглянулся и оскалил зубы:

— Ну и дурак.

— Закрой люк! — закричал Щербак.

Наводчик, согнувшись над рычагами, не обращая внимания на ругань Щербака, вел самоходку с приоткрытым люком. Впрочем, стрельба прекратилась. Саня высунул из машины голову. Где-то гулко, как по пустому ведру, лупил крупнокалиберный пулемет. Но и он скоро смолк. Стало совсем тихо и совсем темно. Самоходка двигалась на ощупь, вплотную за машиной Теленкова.

— Эй, Саня, ты жив? — закричал Пашка.

— Жив,— ответил Саня.— А ты?

— Тоже. У меня одну бочку с газойлем снесло, а другую осколками искромсало.

«Надо и мне посмотреть». Малешкин вылез и стал осматривать машину. Бочки стояли на месте, и целехонькие. Зато брезент на ящиках со снарядами превратился в кучу рванья...

— А у меня еще хуже. Брезент накрылся,— пожаловался Саня.

Теленков не ответил.

— Эй, Пашка, ты слышишь? У меня брезент накрылся.

— Слышу.

— А что ты делаешь?

— Ничего, а ты?

— Тоже.

— У тебя есть что-нибудь пожрать?

— Только хлеб. А у тебя?

— Тоже.

Полк остановился, и сразу же закричали: «Командиры батарей, к полковнику!»

Командиры машин сошлись покурить и, конечно, за-

говорили о налете «ванюши». Младший лейтенант Чегничка похвастался тем, что если бы он не уцепился обеими руками за край люка, то его наверняка взрывной волной сбросило бы с машины.

— А шапку унесло черт знает куда. Хорошая ушанка была.— Чегничка снял с головы шлемофон, с ненавистью посмотрел на него и опять нахлобучил до ушей.

Сане тоже почему-то стало жаль Чегничкиной офицерской шапки: шлемофон на Чегничкиной голове сидел, как конфорка на самоваре.

— Мда-а-а! — протянул Малешкин и озлобленно руганул немецких минометчиков, по вине которых он остался без брезента.

Командиром первой самоходки на место Беззубцева срочно назначили лейтенанта Зими́на, который до этого был при штабе на побегушках. Его машину огневой налет не задел ни одним осколком. Однако и Зимин не упустил случая похвастаться, как удачно избежал смерти:

— Если б я от вас не оторвался, меня бы «ванюша» как пить дать накрыл,— и, не получив ответ, добавил: — Видимо, фрицы пока решили повременить с этим телом. — Он похлопал себя по груди.

Лейтенант Теленков тяжело вздохнул:

— Надолго ли, Вася? Лучше б ты служил при майоре Кенареве.

Зимин усмехнулся:

— А что же ты у него не стал служить?

Сане было известно, что Теленкову долго не доверяли машину и все это время он был офицером связи при начальнике штаба. Служба при майоре так надоела Теленкову, что он не выдержал, обратился к замполиту и заявил, что если ему не дадут машину, то он сбежит. Говорят, Овсянников накричал на него, но вскоре Теленкова посадили на машину. Трудно сказать, что здесь сыграло роль — ходатайство ли замполита или ранение одного из командиров машин. Вероятно, и то и другое вместе.

Уловив в словах Зими́на слишком прозрачный намек, Теленков щелчком подбросил окурок и, когда окурок, описав красную дугу, упал, ответил:

— Просто я был дурак тогда, Вася.

Саня давно заметил, что Пашка стал теперь совсем другим. Он как-то вдруг на глазах свыл и потускнел. Стал жаловаться, что устал, возмущаться, почему его до сих пор ни разу не ранило. Какой бы разговор ни

завели, Пашка сворачивал на госпиталь, на кровать с чистыми простынями, под которыми можно спать сутками и не просыпаться. Саня поначалу считал, что Пашка не знает, куда девать себя от успехов, так внезапно свалившихся на его голову, а потому нарочно ломается и распускает жалость с тоской. Однако от слов: «Просто был дурак» — у Малешкина неприятно екнуло сердце, и он понял, что этот отчаянный Пашка теперь страшно боится смерти. Саня посмотрел на темные силуэты самоходок, от которых несло холодом и газойлем. Ему тоже стало жутко. По обеим сторонам дороги плотной темной стеной стоял лес. Саня поежился, помотал головой и, придав голосу возмущение, спросил:

— А жрать-то мы сегодня будем в конце концов?

— Будем. Кухня на подходе, — отозвался из темноты комбат.

Он повел батарею на огневые позиции. Проехав по дороге метров двести, свернули в кустарник, четверть часа продирались сквозь него и наконец выбрались на поляну, на которой стоял бревенчатый дом. Беззубцев разбросал самоходки по поляне, указал секторы обстрелов и приказал немедленно закопать машины в землю.

Экипаж младшего лейтенанта Малешкина тихо охнул. Еще бы не охнуть! Это означало махать лопатой всю ночь.

Очертили границу капонира, взяли лопаты и стали соскребать снег. Работали молча, остервенело. А когда сняли мерзлый слой земли, Саня едва стоял на ногах и лом из рук сам вываливался.

— Головой ручаюсь, что это мартышкин труд. Вот увидите — завтра с рассветом отсюда уедем, — сказал наводчик.

— И где эта кухня проклятая шатается? — Щербак оглянулся, словно кухня должна была шататься у него за спиной. Но там, куда он посмотрел, взлетела ракета, гукнул миномет, а ему ответил автомат длинной трескучей очередью.

— Уверен, завтра чуть свет снимемся. А если останемся, то утром можно и дорыть капонир. Как вы на это смотрите, лейтенант?

Саня с радостью бы с ним согласился. Но он командир! А приказ есть приказ.

— Нельзя, — сказал он. — Теперь быстро пойдет, тут сплошной песок.

Однако сплошной песок не ободрил ни экипаж, ни

его командира. Малешкин с завистью покосился на огонек в хате, отвернулся и опять посмотрел.

— Вы здесь покурите, а я схожу водички попить.

В дом сбежалась почти вся батарея с комбатом. Беззубцев со своими офицерами ел картошку, им помогали солдаты. Хозяйка с сержантом из экипажа Теленкова чистили. «Второй котел заваривают» — догадался Саня. Под ногами шныряли ребяташки, выпрашивали сахар. Босоногий черноглазый пацан, схватив Саню за рукав, настырно клянчил:

— Дядько... цукерку! Коханенький, цукерку!

Саня отдал ему последнюю печенью. Малыш жадно схватил ее, шмыгнул на печку и оттуда закричал!

— Василь, дывись, чего я маю!

Василь, такой же босоногий, грязноносый, озорной, стремглав вскарабкался на печку, навалился на брата. Тот заревел: «Ма-а-а!»

— Василь, отцепись от Мыколы. Зараз бисов дрючком! — пригрозила хозяйка и, неизвестно к кому обращаясь, спросила: — Хиба ж це диты? Кто их тильки поганных наробыв?

Старший сержант, чистивший картошку, удивленно посмотрел на хозяйку:

— А разве они не ваши?

— Яки? Це вин? — спросила хозяйка, показывая на печку, и махнула рукой: — Та ж мои. Усю душу повытягали, чертяки.

Малешкин протиснулся к столу, выхватил из чугуна картофелину, покидал с руки на руку и, обжигаясь, проглотил. Потянулся за другой, потом за третьей. Чугун опорожнился в одну минуту. А у Сани только разгорелся аппетит. Кажется, такой картошки он никогда еще не едал.

— Удивительно вкусная, — сказал он.

— Що такэ? — спросила хозяйка.

— Картошка.

— Це ж усе крахмал, як цукор, — похвасталась хозяйка.

Она поставила в печку второй чугун, подкинула дров. Никто не уходил. В доме было жарко, душно, дымно. Солдат разморило. Глаза сами закрывались. Саня потеснил Чегничку, пристроился на краешек скамейки около кровати. Он вспомнил об экипаже, подумал, что неплохо бы и им погреться, поесть горяченькой картошечки, и сделал было движение подняться и пойти к самоходке, но встать не хватило сил. Саня попытался бороть-

ся со сном. Вскидывал голову, мотал ею из стороны в сторону, но голова все тяжелее, тяжелее наливалась свинцом и наконец, перевесив Санино тело, свалилась на кровать.

Проснулся он от крика:

— Кухня приехала!

На столе стоял чугунок с картошкой. Солдаты поспешно хватали ее, рассовывали по карманам и выбегали на улицу. Саня тоже выбрал пяток картофелин покрупнее, положил их в сумку и пошел к машине.

Самоходка стояла в капонире. Экипаж и не подумал углублять окоп. Только вырыл под машиной для себя яму и установил в ней печку.

— Вот черти, лентяи! — без злобы руганул Малешкин свой экипаж и полез под самоходку. Щербак спал, подвернув, как гусь, под бок голову. Наводчик с заряжающим вели разговор о вшах. Бянкин молча подал Малешкину котелок с пшенной кашей, полбанки свиной тушенки, хлеб и фляжку с водкой.

Саня потрогал котелок, наполненный до краев пшенной-размазней.

— Мне одному?

— Если мало, у нас еще есть. Повар нынче добрый, — сказал ефрейтор.

— Гришка таких два умял. Чем ругаться да бороться, лучше кашей напороться, — продекламировал наводчик.

Саня потряс над ухом фляжку, понюхал, вспомнил о зароке, поморщился и выпил из горлышка свои положенные сто граммов. Через минуту ему стало необыкновенно хорошо и весело. Аппетит разыгрался. В один миг он проглотил тушенку и приналег на кашу.

Заряжающий с наводчиком возобновили разговор о вшах.

— Сейчас их не стало. Изредка попадетсЯ какая-нибудь заблудшая. А вот в сорок втором, когда я был в разведротe, там хватало. — Бянкин вздохнул, поскреб поясницу. — Командиром разведроты был у нас старший лейтенант Савич. Сорвиголова, балагур, в общем — душа человек. Сам из-под Ленинграда, из Колпина. Есть такой город.

— Точно, есть, — подтвердил Саня и, словно боясь, что ему не поверят, пояснил: — Там еще огромный завод. Я его видел из окна поезда, когда ездил с маткой в Ленинград. Ужасно длинный завод, километра три забор тянется.

Дождавшись, когда Саня кончит, Бянкин продолжал:

— Таких командиров один на тысячу. Бывало, выстроит роту и давай нас крыть разными выразительными словами. Удивительно, сколько он знал этих выразительных слов! У нас от них ноги одереveneют и уши опухнут, а он все кроет и кроет. Заканчивал свою речугу он всегда такими словами: «Ну погодите, кончу пить, так я за вас возьмусь».

— А что, разве он так много пил? — спросил Саня.

— Не больше других. Это у него такая поговорка была.

Ефрейтор достал кисет с табаком. Саня с наводчиком оторвали от газеты по клочку бумаги. Бянкин всыпал им по щепотке махорки.

— А ведь убили нашего старшого, — прервал длительное молчание ефрейтор.

— А ля герр ком а ля герр, — сказал наводчик.

Ефрейтор покосился на него и сплюнул.

— Возвращались с задания, прошли нейтралку, а на передке его фриц и стукнул. Мина ему под ноги угодила. Так без костылей мы его и схоронили. А какой был командир! — Бянкин закрыл ладонью глаза и, горестно качая головой, долго жалел своего покойного командира.

— Если толковать о вшах, — вдруг начал Домешек, — то ни у кого их столько не было, как у нас, когда мы выбирались из окружения. Если будете слушать — расскажу.

Командир с заряжающим в один голос сказали: «Давай».

Домешек свой рассказ начал из далекого прошлого. С марта 1943 года, когда 3-я танковая армия попала под Харьковом в окружение. Рассказал, как сгорел у них танк и как его в городишке Рогани приютил сапожник и научил тачать сапоги.

— Сидим мы, работаем. Вдруг открывается дверь, вваливается немецкий унтер. Морда лошадиная, тощий и черный, как копченый сиг. Подошел к нам, поднял сапог с отвалившейся подметкой и сует в морду хозяину: «Ком глих... Шнель... Бистра. Ди тойфель!»

— Шо це такэ? — спросил Бянкин.

— «Сейчас, быстро, черти», — перевел Домешек и продолжал: — Хозяин стащил с фрица сапог, стал приколачивать подметку. А немец уставился на меня, как гад на лягушку, а потом как рывкнет: «Ду ист вер?»

У меня от страха волосы взмокли. Стою, молчу, не знаю, как отвечать. То ли по-немецки, то ли по-русски. А немец орет: «Кто ты?» — и ругается по-своему. Наконец я осмелился и сказал, что родственник. «Вас, вас?» — завопил фриц. «Брудер,— сказал хозяин и показал немцу три пальца: — Драйбрудер, троюродный брат». Ну и хитрый же фриц попался; стал фотографии на стенках рассматривать. Всю квартиру обошел, вернулся и тычет мне в грудь пальцем: «Юде!» Потом автомат с плеча снимает. Тут у меня откуда ни возьмись храбрость появилась. Закричал: «Найн юда! Их ист кавказец». — «Ви ист наме?» — спрашивает немец. «Абрек Заур», — ответил я. Одно это имя кавказское и знал. И то потому, что такое кино было.

— Точно, было,— подтвердил ефрейтор.— А что на это фриц?

— Да ничего. Натянул сапог, бросил на верстак алюминиевую монету, погрозил мне пальцем: «Шён, шён, кауказец. Вир верден безухен Абрек Заур», — и ушел. Через полчаса и я смазал пятки.

Щербак зашевелился, поднял голову:

— А где вши?

— Ты не слышь? — удивился наводчик.— А зачем они тебе?

— А вот,— начал Щербак,— когда мы ехали в эшелоне на фронт, один механик-водитель, старшина, поймал вошь, выбросил ее из вагона и сказал: «Не хочешь ехать — иди пешком».

— Можно смеяться, Гришка? — спросил Домешек.

Саня закрыл глаза и увидел, как старшина снимает с воротника вошь, долго рассматривает ее, потом бросает на землю и говорит: «Иди пешком». «Не смешно, — подумал Саня,— глупо и противно».

Печка остывала. Угли подернулись пушистым пеплом. Переносная лампочка, свисая из нижнего люка, бросала на дно ямы холодный, мертвый свет.

«Который уже час горит переноска? И ничего. А попробуй я включить рацию, заорет, что опять аккумуляторы разряжаю». Саня хотел погасить переноску, но рука невольно потянулась к куче дров. Он набил печку дровами, завернулся в шубу и по привычке подвернул под мышку голову.

Осторожно, тщательно выговаривая слова, запел Щербак на мотив шахтерской песни о молодом кононе:

Моторы пламенем пылают,
А башню лижут языки.
Судьбы я вызов принимаю
С ее пожатием руки.

На повороте Щербака поддержали наводчик с заряжающим. Домешек — резко и крикливо, Бянкин — наоборот, очень мягко и очень грустно. Это была любимая песня танкистов и самоходчиков. Ее пели и когда было весело, и так просто, от нечего делать, но чаще, когда было неумолимо тоскливо.

Второй куплет:

Нас извлекут из-под обломков,
Поднимут на руки каркас,
И залпы башенных орудий
В последний путь проводят нас, —

начал Бянкин высоким тенорком и закончил звенящим фальцетом.

— Очень высоко, Осип. Нам не вытянуть. Пусть лучше Гришка запекает, — сказал Домешек.

Щербак откашлялся, пожаловался, что у него першит в горле, и вдруг сдержанно, удивительно просторно и мелодично повел:

И полетят тут телеграммы
К родным, знакомым известить,
Что сын их больше не вернется
И не приедет погостить.

Саня, закрыв рукой глаза, шепотом повторял слова песни. Сам он подтягивать не решался. У него был очень звонкий голос и совершенно не было слуха. Теперь Щербак с ефрейтором пели вдвоем. Хрипловатый бас и грустный тенорок, словно жалуясь, рассказывали о печальном конце танкиста:

В углу заплачет мать-старушка,
Слезу рукой смахнет отец,
И дорогая не узнает,
Какой танкиста был конец.

У Малешкина выступили слезы, горло перехватило, и он неожиданно для себя всхлипнул. Щербак с Бянкиным взглянули на него и залились пуще прежнего:

И будет карточка пылиться
На полке позабытых книг,
В танкистской форме, при погонах,
А он ей больше не жених.

Но сбились с тона: спели слишком громко, визгливо и тем испортили впечатление. Последний куплет:

Прощай, Маруся дорогая,
И ты, КВ, братишка мой,
Тебя я больше не увижу,
Лежу с разбитой головой... —

проревели все с какой-то отчаянностью и злобой, а потом, угрюмо опустив головы, долго молчали.

Первым поднялся наводчик.

— Надо пойти посмотреть, — сказал он.

Всем сразу тоже захотелось посмотреть. Вылезли из ямы, посмотрели... Ночь была темная, сырая, дул мокрый ветер. В доме ярко светились окна, а около двери словно из земли вылетали искры.

«Что же это такое там?» — подумал Саня, но так как ничего придумать не смог, то решил сходить и проверить.

— Сбегаю до комбата — поговорить надо. — Малешкину совершенно не о чем было говорить с комбатом. Но это был веский предлог посидеть в тепле, в обществе, скоротать время.

Не доходя до дома, Малешкин услышал рыкающий голос повара Никифора Хабалкина:

— Степан, куды ты захова! кочережку?

— Що воно такэ? — спросил Степан.

— Кочережка — палка с железякой на конце, чем в печке ковыряют, рыло немытое.

— Ну що вин лається, як кобель, — проворчал Степан и в сердцах пнул ногой пустое ведро.

Малешкин вежливо поздоровался с поваром. Никифор не обратил на него внимания. После командира части и своего непосредственного начальника, помпохоза Андриюшенки, он считал себя по значимости третьей фигурой в полку. Солдаты прозвали его Никифор Хамло. Однако Никифор свое дело знал. Старался, чтобы солдаты у него были вовремя и сытно накормлены. Нередко сам на спине под огнем таскал мешки с хлебом и термосы с супом и при этом так громко ругался, что за километр было слышно.

— А что, Никифор, комбат Беззубцев здесь? — спросил Саня.

Вместо ответа Никифор крепко выругался.

В доме за столом сидели все четыре комбата. Они ужинали. Пашка Теленков заводил патефон. Он перевернул пластинку, и мембрана, хрякнув, затрещала, по-

том зашипела; потом задрезжала и наконец загнусавила: «Он был в плисовой, стал быть, рубашке и фильдикосовых, стал быть, штанах...»

На печке, свесив светлые лохматые головы, спали Миколка с Василем. Их мать сидела тоже за столом и грустно смотрела на густобрового кудрявого комбата второй батареи капитана Каруселина. У печки солдаты чистили картошку.

— Ты что, Малешкин? — спросил Беззубцев.

Саня замялся:

— Так... Пришел спросить, не будет ли каких приказаний.

— Нет. Иди к машине.

— Эй, Малешкин,— окликнул Саню Каруселин,— хочешь выпить?

— Нечего ему тут делать,— запротестовал Беззубцев.

— Ладно. Пусть погрееется парень,— поддержал Каруселина комбат Табаченко,— иди садись, Саня.

Комбаты потеснились, и Саня сел. Ему налили водки, положили на хлеб кусок американской консервированной колбасы. Саня взял стакан, подержал его, посмотрел на комбата и отставил в сторону. Беззубцев самодовольно ухмыльнулся.

Каруселин хлопнул Саню по спине:

— А ну-ка расскажи, как ты выкуривал интенданта.

Саня малость поломался для приличия и стал рассказывать. При этом так врал, что сам удивлялся, как у него здорово получается. Товарищи комбаты хохотали до слез и хвалили Малешкина за смекалку. Капитан Каруселин с ходу предложил Беззубцеву обменять Малешкина на любого командира машины из его батареи.

Беззубцев решительно заявил, что сообразительные командиры ему и самому нужны. Это так ободрило Саню, что он расстегнулся на все пуговицы, схватил отставленный стакан с водкой, лихо выпил, крикнул и сплюнул через выбитый зуб.

Теленков опять завел патефон, тоненький женский голосок завизжал:

Руки, две огромных теплых птицы...

— Заткни ей глотку, Теленков! — крикнул Каруселин.— Сейчас мы споем нашу. Валяй, Табаченко!

Табаченко начал валять, как дьякон, речитативом:

— Отец благочинный пропил полушубок овчинный и нож перочинны-ы-ый!..

— Удивительно, удивительно, удивительно...— подхватили комбаты глухими, осипшими басами. Сане показалось, что песня родилась не за столом, а выползла из-под пола и застонала, как ветер в трубе. У печки взлетел вверх необычно звонкий и чистый подголосок: «Удивительно, удивительно-о-о...»

У Сани даже заломило скулы от напряжения: так он боялся, как бы у солдата не сорвался голос.

— Ну и голосок, черт возьми! — скрипнул зубами Каруселин.— Валяй, Табаченко.

Табаченко валял... Комбаты простуженными басами дули, как в бочку, а подголосок звенел, падал и снова взлетал.

С шумом ввалился повар Никифор:

— Что вы, начальнички, панихиду завели? Других песен мало? — и, подергивая плечами, приседая, как на пружинах, пошел выковыривать ногами.— Хоп, кума, нэ журься, туды-сюды повернься,— схватил хозяйку, завертел и, видимо, ущипнул.

— Отчепись, лешак поганый! — закричала она.

Миколка с Василем проснулись и дружно заревели: «Ма-а-а-мка!» Комбаты стали одеваться.

Малешкин, Теленков и Беззубцев вышли вместе. Прощаясь, комбат сказал, что завтра одну из батарей придадут танковому полку Дея.

— Чью? — спросил Теленков.

— Пока неизвестно,— ответил комбат.

— Не завидую этим ребятам,— сказал Пашка.

— Почему? — удивился Саня.— Все говорят, что Дей — самый боевой командир в корпусе.

Теленков усмехнулся:

— Еще говорят, что в бою он не щадит ни себя, ни своих солдат.

Комбат вздохнул и ничего не сказал.

Лиловым утром четвертая батарея лейтенанта Беззубцева отбыла в распоряжение 193-го отдельного танкового полка. Он ночевал в трех километрах, на территории сахарного завода. Завод был наполовину разбит, наполовину сожжен и полностью разграблен. Двор завода был усыпан желтым, пахнущим свеклой песком. Щербак посмотрел на это безобразие и сказал:

— Сколько бы из этого добра самогонки вышло! Залейся.

Танкисты выводили машины на дорогу, выстраивались в колонну.

Четвертую батарею они встретили свистом.

— Славяне, глядь! Самоходы притащились.

— На шо?

— Для поддержки.

— Який поддержки? Штанив? Га-га-га!

Прямо на машину Малешкина шла тридцатьчетверка с десантом. Бодитель, видимо, и не думал сворачивать.

— Чего он хочет? — испуганно спросил Саня.

— Чтоб мы уступили ему дорогу, — ответил Домешек.

Танк подошел вплотную, остановился. Из люка высуллась голова водителя.

— Ты чего, падла, зевальник разинул?

— Пошел бы ты!.. — крикнул Щербак.

— Сворачивай!

— Сворачивай! — заревел десант.

«Пахнет скандалом», — подумал Саня и хотел приказать Щербаку сворачивать. К танку подбежал долгоязыый лейтенант в кожаной тужурке с меховым воротником. Он поднял руку и поприветствовал самоходчиков.

— Привет танкистам! — радостно ответил Саня.

Лейтенант подошел к люку водителя:

— Ты чего дуришь, Родя? Дороги тебе мало?

— А чего они, товарищ лейтенант...

— Разговорчики, — оборвал его лейтенант.

Родя сдал машину назад, на полном газу чертом проскочил мимо самоходки. На башне сбоку Малешкин успел прочесть: «Машина Героя Советского Союза лейтенанта Доронина». И ему стало стыдно, что не уступил дорогу. Домешек поморщился и махнул рукой, как бы говоря: «Ну и наплевать».

Подошло отделение автоматчиков. Рябой, как вафля, ефрейтор доложил Малешкину, что десант в количестве пятнадцати человек прибыл в его распоряжение. И в ту же минуту со всех сторон закричали: «Самоходчиков батя требует! Самоходы, к батю...»

Саня приказал Домешеку заняться десантом, а сам со всех ног бросился к командиру полка.

Автоматчики, ни слова не говоря, полезли на самоходку. Такое самовольство Домешек расценил как личное оскорбление.

--- Назад! — рявкнул он. — Кто здесь командир?

Рябой солдат вытянулся:

— Ефрейтор Рассказов.

— Построиться, — приказал наводчик.

Ефрейтор построил десант, подал команду «смирно», доложил.

— Здравствуйте, товарищи солдаты! — громко приветствовал Домешек автоматчиков.

— Здра... — нехотя ответили солдаты.

— Поздравляю вас с прибытием в славный гвардейский экипаж младшего лейтенанта Малешкина.

Десантники молчали. Домешек нахмурился.

— Что, разучились, как отвечать? Когда вас приветствует командир в строю, вы должны выразить восхищение, бурную радость. А как солдаты выражают бурную радость? — спросил наводчик и сам же ответил: — Троекратным громким «ура». Понятно?

Солдаты, сообразив, что сержант «валяет ваньку», дружно и оглушительно заревели «ура». На крик сбегались танкисты и стали с любопытством наблюдать, как самоходчики ломают комедию...

Домешек обошел строй.

На левом фланге переминался с ноги на ногу солдатик в непомерно широкой и длинной шинели. Если бы не огромная шапка над воротником, из-под которой выглядывала остренькая мордочка с черными глазенками, можно было бы подумать, что шинель сама стоит на снегу.

— А ты кто? — спросил Домешек.

— Солдат Громышало.

— Как, как? Повтори, не расслышал. — Домешек снял шапку, наклонил голову.

Солдат напыжился и во всю мощь своих легких рванул:

— Громышало!

Домешек отскочил и схватился за ухо.

— Ух ты какой голосистый!

— У нас в деревне все голосистые, товарищ сержант, — радостно сообщил Громышало.

— Откедя ты?

— Из Подмышки.

— Откуда? — удивленно протянул Домешек.

— Из деревни Подмышки Пензенской области, — пояснил солдат.

— Воевал?

— Нет ешо.

— Кто «нет ешо»? — строго спросил Домешек, обращаясь к десанникам.

Автоматчики дружно подняли руки.

— Прекрасно! — воскликнул Домешек. — Это и есть

то, чего не хватало нашему славному гвардейскому экипажу. А теперь я вас инструктировать буду. Слушать внимательно и на ус мотать,— объявил Домешек.— И так, что вы должны и не должны...

Десантники должны были выполнять все приказания экипажа и помогать ему: чистить машину, заправлять ее горючим, загружать снарядами, закапывать самоходку в землю, охранять ее, защищать и нести всю карательную службу. Не должны же были десантники только пререкаться, роптать и возмущаться. После инструктажа Домешек стал обучать солдат правилам посадки десанта на машину и гонял их до тех пор, пока у автоматчиков не взмокли шапки. Потом милостиво разрешил им покурить и оправиться.

Ефрейтор Бянкин, наблюдавший за учением, сказал наводчику:

— Хорошо, что тебя из офицерского училища турнули. А то бы ты с солдата по пять шкур драл...

Домешек самодовольно ухмыльнулся и заявил Бянкину, что с него бы он все десять спустил.

Встреча с батей Саню Малешкина обидела. Не такой он ее представлял, не такие мечтал слушать слова. Герой Советского Союза полковник Дей вместо приветствия заявил, что он очень добрый и мягкий человек, а поэтому прощает батарею полчасика опоздания. Беззубцев заикнулся было объяснить, что он не виноват. Но Дей, сверкнув белками глаз, резко его осадил:

— Все, комбат. В бою минуты не прошу.

Скрипучим, железным голосом командир полка поставил перед батареей задачу, которая заключалась в поддержке самоходками танковой атаки.

— Запомните, самоходки должны двигаться за моими танками в ста метрах.

— Это не по уставу, товарищ полковник,— возразил Беззубцев.

Огромные белки Дея заметались, но он сдержал себя и как бы между прочим заметил:

— Мне тоже как-то доводилось читать устав, товарищ лейтенант. Сто метров, и ни сантиметра дальше. Понятно?

Беззубцев вытянулся:

— Так точно, товарищ полковник!

— Все. С богом!

Дей резко вскинул руку, резко повернулся и пошел вдоль колонны легко и быстро.

За ним побежал адъютант, придерживая болтавшуюся сбоку планшетку.

Саня обиделся не на грубость полковника и не на жестокий приказ, а на то, что он не обратил никакого внимания на командиров машин, как будто их и не было. «А ведь не комбату идти за танками в ста метрах и не ему гореть, а командиру машины, а он даже не посмотрел на нас. Да какое ему дело до младшего лейтенанта Малешкина...» — думал Саня, возвращаясь к своей самоходке. Точно так же размышляли и Пашка Теленков, и Чегничка, и командир машины Вася Зимин.

4-я танковая армия генерал-полковника Гота пятилась нехотя, злобно огрызаясь. На этом направлении отступление прикрывал 2-й корпус СС.

У полковника Дея был категорический приказ командующего выбить немцев из местечка Кодня. На карте Кодня обозначена крохотным кружочком. И в этом кружке находились танки дивизии «Тоден копф». Эсэсовцы сидели за броней в двести миллиметров и из мощной пушки расстреливали наши танки за километр, как птиц. Птица хоть могла прятаться, а танки полковника Дея не имели права. Они должны были атаковать и обязательно выбить. Вот что мучило с утра полковника Дея. Так простим же этому уже второй месяц не вылезавшему из танка, исхудавшему как скелет полковнику, что он, углубленный в свои мысли, возмущенный непосильной задачей, не заметил Сани Малешкина, не улыбнулся ему, не кинул ободряющего слова.

Полк обогнул лесок на холме и, развернувшись в боевую линию, приготовился к атаке. Перед танками лежала унылая пустошь, поросшая чахлым кустарником, которую чуть-чуть оживляли молодые елочки и светло-зеленые папахи можжевельника. За пустошью было поле и за полем — село. Сквозь кустарник оно не проглядывалось. Но Саня знал, что там село, а в селе — немцы.

Впереди Саниной самоходки стоял танк Героя Советского Союза Доронина. Малешкин решил двигаться за ним. Это решение Саню и успокоило и ободрило. Десантники, сбившись в кучу, жались друг к другу, курили, передавая из рук в руки сигарку. Из люка высунулся Домешек, посмотрел на них и, увидев маленького солдата, подмигнул:

— Ну как, Громыхало из Подмышек, боишься?

Громыхало застеснялся, вытер рукавицей нос.

— Немножко трясеть, товарищ сержант.

— Не дрейфь, Громыхало. Помни: как начнут фри-

цы лупить — сигай с машины в снег и зарывайся с головой.

— Как тятерка?— спросил Громыхало.

— Во-во, как тетерев-косач.

Подбодрив Громыхалу, наводчик взгромоздился на свой стульчак и прилип глазом к прицелу.

— Прицел обычный — восемьсот? — спросил он.

— На прямой,— ответил Малешкин.

Рация работала на прием. Саня включил внутривереворное устройство, проверил. Оно тоже работало отлично.

«Когда стоим, все как часы работает. А как поедем, сразу расстроится. Почему это так получается?» — спросил себя Саня, но ответить не успел: помешал голос комбата.

Беззубцев приказал приготовиться и по сигналу красной ракеты — вперед.

— Повторите, как меня поняли,— потребовал комбат.

— По сигналу красной ракеты — вперед,— отчеканил Саня.

Через минуту Беззубцев опять вызвал Малешкина и строго спросил, почему он не отвечает. Саня взглянул на рацию и обомлел. Разговаривая с командиром, он позабыл перевести рычаг на «передача». Он включил передатчик и доложил, что команду понял хорошо, а в первый раз не ответил потому, что забыл перевести рычажок, на что комбат укоризненно сказал:

— Как же ты, шляпа, со мной во время боя будешь держать связь, когда на исходной не можешь...

Этот глупый, досадный промах испортил Малешкину боевое настроение. Он приказал экипажу приготовиться к атаке: заряжающему зарядить пушку, десанту внимательно следить, когда взлетит красная ракета, а сам уткнулся в панораму.

Осип Бянкин открыл затвор, вытащил из гнезда бронбойный заряд, пошувыкал его, как ребенка, и со словами: «Пошел, милый» — загнал в патронник. Затвор с лязгом закрыл ствол пушки.

— Пушка заряжена,— предупредил Бянкин наводчика.

Малешкин не отрывался от панорамы. Прошло еще пять минут, а сигнала к атаке все не было. «Чего стоим, чего стоим?» — шептал Саня. Мелькнула мысль, что в панораму он может не заметить красной ракеты, а десантники ее прозевают,

Саня высунулся наполовину из люка. Автоматчики еще теснее сбились в кучу и все так же курили, передавая сигарку по кругу.

Повалил снег, крупный, мягкий и очень густо. И ничего не стало видно — сплошная белая тьма. Если бы ракета взлетела над головой Малешкина, он бы ее и не заметил. Руки у Сани дрожали. И он почувствовал, что на него наваливается страх, хватая за горло, трясет и колотит. Саня уперся лбом в панораму и стиснул зубы. Но это ни к чему не привело. Его продолжало трясти и колотить. «Да что же это такое?» — чуть не закричал Саня, оторвавшись от панорамы, посмотрел на экипаж.

Заряжающий сидел на днище, спокойнo курил и поплеывал. Домешек протирал стекло прицела. Щербак, сжимая своими лапищами рычаги фрикционов, согнулся так, будто приготовился к прыжку. Сане стало легче, но совсем успокоиться он не успел. Заскрежетали коробки передач, захлопали гусеницы.

— Танки пошли, лейтенант! — крикнул Щербак.

Малешкин даже не успел сообразить, что ему делать, как в наушниках раздался отрывистый и совершенно незнакомый голос комбата: «Вперед!»

— Вперед! — закричал Саня и прилип к панораме.

Щербак вел машину по следу танка. А снег валил и валил. Как Саня ни крутил панораму, как напряженно ни вглядывался в белую муть, ничего, кроме перекрестья и черных цифр на стекле, не видел. В конце концов Малешкин устал от напряжения и совсем успокоился.

Ему даже стало скучно. Разве он такой представлял себе атаку? Она рисовалась ему стремительной, до ужаса захватывающей. Самоходка на пятой скорости пронесется мимо горящих танков, врывается в боевые порядки противника и все уничтожает и давит. Потом поджигают и его машину. Саня смертельно ранен. Верный экипаж вытаскивает его из самоходки и несет на шинели по глубокому снегу. А Мишка Домешек, смахивая слезы, говорит: «На войне как на войне». Вот как представлял себе младший лейтенант Малешкин свою первую атаку. «А это что? Ползем как черепахи друг за другом и ни черта не видим», — с раздражением думал Саня.

Машина вдруг споткнулась и закачалась. Щербак, завалившись на спину, держал ее на тормозах. За броней кричали и ругались солдаты. Саня выглянул из люка. Его самоходка наскочила на танк и пушкой расшвы-

ряла десантников. Один солдат барахтался в снегу и на чем свет стоит крыл самоходчиков. К счастью, обошлось без жертв. Танк, подобрав свалившихся автоматчиков, тронулся.

— Фу, черт возьми! — сказал Саня, вытер взмокший лоб и обругал водителя слепым верблюдом.

Снег не переставая валил и валил. Десант на машине превратился в грязную бесформенную снежную глыбу. Внезапно справа и слева захлопали пушки. Выстрелы звучали резко и сухо, как будто где-то поблизости кололи дрова. Танк лейтенанта Доронина тоже начал стрелять. Саня приказал Щербаку отъехать в сторону и отдал команду: «Огонь!»

— А куда, лейтенант? Ни черта не видно, — сказал Домешек.

— Туда, куда и все. — И Саня неопределенно махнул рукой.

— Выстрел! — крикнул наводчик.

Пушка рывкнула и с грохотом выбросила из патронника гильзу.

Заряжающий с маху вогнал новый снаряд.

— Готово!

— Огонь! — крикнул Саня.

— Выстрел, — ответил Домешек.

Пушка опять ахнула, опять сверкнула гильза, и желтый, вонючий, как тухлые яйца, дым столбом пополз из люка.

— Готово! — доложил заряжающий.

— Стой! — сказал Малешкин, высунулся из люка, прислушался.

Стрельба прекратилась. Чуть слышно ворчали моторы.

«Ушли вперед», — сообразил Саня, и ему стало понастоящему страшно.

— Вперед, Щербак!

Щербак с места воткнул третью скорость. Самоходка понеслась и вскоре догнала танки. Лицо младшего лейтенанта Малешкина расплылось в широченной радостной улыбке.

— А здорово мы, братцы, стрельнули!

— В белый свет, как в копеечку, — захохотал Домешек.

Но тут Саня вспомнил, что он не на учебных стрельбах, не на полигоне, а в бою, в танковой атаке, и, собственно говоря, радоваться нечему, и, кроме того, он совсем забыл про связь с комбатом. Малешкин вызвал

Беззубцева, и тот высыпал на его голову ворох матюков. Саня не обратил на них особого внимания. Но когда комбат заявил, что он теперь понимает капитана Сергачева и полностью с ним согласен, Малешкину стало очень скучно. «Черт знает как мне не везет. Теперь этот грозит снять. Ну и пусть снимают, подумаешь, какая радость — самоходка». Но от одной только мысли, что его еще могут снять и отправить в резерв, Малешкину стало опять больно и обидно.

Не заметили, как танки вошли в село. И оказалось, все было напрасно: и атака, и стрельба, и ругань комбата. Немцы отошли еще на рассвете.

В бой вступили внезапно, с ходу, за село Антополь-Боярка. Село раскинулось на снегу серым огромным треугольником.

Полк двигался походной колонной, и, когда колонна вышла из леса, боевое охранение уже скрылось в селе за крайними хатами. Раздался треск, как будто переломили сухую палку. И в центре треугольника за клубился смолистый дым. Взлетела красная ракета, и танки стали стремительно разворачиваться.

Саня, в сущности, плохо понимал, что происходит. Комбат приказал не вырваться вперед и двигаться за танками не ближе чем в ста метрах. Щербак же повис на хвосте впереди идущей машины. Тридцатьчетверка шла зигзагами, стреляя на ходу. За ней так же зигзагами вел самоходку Щербак. Саня не видел поля боя: мешала тридцатьчетверка. Саня приказал Щербаку отстать или свернуть в сторону. Щербак, не ответив, продолжал плестись за танком.

— Сворачивай! Что же ты делаешь? — кричал Малешкин.

— Сворачивай, гад, мне стрелять нельзя! — заревел наводчик.

Щербак оглянулся, кивнул головой и еще ближе прижался к танку. Саня понял, что водитель боится и из страха прячется за броню впереди идущей машины.

— Спокойно, ребята. Спокойно... Все будет в порядке, — сказал Малешкин, больше успокаивая себя, нежели ребят.

Суматошно закричали солдаты-десантники. Саня метнулся к люку. Автоматчики скатывались с машин. Маленький Громыхало, как слепой, метался с одной стороны на другую, потом лег ничком между ящиками и закрыл голову руками. Перед самоходкой на одной гусенице вертелся танк, Механик-водитель пытался выва-

литься из люка, но за что-то зацепился, повис и тоже вертелся вместе с машиной и дико кричал: «А-а-а-а!» Из башни вырвался острый язык огня, окаймленный черной бахромой, и танк заволокло густым смолистым дымом. Ветер подхватил дым и темным лохматым облаком потащил по снегу в село.

«Что же я стою? Сейчас и нас так же... — мелькнуло в голове Малешкина. — Надо двигаться...»

— Вперед, Щербак!

Щербак повернулся к Малешкину. Саня не узнал своего водителя. У него в эту минуту лицо было без кровинки, словно высеченное из белого камня.

— Вперед, Гриша! Вперед, милый! Нельзя стоять! — с отчаянностью упрашивал Саня.

Щербак не пошевелился. Малешкин вытащил из кобуры пистолет.

— Вперед, гад, сволочь, трус! — кричали на водителя наводчик с заряжающим.

Щербак смотрел в дуло пистолета, и страха на его лице не было. Он просто не понимал, чего от него хотят. Саня выскочил из машины, подбежал к переднему люку и спокойно приказал:

— Заводи, Щербак.

Щербак послушно завел. Саня, пятясь, поманил его на себя. Самоходка двинулась.

— За мной! — закричал младший лейтенант Малешкин и, подняв пистолет, побежал по снегу к селу. В эту минуту Саня даже не подумал, что его легко и так просто могут убить. Одна мысль сверлила его мозг: «Пока горит танк, пока дым — вперед, вперед, иначе смерть».

В небо взлетела зеленая ракета — танки повернули назад. Малешкин не видел этой ракеты. Он бежал не оглядываясь. Он видел только село. Там фашисты... Их надо выбить! Таков был приказ. И он выполнял его.

Пригнувшись, он бежал и бежал. Бежать по присыпанной снегом пашне было очень тяжело. Ломило спину, рубашка прилипла к телу, пот заливал глаза. «Только бы не упасть, только бы не упасть» Он оглянулся назад. Самоходка наступала ему на пятки. Саня побежал быстрее.

— Лейтенант, лейтенант! — услышал он голос Щербака. — Садись, я сам поеду. Теперь не страшно.

Саня вскарабкался на самоходку и от усталости свалился на ящики. Щербак включил пятую скорость, самоходка заревела и ринулась в село. У крайней хаты водитель остановил машину, выключил мотор. Перед

ними была белая стена украинской мазанки, сзади белое поле. Четыре вырвавшихся вперед танка горели, остальные отходили к лесу. «Куда же я забрался, дурак», — с ужасом подумал Малешкин.

Щербак, наводчик и заряжающий не спускали глаз с командира. В них Малешкин прочел не только: «А что дальше, лейтенант?» — но и еще кое-что поважнее. Саня понял, что сейчас он выиграл самое важное сражение. Он завоевал экипаж. И теперь, что бы он ни приказал, все будет выполнено сразу и безоговорочно.

Но в эту минуту Саня еще не знал, что ему надо делать, что приказывать. А экипаж ждал, и что-то надо было предпринимать.

— Надо разведать, — сказал Малешкин. — Кто сходит?

Саня не сказал резко, как приказ: «Кто пойдет?» — хотя чувствовал, что имел на это теперь полное право.

Домешек с Бянкиным переглянулись, и оба согласились. Саня почесал затылок. Кого послать? Экипаж должен всегда находиться в машине в полной боевой готовности. Мало ли что...

— Товарищи танкисты, у вас покурить нетути? — В башенном люке торчала огромная солдатская шапка.

— Ты кто? — удивленно спросил Малешкин.

— Солдат Громышало, десантник.

— Зачем ты здесь? Почему не спрыгнул со всеми?

— Труханул малость, — чистосердечно признался Громышало.

В общем, Громышало из Подмышки для экипажа словно с неба свалился. Его и отправили в разведку. Громышало вернулся подозрительно быстро и сказал, что в деревне горит хата, а ее никто не тушит, что зашел еще в две хаты, и никого в них нет.

— А немцев, фрицев ты видел? — в один голос спросил экипаж.

— Нет, не видел, — с искренним сожалением признался Громышало и добавил: — А в избах тепло и пахнет щами.

— А чего же ты, ничего не разведав, так скоро вернулся? — строго спросил Малешкин.

— Боялся, что вы уедете.

Осип Бянкин покачал головой:

— Дерьмо ты, Громышало, а не разведчик.

— Какой уж есть, — обиженно пробормотал Громышало.

— Что-то здесь нечисто, лейтенант. Уж больно ти-

шина подозрительная. Чует мое сердце — нечисто. Поговори-ка с комбатом, — посоветовал ефрейтор.

«Опять про связь забыл!» — простонал Саня и бросился к рации.

— Алло, алло. «Сосна»? Я — «Ольха». Прием.

Ответил совершенно незнакомый голос:

— Это «Ольха»? Сейчас с вами будет говорить «Орел». Как слышите, как поняли меня? Прием!..

Саня ответил, что понял и слышит хорошо.

«Орел» заговорил резким, скрипучим голосом. Лицо у Сани вытянулось, посерьезнело. Он узнал голос полковника Дея.

— Сообщите, где вы находитесь и где противник.

Саня сообщил, что он стоит за хатой, в селе тихо и противника он не видит. Полковник Дей приказал Малешкину следовать на северо-западную окраину села Антополь-Боярка, при движении соблюдать осторожность и обо всем докладывать.

В первую очередь надо было определить северо-западную окраину села. Но эта задача оказалась не такой-то простой. День стоял хмурый, а компаса у Сани не было. Спросить у полковника Дея он постеснялся. Тогда Саня решил, что если он по диагонали пересечет село, то как раз попадет туда, куда надо.

— Вот так давай, Гриша. Прямо по садам. — Саня рукой показал, куда ехать.

Экипаж занял свои места в машине. Громыхалу оставили наверху, приказав ему внимательно смотреть по сторонам.

Щербак вел машину, осторожно пробираясь меж яблонь, ломая густой вишенник.

— Тихо, тихо, не газуй, — шипел на него Домешек.

Объехали горящую хату. Она пылала весело, как стог сена. Пересекли улицу и увидели обугленную тридцатьчетверку. Она еще дымилась, и от нее сильно несло резиной. Остановились. Громыхало побежал к танку — посмотреть, где экипаж. Когда Громыхало вернулся и сообщил, что от экипажа остались одни головешки, Саня опять стало страшно.

— Как же нам теперь ехать? По дороге или огородами? — спросил Малешкин ефрейтора и, не получив ответа, приказал Щербаку пробираться огородами, прячась за хаты.

Самоходка поползла по бахчам, ломая заборы, подвигалась бросками от хаты к хате. Останавливались, прислушивались. Но было тихо, подозрительно тихо.

У Сани от напряжения заломило в висках. Неожиданно хаты под углом повернули влево. Щербак остановил машину, вопросительно посмотрел на командира:

— Куда ехать, лейтенант?

— Надо подумать,— сказал Саня.

Малешкин давно уже потерял всякую ориентировку и ехал просто наугад. Подумали и решили опять послать Громыхалу в разведку, пообещав ему никуда не уезжать. Разведка Громыхалы состояла в том, чтобы сходить за поворот и посмотреть, что там есть. Малешкин доложил полковнику Дею, что остановился и послал в разведку солдата. Командир полка одобрил это решение и назвал Малешкина молодцом. Похвала ободрила Саню, и он подмигнул Домешеку:

— Держись, Мишка. Все идет как по маслу.

Из-за поворота, прижимая к груди шапку, выскочил Громыхало, запутался в полах шинели, упал, вскочил и со всех ног бросился к машине.

— Немцы. Танки. Огромные, с черными крестами.

— Где?

— Там.

— Много?

— Не знаю.

Малешкин сообщил командиру полка, что в селе фашистские танки. На вопрос Дея: «Сколько?» — Саня ответил, что его разведчик не считал, а сам он их не видит. Дей потребовал проверить лично и доложить. Саня сказал: «Есть!» — и, прихватив с собой солдата, побежал проверять.

Громыхало не соврал. За поворотом сразу же открывалась площадь, окруженная хатами. На площади стоял немецкий танк Т-6 — «тигр». Саня выставил палец, прищурился и определил расстояние до «тигра».

«Метров двести, не больше»,— решил он.

Малешкин с солдатом зарылись в снег и стали высматривать. Но сколько они ни вглядывались, ничего, кроме «тигра», не видели. Да и «тигр», повернув в обратную сторону пушку, не шевелился.

«Какой же я идиот, бинокль с собой не взял!» — обругал себя Саня.

Так они пролежали минут десять. Вдруг из хаты вышли два немца, расстегнули штаны, помочились и опять ушли в хату.

— Смотри, лейтенант, еще один,— зашептал Громыхало.

— Где?

— Вон там. Видишь беленький домик с палисадником? Набалдашник торчит.

Малешкин долго всматривался в направлении, куда показывал палец солдата, и наконец разглядел пушку с дульным тормозом.

— Все ясно, будем драться, Громыхало.

Это решение не испугало Саню; наоборот, осознав важность принятого решения, младший лейтенант Малешкин как будто сразу и повзрослел, и поумнел. Он хладнокровно огляделся и наметил две огневые позиции: основную и запасную. Основной была хата с высоким забором, запасная — тоже хата, только без забора. С первой Саня наметил уничтожить «тигра» на площади, со второй — танк за палисадником.

Вернувшись к машине, Саня доложил полковнику, что в селе немцы и что двух «тигров» он видел сам. На вопрос Дея, какое он, Малешкин, принял решение, Саня твердо и решительно заявил: «Уничтожить!»

— Добро! — сказал полковник Дея. — Начинайте, Малешкин. Мы идем на помощь.

Приказ командира полка придал Малешкину еще больше уверенности и хладнокровия. Он лично сводил Щербака с Домешekom за поворот, указал наводчику цель и разъяснил Щербaku, где поставить машину.

Все проверили, зарядили пушку, установили прицел.

— Учти, Щербак. На полной скорости выскакиваешь к хате с левой стороны. Мотор не глушить. Сразу же включаешь заднюю скорость и ногу не снимаешь с педали главного фрикциона, пока я не подам команду «назад», — еще раз предупредил Малешкин водителя.

Спокойствие и уверенность невольно передались и экипажу. Даже Громыхало расхрабрился и наотрез отказался слезть с машины.

— Приготовились, — сказал Саня и посмотрел на экипаж.

Домешек, держа ручку поворотного механизма, притворился глазом к прицелу. Бянкин наготове держал в руках снаряд. Щербак не спускал глаз с лейтенанта.

— Давай, Щербак!

Водитель нажал кнопку стартера. Стартер зазвенел. Сане показалось, что ему воткнули в сердце гвоздь, в глазах потемнело. Щербак нажал еще раз, и мотор с треском захлопал. Самоходка рванулась к хате. Саня крепко прижался лбом к панораме. Когда машина выскочила из-за хаты и остановилась, Саня увидел «тиг-

ра». Он стоял там же, только теперь башня у него крутилась.

«Услышал нас, гад», — подумал Саня и почувствовал, что его опять начинает трясти.

— Прицел готов, — доложил Домешек.

— Огонь! — крикнул Саня.

— Выстрел!

Когда дым перед пушкой рассеялся, Саня увидел, что танк по-прежнему стоит.

Малешкину стало жутко.

— Почему же он не горит? Наверное, смазали. Огонь, огонь! — заревел Малешкин.

После второго выстрела «тигр» тоже не загорелся.

— Почему он не горит? — спросил Саня.

У наводчика лязгали зубы.

— Не знаю.

— Дай я. Становись на мое место. Командуй. — Саня бросился к прицелу.

— Готово! — крикнул Бянкин.

— Выстрел...

Пушка громыхнула. Дым рассеялся. «Тигр» стоял на месте. Сане показалось, что он сошел с ума.

— Лейтенант, еще один. Бей, чего же ты ждешь! — закричал Домешек.

— Где же он? Да где же он? — кричал Саня. — Господи, да что же это такое? Ничего не вижу. То небо, то снег.

— Лейтенант, чего ты копаешься! Он уже разворачивается, — простонал Домешек.

Саня опомнился. Оказывается, вместо поворотного механизма он все время крутил подъемный. Он выругался и, выровняв пушку, поймал в перекресток второй танк. «Тигр», наставив на Саню свою пушку, раскачивал набалдашник.

«Сейчас нам конец», — подумал Малешкин и, закрыв глаза, нажал рычаг спускового механизма.

Грохот пушки подействовал на Малешкина отрезвляюще. «Мы еще пока живы», — подумал Саня и закричал:

— Назад, Щербак!

Водитель схватился за рычаги. Самоходка дернулась назад, раздался оглушительный грохот: машину заволокло дымом.

— Горим!

— Горим? Где горим? — ничего не понимая, спросил Малешкин, словно от огня закрыв руками лицо.

— Выпрыгивай!

Бянкин бросился к люку, попытался откинуть крышку. Но она не поддавалась, даже когда к нему на помощь подскочил Домешек.

— Капут нам. Заклинило,— сказал Домешек.

— Что же теперь делать? — спросил Саня.

Собственная смерть ему показалась необычной и странной.

Хотя они и горели, но огня не было, да и дым очень уж не походил на настоящий дым, да и самоходка почему-то дребезжала, как будто двигалась.

Щербак ногой бил по крышке переднего люка.

— Защелку, защелку отожми! — кричал ему Бянкин.

Щербак дернул рукоятку защелки, и люк распахнулся.

Первым вывалился из машины водитель, за ним — заряжающий, наводчик зацепился за что-то карманом.

Бянкин схватил его за руки, дернул, и Домешек головой полетел в снег.

Последним из машины кубарем выкатился Малешкин.

Со всех сторон стреляли танки. Снаряды с воем проносились над головами. Экипаж младшего лейтенанта Малешкина отступал по-пластунски. Впереди, как бульдозер разгребая снег, полз Щербак, за ним — Домешек, потом — Бянкин. Командир прикрывал отступление.

— Скорее, скорее... — подгонял Саня и вдруг остановился.

— Лейтенант, лейтенант, погодите! — кричал кто-то.

Малешкин оглянулся. За ними, размахивая автоматом, бежал Громыхало.

— Куда вы, лейтенант? Самоходку зачем бросили?

— Ты что, не видел, как она сгорела? — спросил Саня.

— Когда сгорела?! Вон она ездит.

То, что Малешкин увидел наяву, вряд ли могла избрести даже его фантазия. Самоходка, нахлобучив на себя крышу хаты, ползла по огородам. И Малешкин все понял. Никто их не поджигал. Просто Щербак въехал в дом и протаранил его насквозь. Грохот свалившейся крыши они приняли за разрыв снаряда, а пыль от глиняных стен — за дым.

Его экипаж тоже ошалело смотрел на разгуливающую самоходку с крышей на спине.

— Щербак, почему она движется? — спросил Саня.

— Я поставил ее на ручной газ.

— Теперь мне все понятно,— сказал Малешкин и су-
рово посмотрел на экипаж: — К машине!

Они поползли обратно. Танки продолжали стрелять.
Ударили по самоходке.

Снаряд, как огненный шар, налетел на машину. Во
все стороны брызнули искры. Сане показалось, что сна-
ряд разбился о броню вдребезги.

Самоходка прошла еще метров десять, потом за-
валилась кормой, задрав вверх пушку. Крыша с нее
сползла.

— Почему она не горит? — спросил Домешек.

— Подождем малость — и загорится,— уверенно
сказал Щербак.

Подождали минуты три, самоходка не загорелась.

— За мной! — приказал Саня, и экипаж послушно
пополз за своим командиром.

Стрельба усилилась. Одна хата пылала уже вовсю,
другая только что загорелась. В воздухе повис клокочу-
щий залп «катюш», и вслед за ним, казалось, с оглуши-
тельным треском лопнуло небо. Взрывная волна оторва-
ла Саню от земли и швырнула головой в снег под гусе-
ницу.

От тупой боли в локте рука онемела. Ничего не видя,
ослепленный снежной пылью, Малешкин заполз под ма-
шину. Там уже сидел его экипаж. Самоходка, заехав в
яму, образовала довольно-таки удобное укрытие.

Саня протер глаза.

— Все целы? — спросил он.

— Пока все,— ответил Домешек.

— А где Громыхало?

Наводчик высунулся из-под машины:

— Вон лежит. Кажется, убили.

Саня посмотрел и увидел на снегу свернутую в ко-
мок шинель.

— Громыхало! — крикнул Домешек.

Комок зашевелился, из снега высунулась шапка.

— Вались сюда, Громыхало.

Громыхало кубарем скатился под машину.

— Ну как? — спросил его Домешек.

Громыхало заулыбался:

— Ничего. Чай, не попало.

— А где твой автомат?

Солдат испуганно посмотрел на Саню, на свои руки
и заметался, выскочил из-под самоходки и побежал ис-
кать автомат.

— Надо и нам из машины достать оружие,— сказал Малешкин.

Щербак выругался:

— На хрен нам было забираться сюда. Не фрицы, так свои ухлопают тут.

Бянкин бешено оскалил зубы:

— Заткнись.

Опять заклокотали гвардейские минометы.

Снаряды с надрывным воем пронеслись над самоходкой.

— Это не наш,— облегченно вздохнул Домешек.

Второй залп накрыл впереди бугор с тремя хатами. Бугор вздыбился, две хаты сразу же охватило огнем, а третью разнесло в клочья.

Высоко подброшенная доска долго и лениво кружилась в воздухе.

— Следующий залп наверняка будет наш,— сказал Щербак.— Возьмет в вилку и прихлопнет.

Домешек вздохнул:

— На войне как на войне.

Малешкин приказал наводчику достать из машины оружие с гранатами. Домешек через люк механика-водителя проник в самоходку и подал Бянкину три автомата.

Щербак посмотрел на свой автомат и свистнул. Патронный диск насквозь пробил осколком.

— Посмотрели бы вы, что в машине творится. По радиостанции словно из дробовика шарнули. Гильзы снарядов порвало осколками, порох из них торчит, как солома. Хорошо, что они еще не сдетонировали,— сообщил Домешек.

— Это еще неизвестно, что хорошо, а что плохо,— философски заметил ефрейтор Бянкин.

— Гришке очень хотелось, чтобы они сдетонировали.

Щербак хмуро посмотрел на командира и буркнул:

— Ничего я не хотел.

Приполз с автоматом Громышало. На вопрос Сани, где немцы, Громышало ответил, что он на них не смотрел, так как все время автомат искал.

— Я его там шукал, а он здесь, около машины, валялся,— хвастливо заявил Громышало.

Заняли круговую оборону.

С правой стороны гусеницы сел с автоматом Бянкин, с левой — Домешек. Сзади под трансмиссией посадили Щербака с гранатами, впереди лег сам Малешкин с Громышалой.

Стало сравнительно тихо.

Где-то далеко гудели моторы, да изредка постреливали танки.

— А двух мы прихлопнули, лейтенант, — сказал Громыхало.

— Кого двух? — переспросил Саня.

— Два фашистских танка.

— Ври больше.

— Вот те хрест, товарищ лейтенант, — и Громыхало перекрестился. — Как вы зачали палить, я спрыгнул с машины и спрятался за угол. Гляжу, из первого танка выскочил один и побежал. А из хаты, у которой те мочились, ты знаешь, сколько выбежало фрицев? Тьма-тьмущая. Потом вы по другому стали стрелять. Из него тоже запрыгали фрицы. А потом меня чуть стеной не завалило. Если бы не заехали в дом, знаешь, лейтенант, сколько бы вы танков настреляли! Они стали из-за каждой хаты вылезать.

— Заливаешь ты, Громыхало, — сказал Домешек.

— А чего мне заливать? — Громыхало обиделся и застрочил из автомата.

— Ты чего делаешь, сморчок сопливый? — заревел Щербак. — Хочешь, чтобы нас фрицы обнаружили!

— Ничего я не хочу, я просто автомат проверял, — сказал Громыхало и вдруг закричал: — Ура! Наши танки идут!

Малешкин с Громыхалой выскочили из-под машины, запрыгали, как дикари, размахивая автоматами.

Подошла тридцатьчетверка, из люка высунулся танкист и удивленно посмотрел на бесновавшихся самоходчиков.

— Вы что, пьяные? — спросил он.

— От радости пьяные! — закричал Домешек.

— Это ваша самоходка? — спросил танкист.

— Наша.

— А мы по ней стреляли. Думали, что это «тигр» на себе крышу таскает.

Тридцатьчетверка затарахтела и, обдав Саню вонючим дымом, поехала дальше.

— А что же нам-то теперь делать? — спросил Саня и вздохнул.

— Щербак, попробуй мотор, авось заведется, — сказал Домешек.

К неопишуемой радости младшего лейтенанта Малешкина, кроме радиостанции и снарядов, больше ничего не пострадало.

Снаряд угодил в башню, пробил броню и застрял под пушкой в боеукладке.

Сбросили с машины остатки крыши, покалеченные снаряды, дыру в башне заткнули тряпкой, и самоходка тронулась.

Проехав метров пятьдесят, Саня увидел площадь села, а на ней два подбитых «тигра».

Около них стояли наши самоходки с танками, бегали солдаты.

«Мои „тигры“! Я их подбил!» На Малешкина волной нахлынула радость, выдавила слезу, он смахнул ее рукой и закричал:

— Давай, Гришка, прямо туда!

У первого «тигра» он увидел полковника Дея с комбатом.

Саня спрыгнул с машины и, не зная, что поддерживать, то ли колотившуюся по ногам сумку, то ли собственное сердце, которое тоже колотилось, побежал. Метров за десять он перешел на шаг и, подойдя к командире, щелкнул каблуками:

— Товарищ полковник, экипаж гвардии младшего лейтенанта Малешкина в бою за село Антополь-Боярка подбил два фашистских танка. В мою машину было одно попадание.— Саня запнулся, посмотрел на Дея.

Тот стоял перед ним чуть ссутулившись и внимательно слушал.

— Пострадала радиостанция и часть снарядов. Экипаж жив и здоров. Машина готова к бою,— четко доложил Саня.

Дей улыбнулся и поправил на голове Малешкина шапку.

— А чем ты докажешь, Малешкин, что вы подбили? Может, это сделали мои орлы? — спросил Дей.

— Нет, товарищ полковник. Мой экипаж подбил,— категорически заявил Саня и посмотрел на «тигра». Сбоку в башне зиял пролом. Саня протянул руку: — Посмотрите, товарищ полковник, чей здесь снаряд сработал? Наш, самоходовский. От ваших снарядов разве такая дыра? Во какая! — И Саня показал руками, какую дыру в его самоходке просверлили танкисты.— Не верите, товарищ полковник? Сходите, посмотрите,— просто душно предложил Малешкин.

Дей поморщился. Смотреть на работу своих орлов ему, видимо, не очень-то хотелось.

— А почему вы, Малешкин, в село впереди машины бежали? — ехидно спросил полковник.

Саня не знал, что отвечать. Сказать правду — значит с головой выдать Щербака.

Дей в ожидании ответа с любопытством разглядывал Малешкина.

Саня поднял на полковника глаза и виновато улыбнулся:

— Очень замерз, товарищ полковник, вот и побежал, чтоб согреться.

Поверил ли словам Малешкина Дей, трудно сказать. Только вряд ли.

Он повернулся к Беззубцеву и скрипучим, железным голосом приказал:

— Комбат, доложите в свой штаб, чтобы Малешкина представили к Герою, а экипаж — к орденам. — И, уловив в глазах комбата удивление, еще жестче прокрипел: — Да, именно к Герою. Если б не Малешкин, бог знает чем бы все это кончилось.

Полковник Дей резко повернулся и пошел своей прыгающей, птичьей походкой.

Приказ командира полка не сразу дошел до Малешкина, а когда наконец дошел, то ошеломил его. Окружающий его мир перед глазами сначала опрокинулся навзничь, а потом завертелся пестрым, радужным клубком. Саня зажмурился, помотал головой, открыл глаза. Солдаты вытаскивали из «тигра» эсэсовца в черной форме. «Зачем они его тащат, и откуда он взялся?» — машинально спросил себя Малешкин. Труп выволокли из люка, сбросили на землю. Он упал в снег около ног Малешкина. Вместо лица Саня увидел сырой кусок мяса, а на рукаве — маленький алюминиевый череп.

Саня присел на корточки, отодрал от рукава эмблему и долго удивленно, ничего не понимая, рассматривал, а потом положил в карман.

Его кто-то потащил ко второму подбитому «тигру», кто-то повесил ему на шею великолепный цейсовский бинокль, кто-то сунул в руку парабеллум. А Саня бессмысленно улыбался и ничего не понимал. Прибежали Чегничка с Зиминим. Они набросились на Саню, обнимали, мяли, называли молодчиной и прочими приятными словами. И Малешкину казалось, что это необычайно удивительный и легкий сон. Он никак не мог представить себе все это реальностью. Так же, как не мог понять, как он стал героем. Ведь он и не думал о героизме, когда бежал впереди самоходки, когда стрелял по фашистским танкам. Просто так надо было делать,

Пришел в себя Саня, когда Чегничка сообщил, что погиб Пашка Теленков.

— Кто? Кто? — испуганно переспросил Малешкин.

— Пашка сгорел с экипажем,— сказал Чегничка и отвернулся.

Легкий озноб пробежал по телу Малешкина, на секунду сжалось сердце, потом стало жарко. Только сейчас Саня понял, что сгорел не он, а Пашка, что героем стал не кто-нибудь другой, а он, младший лейтенант Малешкин.

— Очень жаль Пашку,— сказал Саня. Но сказал без печали за судьбу товарища. Он был слишком счастлив в эту минуту, чтоб о ком-либо печалиться. Он был переполнен счастьем, а для печали-жалости не осталось в его душе ни одного, даже крохотного, закоулка.

* * *

Часа два спустя взяли Кодню. Танковый полк в ожидании отставшей артиллерии с пехотой занял оборону.

Противник не пытался контратаковать. И только наугад постреливал из минометов.

Экипаж Малешкина сидел в машине и ужинал. Мина разорвалась под пушкой самоходки. Осколок влетел в приоткрытый люк механика-водителя, обжег Щербаку ухо и как бритвой раскроил Малешкину горло. Саня часто-часто замигал и уронил на грудь голову.

— Лейтенант! — не своим голосом закричал ефрейтор Бянкин и поднял командиру голову. Саня задергался, захрипел и открыл глаза. А закрыть их уже не хватило жизни...

Саню схоронили там же, где стояла его самоходка. Когда экипаж опустил своего командира на сырой глиняный пол могилы, подошел комбат, снял шапку и долго смотрел на маленького, пухлогубого, притихшего навеки младшего лейтенанта Саню Малешкина.

— Что же вы ему глаза-то не закрыли? — сказал Беззубцев и, видимо поняв несправедливость упрека и бессмысленность вопроса, осердился и надрывно, хриплым голосом закричал: — За смерть товарища! По фашистской сволочи! Батарея, огонь!

Залп всполошил немцев. Они открыли по Кодне суматошную стрельбу,

ЖЕЛЕЗНЫЙ ДОЖДЬ

Первая книга повести

«Двенадцать подвигов солдата»

Лет десять назад, когда я окончил филфак университета, я считал себя не только прирожденным журналистом, но и писателем. Впрочем, каждый журналист мнит себя писателем.

По распределению я попал в районный городок С. Поехал туда с самыми радужными надеждами.

С.— крохотный городишко в окружении болот, озер и сереньких деревень. Природа там и сейчас по-русски трогательная: климат сырой, а жизнь, как и везде, обычная.

Жил я в доме дородной Солдатихи — так звали соседи мою хозяйку Евлению Петровну Солдатову. В молодости она, говорят, была красавицей. Но к сорока пяти годам огрузла и рассолодела. Первый муж у нее не вернулся с войны. И не потому, что погиб или пропал без вести,— просто где-то заблудился по пути из Германии к дому.

Снимал я у Солдатовой комнатку, светлую и чистую. Потолок был оклеен газетами, стены — полосатыми обоями с широченным бордюром, на котором был изображен коралловый остров с пышными пальмами.

В тот год в пятистенном просторном доме Солдатихи зимовало настрое. Я, хозяйка и ее второй муж Богдан Аврамович Сократилин.

Мужем Солдатихи Сократилин стал не сразу. Сначала он был, так же как и я, постояльцем у Евлени Петровны. Поскольку Богдан Аврамович в городе был в некотором смысле личностью заметной, то мне приходилось слышать не раз, что примаком Сократилин стал не потому, что так сам захотел, а потому, что так захотелось хозяйке. Слухам этим я не верил, и до сих пор не хочется верить.

Богдан Аврамович и по внешности и по характеру с первого взгляда внушает если уж не трепет, то уважение наверняка. Роста он среднего, сложения крепкого, волосы седые, как иней. Глаза на редкость, как у вальдшнепа, маленькие, живые и посажены так глубоко, словно смотрят из бездны. Белый шрам от уха до подбородка и глубокие морщины придавали лицу Сократилина черты жестокосердия. Впрочем, никто таким уважением и любовью у городских ребятишек не пользовался, как Сократилин. Будучи директором кинотеатра, Богдан Аврамович позволял себе такую вольность: забивал пустые места в зрительном зале безбилетниками до шестнадцати лет.

Была ли у Евлени Петровны с Богданом Аврамовичем любовь — трудно сказать. Но жили они спокойно и уверенно. Я ни разу не слышал, чтобы Сократилин повысил голос. Достаточно ему было кинуть на жену свой бездонный взгляд и сказать протяжно: «Ну-у!» — и Евлени Петровна умолкала и опускала глаза. Все это как-то не вязалось с тем, что Солдатиха сама на себе женила Сократилина. Когда я об этом осторожно спросил Евлению Петровну, она надменно вскинула голову:

— Сама! Еще когда он военным был и в военкомате служил.

Потом подошла к зеркалу, посмотрела на свое рыхлое, как саратовский калач, лицо, погладила свои могучие формы и вздохнула:

— Вот ведь как разнесло. А раньше-то я была тонюсенькая и складная, как стрелочка!..

Они уже прожили девять лет, когда я поселился в комнатке с полосатыми обоями. Мое появление не нарушило заведенного здесь порядка. Да и как оно могло нарушить? Постоялец я для них был удобный и за постой платил аккуратно. Хозяйке я, видимо, нравился, иначе бы Евлени Петровна не пригласила меня столоваться вместе. Приглашение хозяйки меня очень обрадовало, но я не был уверен, что так же обрадуется и Богдан Аврамович. Когда я появился у них за столом,

Сократилин посмотрел на меня очень холодно и едва кивнул головой.

Все попытки сблизиться с Богданом Аврамовичем ни к чему не привели. Он меня невзлюбил. Но почему? За что? Мне было и обидно и неприятно, и пребывание в их доме стало в тягость. Я решил подыскать себе другую квартиру. Узнав об этом, Евления Петровна возмутилась и стала горячо уверять, что ее Богдан только с виду такой грозный и молчун, а в сущности — мужик «что надо».

— Я за ним как за каменной стеной, — хвасталась Евления Петровна. — Мой Богдан не какой-нибудь там хухры-мухры, а заслуженный человек!

Она вынула из ящика комода деревянную шкатулку и высыпала на стол кучу медалей. Я насчитал одиннадцать: «За Победу», «За взятие Берлина», девять — «За отвагу» и орден Красного Знамени. Девять медалей «За отвагу» — вот что меня поразило! Половина из них имела вид поношенный, и одна до того стерлась, что с трудом можно было рассмотреть чеканку, у других трех ленточки засалились, и не поймешь, какого они были цвета, остальные пять сияли так, как будто они только что из-под молотка. Орден покоился в атласной коробочке и, видимо, ни разу из нее не вынимался. Меня очень все это заинтересовало. Вероятно, первые четыре медали были получены в начале войны. А получить их тогда было не так-то просто, не так, как в конце!

— Не носит он своих регалий. Узнает, что тебе показывала, рассердится, — сказала Евления Петровна.

— Почему?

— Кто его знает. Не носит и не любит говорить о них.

«Вот, может, где материал для моей книги зарыт», — подумал я и решил остаться и выведать у Сократилина о его медалях.

Ежедневно с пяти до десяти часов вечера Богдан Аврамович заседал в директорском кабинете кинотеатра «Сатурн». Дома он никакими делами не занимался. Все: и свинья, и коза, и куры, и даже рыжая сука Шельма — в общем, все хозяйство лежало на плечах Евлении Петровны. Если Сократилина вдруг начинала мучить совесть и он пытался как-то помочь супруге, хотя бы дров наколоть, Евления Петровна решительно отбирала у него топор.

— Сама управлюсь, — говорила она, — иди занимайся своим мужским делом,

Основным и главным занятием в свободное от службы время у Сократилина было чтение. Читал он много и все, что попадет под руку. Однако любимыми были книги о войне и особенно военно-историческая и мемуарная литература.

Мой редактор тоже любил книги, но в отличие от Сократилина не читал их, а только собирал. Как-то, просматривая его библиотеку, я наткнулся на «Историю второй мировой войны» Типпельскирха. Книгу эту я выпросил у редактора для Богдана Аврамовича. В том, что она заинтересует Сократилина, я не сомневался. Но как предложить ее Богдану Аврамовичу, я не знал. К этому времени отношение его ко мне ничуть не смягчилось.

Утром, уходя на работу, я словно бы случайно положил книгу в кухне на подоконник. Возвращаясь во втором часу ночи, я заметил, что в нашем доме на кухне все еще горит свет. Когда открыл дверь и переступил через порог, Богдан Аврамович — он читал Типпельскирха — оторвал от книги глаза и, взглянув на меня, смущенно пробормотал:

— Я тут вашу книгу полистал.— Он захлопнул ее и положил на подоконник.

— Так и читайте сколько вам угодно,— сказал я и прошел в свою комнату.

Типпельскирха Сократилин проглотил буквально за двое суток и, возвращая мне, сказал:

— А этот генерал-то Типпельскирх в Демянском котле сидел. Да...— Он пощелкал пальцами, подбирая нужное слово, и, не найдя такового, очень хорошо улыбнулся.— Хватил он там шилом патоки...

Я стал регулярно снабжать Сократилина литературой. Книги для него я иногда выписывал через городскую библиотеку из Москвы и Ленинграда. Наши отношения теплели с каждым днем, и наконец, как говорят, лед окончательно растаял. Богдан Аврамович случайно прочитал в газете один мой фельетон о мытарствах старушки колхозницы, которая в течение десяти лет хлопотала пенсию за сына, пропавшего без вести на войне.

Богдан Аврамович до боли сжал мне руку и сказал:

— Очень хорошо вы написали. Правильно написали. Хотя вас, журналистов, я терпеть не могу, а за старушку спасибо.

— Чем же перед вами так провинились журналисты? — спросил я.

— Было дело...— уклончиво ответил Богдан Аврамович.

...Рассказал мне об этой истории начальник военкомата:

— Прикатил как-то к нам корреспондент областной газеты — написать очерк об интересном человеке. Этакий хлюст, все знающий, все умеющий. Долго искал он в городе интересного человека. Может быть, и совсем бы не нашел, да меня черт дернул рассказать про Сократилина. Переспросил кое-что, почеркал в своем блокноте. Послал я его к Сократилину — он рассказчик хороший, когда захочет... Потом появилась статья. Не приведи господь услышать такое о своих подвигах! Все-все переврал, даже фамилию с отчеством. Из-за него, из-за этой статьи, мы и рассорились. А когда Сократилин у меня в военкомате работал, друзьями были. Я написал опровержение в газету. Извинились, на корреспондента обещали наложить взыскание. Не знаю, что с ним сделали. Таких бы шелкоперов я на пушечный выстрел не подпускал к печати!..

Отношения мои с Богданом Аврамовичем стали такими хорошими, что пора было заводить разговор о медалях. И я ждал подходящего случая.

Евления Петровна очень любила праздники: и революционные и религиозные. Справлялись они торжественно, солидно и сытно.

День Советской Армии также отмечали торжественно, солидно и сытно. Когда гости, нагрузившись всевозможными соленьями, вареньями, наливками, разошлись по домам, а Евления Петровна со словами: «О господи, кажись, объелась» — свалилась на диван, подсунув под голову подушку, за столом остались я и Сократилин.

Богдан Аврамович наполнил рюмки. Мы опрокинули. За окном угасал февральский день. Из-за скалистой горы облаков выглядывало солнце. И гора блестела, как стеклянная.

— Красиво,— сказал я, показывая на солнце.

Богдан Аврамович посмотрел и вздохнул:

— Нечувствительный я к природе. Читаю книжку: природа — я ее пропускаю. А вот философию люблю. Попадется философия — десять раз одно место прочту, а до самого корня доберусь. Военную литературу очень обожаю. Да и вообще люблю военное дело, службу.

Он надолго замолчал, а потом посмотрел на меня, как будто увидел впервые, и заговорил.

Богдан Сократилин о преимуществах армейской жизни

— Есть люди, которые всячески поносят армейскую службу за то, что она якобы тяжелая, грубая, оскорбляющая человеческое достоинство. Должен вам заметить, что это бред сивой кобылы, жалкие слова маменькиных сынков и разгильдяев. Военская служба — дело легкое и даже приятное. Надо только выполнять устав и беспрекословно слушаться командиров. Тогда все пойдет как по маслу, и не заметишь, как служба пролетит, а потом и уходить не захочется.

В тридцать пятом меня призвали в армию и зачислили в пехоту. В районный центр на сборный пункт я прибыл во всем новом. В костюме, скроенном деревенским портным Тимохой Синицыным из новины цвета яичного желтка. На ногах были новые портянки и новые цибрики, сшитые из яловых голенищ старых сапог. День был летний, солнечный, и костюм мой сиял, будто позолоченный крест. На меня глазели, как на заморское чудо. Потом нас, новобранцев, пересчитали, построили по росту и повели на вокзал, погрузили в товарный вагон и повезли. Через день выгрузили, опять пересчитали, опять построили и опять повели по улицам какого-то города, и здесь тоже все глазели и дивились на мой костюм.

Привели на пристань, посадили на пароход и повезли по Волге далеко-далеко. В конце концов очутился я в военном городке, в казарме, на втором ярусе деревянных нар.

Вот так и началась моя служба. И как же она мне понравилась! Обут, одет, три раза в день накормят, в кино сводят, спать уложат и поднимут. Чего ж еще надо?! У приемного отца я вдоволь наедался только по праздникам.

Армия любит толковых, старательных. И я старался! Прикажет командир — вдребезги разобьюсь, но выполняю. Специально лез на глаза начальству, чтоб оно меня заметило и что-нибудь приказало. За это меня и хвалили и в пример другим ставили. Бывало, на вечерней поверке старшина Колупаев выстроит роту, скамандует: — Смирно! Красноармеец Сократилин, выйти из строя!

Я два шага вперед — и хрясь каблуками.

— Красноармейцу Сократилину за образцовое несение караульной службы объявляю благодарность! — рявкнет Колупаев.

А я еще громче:

— Служу советскому народу, то бишь Союзу!

Вот уж и забывать начал. За все годы службы ни разу не сидел на губе...

Здесь я получил образование и почувствовал себя человеком. До службы-то был совершенно темным. Я, двадцатилетний парень, искренне верил, что если баню поставить на колеса, то она поедет, как паровоз. А земля оттого сухая, что в ней мало червей. В школе-то я учился всего два месяца. Может быть, и год бы проучился, но... Глупейшая история вышла. Как-то на уроке загадал у учительницы загадку про зеленца. Учительница покраснела, зажала пальцами уши, закричала тонким, визгливым голосом: «Вон из школы, хулиган! И не смей без родителей возвращаться!» Не знаю, за что приняла учительница «зеленец» — обычный веник, только загадку я не считал охальной. Ее все, даже беспортошные ребятишки, знали в деревне. Родители, разумеется, в школу не пошли, наоборот, они обрадовались, что так неожиданно и без хлопот избавились от всеобща. Мать сказала: «Ну и ладно. Нечего ему туда и шляться. И так чуней не напасешься». Она была права. Нас в семье было пятеро огарков, и отец не успевал готовить чуни, хотя и плел их не разгибаясь.

Зиму я просидел на печке. Этой же зимой у пастуха Колчака сдохла собака. Весной я был взят Колчаком на ее место. Правда, на сходке определил меня мир к нему в подпаски за три меры ржи, две меры овса, полмеры гречихи, пять мешков картофеля.

Пастух Колчак был росту огромнейшего и осанки величественной: Морда вся в волосах, один только лоб блестит на ней, как плешь. Глядеть не наглядеться, когда он шел по деревне впереди стада в широченном армяке, которым можно было укрыть сразу и телегу и лошадь. Семиаршинный кнут висел у него на плече, как аксельбант, а на голове копной сидела лохматая папаха. Вылитый генерал! Единственно, что мне не нравилось у него: уж очень он плевался, словно рот у него был набит ржаной мякиной.

Говорил он так:

— Богдан, тьфу. Не выйдет из тебя дельного пастуха, тьфу!

— Почему же, дяденька Колчак?

— Потому что ты человек ума глупого, тьфу! За два года не научился кнутом хлопать, тьфу!

Что верно, то верно. С кнутом у меня не ладилось.

Колчак же играл им как хотел. Бывало, раскрутит над головой да как рванет — лес вздрогнет и листья посыплются. А я возьмусь крутить — или по уху себе, или по ногам.

А все-таки добрый был мужик Колчак, человечный и пастух отменный. Правда, спуску он мне не давал, но и жалел тоже. Мы привыкли друг к другу, как родные. Жили вместе в крошечном, как скворечник, домике, в котором, кроме печи, двух табуреток, стола и деревянных нар, ничего не было. Зимой Колчак тоже не сидел без дела. Он резал скот. Рука для этой работы у него была крепкая. За работу с ним расплачивались натурой. Мясом и самогоном. А выпить Колчак мог столько, сколько и поднять.

Как-то позвали Колчака зарезать двенадцатипудового борова. Борова закололи, осмолили. Хозяйка выставила на стол ведро самогонки, чугунок картошки со шкварками и сковороду жареной печенки. Когда самогонку выпили, картошку с печенкой съели, хозяйка попросила перенести тушу борова из сеней в кладовую. Кроме нас с Колчаком угощались еще двое мужиков. Колчак пошевелил тушу и плюнул:

— Один сволоку.

Он присел. Мы с трудом затащили ему на спину борова. Колчак резко поднялся, громко охнул и крепко выругался. Он сделал шаг, и его бросило вправо, потом влево. Так его швыряло из стороны в сторону. Но тушу он не бросил, донес и даже сам до дому дошел. Лег на нары, попросил воды. Я подал ему кружку, он выпил и сказал:

— Хорошо. Будто пожар внутрях потушил.

А потом приказал поставить ведро воды к изголовью. Он пил воду, пока не скончался.

Перед смертью вспомнил обо мне. Поманил пальцем, положил мне на голову руку: «Эх, Богдан, Богдан», вздохнул, плюнул и умер.

Жить в нашем скворечнике я больше не мог. Вернулся в семью и пас скот до последнего дня, как идти на службу. В колхозе жалели, что я ухожу. Но мне уж очень надоела эта работа. С тех пор и природу не люблю. До того она мне тогда обрыдла.

Таких неучей, как я, набралось немало. Школу специально для нас организовали. Учился жадно. В двадцать один год садиться за букварь поздновато. Чтоб наверстать упущенное, я лез из кожи.

Выходной день. Рота разбредется кто куда. В казарме тихо. Сажу в красном уголке, задачки решаю. Подойдет старшина Колупаев, спросит:

— Все учишься, Сократилин? Молодец! Хорошенько учишься! Чтоб потом не бегать и не стучать прямой кишкой.

Хоть я и не очень-то понимал эту афоризму, но догадывался, что стучать прямой кишкой — последнее дело. За год я узнал столько, сколько лет другой и за шесть лет не узнает.

На втором году службы меня определили в школу младших командиров. Потом направили продолжать службу в танковые войска. Выучили водить машину, стрелять из пушки, и в общем я стал технически грамотным человеком.

Совершенно неожиданно кончился срок моей службы. Демобилизоваться? Куда? Зачем? Решил подать на сверхсрочную. Меня оставили и назначили командиром танка Т-26.

Наш отдельный танковый батальон стоял тогда под Ленинградом. Нормальная военная жизнь мирного времени. Лето мы проводили в лагерях, в шестидесяти километрах от города. Хорошо помню тот день. Первая рота проводила на полигоне учебные стрельбы. Стрелял мой экипаж, и стрелял плохо. Пять снарядов — и ни одного попадания. Такого со мной еще не бывало. Командир роты капитан Окаемов обозвал меня «мазилью царя небесного», забрался в танк и тоже стал мазать. Ротный вылез из машины багровый от смущения и сказал: «Пушка барахлит». И чтоб у нас не возникло сомнения, что во всем виновата пушка, вынул часы и показал. На крышке было выгравировано: «Старшему лейтенанту Окаемову за отличную стрельбу. 1937 год». Окаемов взял часы за цепочку, поднял на уровень глаз, да так и замер.

Он смотрел не на часы, а на человека, бежавшего к нам по полигону.

— Кто же это? — спросил капитан. — Неужели цивильный? Как же он сюда попал? Охрана, что ль, там уснула?

Полигон огромный, километров на пять вытянулся. А человек все бежал и бежал, вдруг упал, вскочил, стал крутить над головой руку.

Это был сигнал: «Заводи».

— По машинам! — приказал ротный. — Сократилин, возьми флажки и дай сигнал: «Делай, как я».

Танк рванулся навстречу бежавшему. Водитель притормозил, тот вскочил на крыло машины. Это был вестовой. Он сообщил, что лагеря уже нет. Палатки свернуты, грузятся на машины. Вторая и третья роты час как ушли в город.

Водитель воткнул четвертую, и мы понеслись. За нами, соблюдая интервал, следовала рота. И только одна машина все еще стояла на месте. Окаемов не спускал с нее глаз и потихоньку ругался. Когда мы уже подъезжали к лесу, тронулась и она. Капитан сел на башню и вытер взмокший лоб.

От нашего лагеря остались одни песчаные дорожки, шест для флага, колышки от палаток и три деревянных сортира с распахнутыми дверьми. Дневальные сидели около сложенных в кучу солдатских пожитков. Тут был и помначштаба старший лейтенант Сиренский. Окаемов дал нам минуту на сбор вещей и подошел к Сиренскому. Тот посмотрел на часы и длинно протянул:

— Дэ-э-э!

Капитан поморщился и, не зная, на ком сорвать досаду, закричал:

— Копайся, копайся! Кончай копать! По машинам!

К вечеру мы прибыли в свой городок. А на следующий день с утра мыли машины, драили пушки, чистили оружие. Прошла неделя, мы не отходили от танков: регулировали, проверяли, меняли. Сменили мне и пушку, которая действительно оказалась неисправной. В общем, нас ни на минуту не оставляли без дела. К любому заданию мы относились серьезно, будь это регулировка бортовых фрикционов или просто надраивание гусениц до блеска. «Все важно, все нужно», — думали мы в ожидании больших событий. Увольнение в город было запрещено, командиры взводов ночевали в казармах, отлучка из части хотя бы на пять минут жестоко каралась. Спали мы в одежде, с противогазами под подушкой. Только заснешь — тревога. Вскакиваешь, хватаешь вещмешок, бросаешься в оружейку за карабином, а из оружейки — в танковый парк. Раз пять выезжали, но, проехав километра три, возвращались. Тревоги были ложные. Не успеешь добежать до машины, как дадут отбой. Из-за этих тревог один экипаж нашей роты чуть было не угодил под трибунал.

В три часа прокричали боевую тревогу, вторую за эту ночь. Экипаж с командиром одеяла в охапку — и под койки. Тревога, как они и рассчитывали, оказалась лож-

ной, и рота вернулась в казарму. Все прошло б, если бы не дежурный по роте. Уже под утро он заметил три пустые койки. Дневальный, облокотясь на тумбочку, дремал. Дежурный разбудил его и грозно спросил:

— Спишь?

Дневальный козырнул:

— Никак нет, задумался.

— А это что?! Почему не доложил?

Дневальный протер глаза, удивленно посмотрел на пустые койки, потом на дежурного.

— Были. Сам видел, как ложились.

— Так куда же они делись? Херувимы с серафимами их унесли?

Дневальный заглянул под койку и засмеялся:

— Здесь. Никуда не делись.

Прямо из-под койки командир машины с экипажем отправился на гауптвахту. Вместе с ними туда же отправился и дневальный. Наверняка б ребят судил трибунал, если б сознались. Но они заявили, что забрались под койки от жары. И на этом упорно стояли. Конечно, никто не поверил, но и опровергнуть эту чепуху не смогли. В нашей казарме почему-то всегда было душно и жарко. Ребята отделались тремя сутками ареста.

Настоящую боевую тревогу прокричали не в два часа ночи, и даже не в одиннадцать, а утром, после завтрака. Мы выстроились около машин и долго ждали. Окаемов лично, не торопясь, проверял готовность своей роты к маршу. И только часам к двенадцати дня выехали на дорогу и построились в походную колонну. Наконец танки загромыхали по булыжной мостовой. «Неужели опять покуролесим — и назад?» — думал каждый из нас. Проехали центральную улицу города, миновали чугунную арку, мост через железную дорогу. Теперь уже никто не сомневался, что покидаем наш деревянный городишко надолго, а может быть, и навсегда. Так оно и было. Теперь мы думали: «Куда? На восток или на запад?» Мой водитель Костя Швыгин уверял, что к япошкам. Заряжающий Вася Колюшкин — на Кавказ. И не только уверял, но и предлагал любое пари. Уж очень ему хотелось на Кавказ. Наш командир взвода лейтенант Лесников по этому вопросу хранил глубокое молчание.

За мостом свернули с шоссе влево, поехали вдоль железной дороги мимо складов, пакгаузов, увидели погрузочную площадку и длинный состав платформ вперемежку с товарными вагонами. Колонна остановилась.

Водитель высунул голову из люка и подмигнул мне:

— Ну что? Я говорил, что к япошкам. Точно, к ним.

— Это еще бабушка надвое сказала,— возразил ему заряжающий.

Они, наверное, вдрызг разругались бы, но помешала команда:

— Первый взвод — на погрузку!

Командирская машина поползла на платформу... Не прошло и часа, как эшелон был готов к отправке. Машины закреплены, укрыты брезентом. Личный состав роты разместился в двух товарных вагонах. Паровоз глухо заревел, мы замахали пилотками. Поехали! Куда? Да неважно, куда ехать солдату, лишь бы ехать. Новые места, новые впечатления. Но радость оказалась преждевременной. Паровоз протащил нас километра полтора, остановился, а потом стал пятиться задом и загнал эшелон в тупик. В тупике мы простояли до ночи.

Проснулся и долго не мог понять: «Где я?» Темень непроглядная, стук, храп, лязг. Пошарил руками по сторонам. Левой нащупал сапог, правой — чей-то рот.

— Эй, кто тут есть? — крикнул я.

— Ну я,— раздалось внизу подо мной.

— Кто «ну»?

— Дневальный.

— А где мы? Почему ты подо мной торчишь?

— Потому что ты в телятнике на второй полке бесплатного плацкарта,— пояснил дневальный.

— А-а-а. Значит, уже едем. Давно?

— Не очень.

— Куда?

— Почем я знаю.

— На запад или на восток?

Дневальный усмехнулся:

— А ты слезь да посмотри, где восток, а где твой запад. Только все равно ничего не увидишь. Темно, и дождь хлбыщет.

— Как мы проехали от станции? Вправо или влево?

— Это смотря с какой стороны дороги глядеть. Весь вечер нас таскали то вперед, то назад. Вот теперь и разберись, где право, а где лево. Тут сам командир роты не разберется.— Дневальному, видимо, было скучно, и он был рад случаю поговорить.

— Ну ладно. Заткнись,— сказал я, сполз с нар, споткнулся о чьи-то ноги и завалился на какую-то грудку железа.

— Тихо ты, черт! Печку сломаешь, — сказал дневальный.

Это меня взбесило.

— Ты почему так со мной разговариваешь?

— Я дневальный и обязан за порядком смотреть. Приказал дневальному открыть дверь.

— Смотри не вывались, — предупредил он.

Я высунул из вагона голову. Дождь моросил по осеннему. Мимо проплыл низкорослый лесок, а потом потянулись поля.

Утром Вася Колюшкин объявил, что едем воевать с турками. Решил он так, видимо, потому, что поезд шел прямо на юг. Вопрос о том, куда и зачем едем, обсуждался всем вагоном. Большинство поддерживало Васю Колюшкина. О западной границе никто и не подумал. Совсем недавно с Германией был заключен договор о ненападении. Начальство строго хранило тайну и на все наши вопросы отвечало: «Скоро всё узнаете». И только один Костя Швыгин молчал. Он служил последний год и с нетерпением ждал демобилизации.

В Невеле эшелон повернул на запад. Мы посмотрели друг на друга, пожали плечами, кто-то протяжно свистнул, а Вася вздохнул и грустно сказал:

— Это еще ничего не значит. Нарочно так едем, чтоб шпионов сбить с панталыку. Потом опять повернем на Кавказ.

В глухую полночь прибыли в Полоцк, разгрузились и своим ходом двинулись в непроглядную темень по грязной ухабистой дороге. На рассвете остановились в лесу около озера с топкими берегами и сразу же принялись рыть капониры. Потом танки загнали в капониры и тщательно замаскировали. Приказ о маскировке был суровый: нам не разрешали выходить из леса. Впрочем, и ходить было некуда. За два дня мы отлично выпались. На третий день сразу после завтрака раздалась команда: «На митинг!» Мы собрались на полянке около штаба. Командир батальона зачитал приказ командующего Белорусским фронтом о переходе нашими войсками польской границы. Потом выступил комиссар батальона. Он говорил о том, что польское правительство бежало, бросив на произвол судьбы свой народ, что в стране царит произвол военных властей, помещиков, жандармов, которые, спасаясь от немецких войск, бегут к восточной границе и грабят мирное население Западной Белоруссии; что наш поход в Польшу является освободительным походом в защиту родственного нам

народа, который обратился к Советскому Союзу за помощью. Мы, солдаты, приказ поняли по-своему и проще идем навстречу немцам, чтоб приостановить их движение к нашей границе и заодно защитить западных белорусов от гитлеровских войск.

Приказ нас и огорошил и обрадовал. Мы, танкисты, давно ждали серьезных дел. Любой боец в душе считал себя героем, жаждал подвигов, славы. С митинга мы уходили довольные, веселые. Заряжающий Вася Колюшкин радовался, как мальчишка:

— Эх и повоюем! Или грудь в крестах, или голова в кустах!

Водитель Швыгин не разделял общего воодушевления.

— Накрылась моя демобилизация,— мрачно заявил он.

В полдень привезли горючее с боепитанием. Полностью залили бензином баки, загрузили танки снарядами, пулеметными дисками. Еще раз все проверили, подрегулировали, подтянули, почистили. Окаемов собрал командиров машин и сообщил, что наш батальон в составе 22-й танковой бригады будет наступать в направлении Вильно. Поскольку карт командирам машин не полагалось, мы записали населенные пункты на пути нашего движения. До наступления полной темноты выехали на исходные позиции и остановились в километре от границы. Стали ждать, и ждали до пяти часов утра. От напряжения у меня разломило голову. Механик-водитель уснул, так и спал, не снимая рук с рычагов. Вася Колюшкин тоже уснул, как котенок свернувшись на днище танка, подложив под голову пулеметный диск. Сигнала к атаке — зеленой ракеты — мы так и не увидели. Раздалась команда: «Заводи!»

Повзводно, колонной, соблюдая между машинами уставную дистанцию, без единого выстрела семнадцатого сентября наша рота пересекла государственную границу — широкую просеку в скверном ольховом лесу. Было сырое, серое утро. Висел густой, вязкий туман, и наши танки увязли в тумане, как в тесте. Около часа двигались на ощупь. Ничего не видно, не слышно, только рев моторов, лязг гусениц и шлепанье траков по мягкой земле. Наконец выглянуло огромное кровавое солнце. Туман заклубился, как пар, и стал расползаться, а когда солнце поднялось и накалилось до желтизны, тумана не стало.

Танки шли по заросшей густой отавой низине. Здесь паслись стреноженные кони. За ними приглядывал старик пастух.

Потом поднялись на гребень бугра и увидели большое зеленое село. Оно утонуло в садах. Сквозь листву проглядывали темные драночные крыши, среди них были и светло-серые, вероятно крытые оцинкованным железом. Кое-где дымили трубы. Колонна на минуту остановилась, а потом вошла в село.

Оно как будто спало непробудным сном, хотя для сельского жителя время было уже позднее. Правда, в одном окне мелькнул платок. Еще я заметил старуху. Она выглядывала из чуть приоткрытой двери. Даже собаки куда-то попрятались. Один только рыжий теленок в белых чулках не испугался. Широко расставив передние ноги и согнув голову, он смотрел на танки и облизывался. Все это очень походило не на войну, а на обычные маневры.

Двинулись дальше. За селом настигли польскую батарею на конной тяге. Артиллеристы разбежались. Мы обрубили построики, разогнали лошадей, перевернули вверх колесами пушки и продолжали наступление.

Крестьяне убирали поля. Увидев наши танки, они прекращали работу и, проводив нас долгим взглядом, опять принимались за свое дело.

В местечке Поставы встретили стрелковый батальон при оружии и с командиром. Батальон давно ждал нас, чтоб сдать в плен. Окаемов направил батальон при оружии с офицерами к нашей границе. И они, подняв белый флаг, пошли. А что им еще оставалось делать? В Поставах мы остановились на ночлег. Задача первого дня была выполнена. Мы продвинулись в глубь Польши почти на сто километров.

Второй день наступления походил на первый. Пошли Свенцяны. К вечеру должны были быть в Михалешках. Но за Свенцями начался лес и сквернейшая дорога. Грязь, ухаб на ухабе. Моторы надрывались и глохли. Рота растянулась немыслимо. Голова ее уже выходила из леса, а хвост еще и половины не прошел. Одна машина поплавила подшипники. Ее только через месяц приволокли из этого леса в часть на буксире.

На другой день с рассветом пошли на Вильно. В километрах пятнадцати от Вильно, около хутора, у меня заклинило коробку скоростей.

— На этом и закончился мой первый боевой поход.— Сократилин грустно усмехнулся.— На роду-то мне, видимо, было завещано генералом, а может, и самим маршалом быть. А жизнь судила иначе. Четверть века отдал армии, а выше старшины не дослужился.— Богдан Аврамович посмотрел на меня, горестно покачал головой и чмокнул губами.— Вот так-то, брат!..

Потом он разлил водку. Выпили, помолчали. Когда молчание стало неудобным, а разговор как-то сам по себе не вязался, я напомнил Сократилину о медалях.

Богдан Аврамович прищурился:

— Откуда ты знаешь про мои медали? Евленька разболтала? Вот баба — дырявое существо!

Я долго его уговаривал и упрашивал. По глазам видел, что Сократилину и самому очень хочется рассказать и упрямитесь невесть почему. В конце концов он согласился. Богдан Аврамович принес шкатулку и выложил на стол в один ряд медали. Долго смотрел на них, потом скомандовал:

— По порядку рассчитайсь!.. Первая...— Он взял правофланговую, ту самую, которая стерлась до неузнаваемости.— Это я получил еще в тридцать девятом.

Сократилин сжал в кулаке медаль и задумался, потом отложил ее в сторону.

— О ней потом, когда-нибудь,— пояснил он мне и взял вторую медаль, у которой ленточка засалилась так, что не поймешь, какого она была цвета...

Рассказ первый, записанный со слов Богдана Аврамовича

Батальон, в котором служил Богдан Сократилин, опять стал отдельным. Ходили слухи, что это ненадолго, так как создавались крупные танковые соединения. Но пока он был отдельным и подчинялся только штабу армии.

Батальон стоял на берегу реки Дубиссы в симпатичном литовском городишке. Личный состав располагался в кирпичных казармах на территории военного городка, который раньше занимал литовский артполк.

Капитан Окаемов стал начальником штаба батальона. Его место занял Лесников, теперь он был уже старший лейтенант. Сократилина тоже повысили. Ему прицепили четвертый треугольник и назначили старшиной роты.

Две роты вместе со штабом батальона находились в лагерях. Третья — старшего лейтенанта Лесникова — в связи с ремонтом танков была оставлена в городе. Танки ремонтировались так же медленно, как медленно текла жизнь в этом сытом и сонном литовском городишке. И солдаты мало-помалу принаравливались к такой жизни.

Поскольку танкисты с утра до вечера возились около машин, Богдану делать было совершенно нечего. Целыми днями он лежал в каптерке на койке, читал книжки или спал. А вечером отправлялся в город — в кино, в ресторанчик выпить кружку пива, послушать музыку.

В ту последнюю мирную субботу Сократилин появился в ресторане в самое время, когда всю пьют, пляшут и дым коромыслом. Но на этот раз в ресторане было тихо и пусто. За двумя столиками сидело по парочке. За третьим спал какой-то пьяный шпак в сдвинутой на затылок шляпе и с потухшей папиросой во рту. Оркестр исполнял что-то уж очень грустное.

В дальнем углу ресторана Сократилин увидел своих: командиров взводов Бархатова и Витоха. Сократилин подошел к ним и попросил разрешения составить им компанию.

— Конечно, составляй,— сказал Витоха и махнул рукой.

Подошла официантка, поставила три кружки пива и села за соседний столик. Витоха взял кружку, хлебнул и поморщился:

— Пиво скверное. Может, водки?

— Да ну... Пей да пошли,— Бархатов покосился на официантку,— видишь — ждет не дождется.

Опорожнили кружки. Помолчали. Витоха стал закуривать.

— Неспроста и Гитлер-дьявол столько войска сюда нагнал. Газеты пишут — маневры. Неужели он другого места не мог выбрать для этих маневров? А что, если?..

— Не может. Не посмеет. Договор,— уверенно заявил Бархатов.

— Конечно,— согласился с ним Витоха.— Только вот танки мы распотрошили, а когда соберем — одному богу известно.

Бархатов глубоко затянулся и выпустил густую струю дыма в лицо Витохи.

— Ничего. Найдутся другие. Видел, каких нам красавцев прислали?

Неделю назад батальон получил десять тридцатьчет-

верок и три КВ. Их загнали в гараж, закрыли на замок и выставили часового.

Оркестр заиграл бойкий литовский танец. Гулко и неуютно звучал он в пустом, с высоченными потолками ресторане. Две пары поднялись и стали танцевать. Дирижер повернулся к оркестру, поднял вверх смычок, и танец оборвался.

Сунув под мышку скрипку, он ушел за эстраду. За ним поволокли свой инструмент музыканты.

Подошла официантка и объявила, что ресторан закрывается.

— Почему так рано? — спросил Бархатов.

Официантка передернула плечами и, не сказав ни слова, повернулась к ним спиной.

— Ну что ж, пошли, что ли? — спросил Витоха Сократилина.

— Пожалуй, — согласился с ним Сократилин.

Они вышли на улицу. Ночи совсем не чувствовалось, хотя шел уже двенадцатый час. Ни светло, ни темно, а что-то среднее между обычным хмурым днем и вечерними сумерками. Но город уже спал или притворялся, что спит. Улицы пустынные, лишь кое-где в домах мелькали огоньки. Сократилину стало малость жутковато. Вероятно, то же самое ощущали и Бархатов с Витохой. Но признаться в этом друг другу они стеснялись.

— А ведь завтра воскресенье, — прервал молчание Витоха.

Сократилин с лейтенантом Бархатовым громко подтвердили, что действительно завтра будет выходной.

— Странная какая-то нынче луна.

Сократилин взглянул на луну. Она была бледная, неровная и чем-то напоминала человеческий череп. Витоха с Бархатовым пожали Сократилину руку, пожелали ему доброй ночи и ушли к себе на квартиру. Богдану надо было в казарму. Когда затихли шаги лейтенантов, Сократилину стало до ужаса страшно. Он пошел быстрее, а потом побежал. Отряхнуться от этого непонятного страха ему удалось лишь тогда, когда он увидел трехэтажное здание казармы, высокий дощатый забор и проходную.

Рота Сократилина занимала второй этаж. В одном конце длинного коридора находилась оружейка, в другом — каптерка старшины. Дневальный сидел на подоконнике и курил. Увидев Сократилина, он вскочил, спрятал папиросу в рукав и отрапортовал, что рота отошла ко сну и никаких происшествий за его дневальство не

произошло. Сделав дневальному выговор за курение на посту, Сократилин прошел в каптерку, разделся и, взяв книгу, повалился на койку. Прочитал пару страниц и ничего не понял. Из головы не выходили пустой ресторан и пугающая тишина улиц. Обычно Сократилин спал крепко, по-солдатски. Лег — и как колом по затылку. А тут стоит перед глазами луна с оскалом черепа и лезут всякие мысли, одна другой глупее.

Потом Богдан увидел сон.

Болото — кочковатое, с низким полузасохшим березняком. Огромная черная с белыми пятнами корова лезет в болото, а Сократилин ее не пускает. Стоит перед ее слюнявой мордой и палкой машет. А корова, нагнув голову и выставив рог, лезет. Богдан хочет бежать от нее и не может. Ноги завязли в болоте, он пытается их вытащить, но болото все глубже и глубже его засасывает. И вот он уже по шею в грязи, чувствует, что захлебывается. И вдруг кто-то как дернет за ворот — и Сократилин на кочке. А перед ним волосатый Колчак. Смотрит зверем и говорит: «Хочешь, Богдашка, я тебе Москву покажу?» Хватает за уши, поднимает вверх, и вместо Москвы Богдан видит черную тучу. Туча стремительно накатывается. От страшного грохота он полетел в пропасть.

Очнулся Сократилин на полу. Над головой визжало, визг нарастал, от него заломило уши. На мгновение визг стих, а потом каптерка закачалась из стороны в сторону, с полок полетели солдатские сундучки, брызнули стекла; дверь, вырвав крюк, с грохотом распахнулась. Сократилин задохнулся от пыли. От нее все в каптерке посерело, даже солнце, которое светило прямо в окна. Опять завизжало и засвистело. Сократилин заполз под койку, наткнулся на сапоги, обхватил их и замер. Взрывной волной койку приподняло, а Сократилина потащило, и он уперся ногами в стену. Богдан вскочил и, не выпуская из рук сапог, побежал, но, вспомнив про брюки с гимнастеркой, вернулся. Они валялись на полу.

Когда Сократилин выскочил на улицу, то увидел, что прямо на него пикирует желтоносый бомбардировщик. Он упал, закрыв голову сапогами. Черной тенью скользнула бомба. Сократилина подбросило и опять швырнуло на землю. Он судорожно вцепился ногтями в плотный шершавый песок. Кругом визжало, выло, грохотало, рушилось. Внезапно все стихло. Только где-то потрескивало. Сократилин поднял голову и увидел над гаражом,

где стояли танки, смолистый дым. Он натянул брюки с рубахой, сунул ноги в сапоги и бросился к гаражу.

Командир роты с часовым сбивали с дверей замки. Сократилин поднял тяжелый камень, подбежал к третьей двери и одним ударом вышиб замок вместе с пробоем. Только три КВ и успели вывести. Гараж пылал со всех сторон, и вскоре рухнула крыша. Показались темные башни и пушки тридцатьчетверок. Вдруг из одной пушки с гулом выкатился багровый клубок огня. А потом по очереди принялись стрелять огнем и другие танки.

— Что это? — спросил Сократилин ротного.

— Смазка горит, — ответил Лесников и, неизвестно к кому обращаясь, добавил: — Какое головоутипство! Держать технику в деревянных сараях да еще под замком.

Танкисты скупились около командира и угрюмо глядели на погибавшую технику. А на западе, там, за рекой Дубиссой, гудело и громыхало.

— Война, товарищ старший лейтенант? — спросил кто-то.

— Война! — резко ответил Лесников и посмотрел на свое войско. Почти все были распоясаны и без пилоток, некоторые босиком, без гимнастерок.

Ротный поморщился:

— Раненые, убитые есть?

Оказались и убитые и раненые. Командира машины из первого взвода разнесло в клочья, из второго взвода тяжело ранило водителя, контузило заряжающего из экипажа Васи Колюшкина. В штабе у телефона завалило дневального.

— На заправку и приведение себя в порядок ровно пять минут. — Лесников посмотрел на часы. — Ровно через пять минут всем быть здесь.

Сократилину Лесников приказал проверить и доложить о наличии людского состава роты. Сократилин побежал исполнять приказание.

В казарме не было ни одного стекла. От дома, где находился штаб с клубом, осталось три стены, а четвертая вместе с тремя этажами рухнула. На белой с желтыми панелями стене уцелели часы, они продолжали отсчитывать время. И было всего лишь шесть часов утра. Площадь перед казармами была исколота воронками. Клумба с красными цветами превратилась в серую. У дуба обрубил нижние сучья, а около ствола лежало что-то серое, бесформенное, и от него пахло гарью. Сократилин затушил тлевшую на нем гимнастерку. Труп

признать так и не смог. Вместо лица — грязный комок мяса.

К чему ни притронешься — пыль! Трава серая, деревья серые, и даже небо с солнцем казались серыми.

Минут через десять весь личный состав стоял с оружием на плацу. Не хватало восьми человек. Командиры взводов Бархатов и Витоха не прибыли в часть. Лесников срочно погнал за ними посыльного. Телефонная связь со штабом батальона и другими частями была прервана. Командир роты на правах старшего по гарнизону принял на свой риск решение: с тремя КВ и пятью исправными Т-26 двинуться к границе. Экипажи, у которых машины были разобраны, он назначил на КВ и отдал приказ немедленно заправиться горючим и снарядами. Сократилину Лесников приказал оставаться в части и охранять имущество. Но через пять минут этот приказ сам же и отменил. Прибежал посыльный и сообщил, что Бархатов с Витохой пропали.

— Как пропали?! — набросился на него ротный.

— Сказали, что, как только полетели самолеты, они побежали в расположение части, — ответил посыльный и как бы между прочим добавил: — Когда я бежал, по мне два раза стреляли.

Лесников даже почернел от этого сообщения и тут же приказал Сократилину немедленно принять взвод Т-26. Младшего политрука роты на машине вместе с контужеными и ранеными отправил в штаб батальона.

Сократилину достался взвод, в котором находился его бывший экипаж. Машиной теперь командовал Вася Колюшкин. А Швыгин как был водителем, так и остался. Своей командирской машиной Богдан выбрал танк Васи Колюшкина.

Не прошло и часа, как рота в составе трех тяжелых КВ и пяти легких Т-26 была готова к маршу. Выехали за ворота городка. Сократилин оглянулся. Оставшиеся танкисты махали им руками, со стены стрелки часов показывали без пяти семь.

Были моторы, гроыхали гусеницы. Танки шли на повышенной скорости. Пересекли мост через Дубиссу и устремились на запад. За мостом тянулись поля — ровные, чистые, цветущие.

Самолеты налетели внезапно. Их было не больше десятка — одномоторные «юнкерсы» и «мессершмитты». Дело свое летчики знали прекрасно и так же прекрасно выполняли, и выполнять эту работу им никто не мешал. Трижды пикировал на машину Сократилина «юнкерс» и

трижды промахивался. Бомбы рвались почти под гусеницами. В четвертый раз он чуть не врезался в танк. И будь у него бомба, от машины осталась бы одна пыль. Но они кончились. Богдан думал, что «юнкерсу» не выбраться из пике. Но тот оглушительно взвыл, и Сократилин увидел серебристое, как у судака, пузо бомбардировщика. «Юнкерс» отстал, а на смену ему появился «мессер». Чего он только не выделывал! «Мессершмитт», как оса, кружился над танком и так низко спускался, что был виден летчик в шлеме и очках. Резко хлопал пулемет; как пневматическое зубило, рубил броню танка. Вася Колюшкин бледный, с холодными каплями пота на лбу, скорчившись, сидел над пушкой и зажимал пальцами уши.

— Спокойно, Вася, держись, Вася! — машинально говорил Сократилин и сам не понимал, что говорит, да и не слышал собственного голоса. В эти минуты Сократилин все позабыл. Позабыл, что он командир взвода, что у него четыре машины и он должен ими управлять. Он был оглушен, парализован. И когда налет кончился, экипаж еще минуты две ошалело смотрел друг на друга, не в силах выдать слова. Молчание нарушил Вася.

— Кажется, улетели, — сказал он, открыл люк и вылез на башню.

От роты осталось всего четыре машины. Два легких Т-26 и два КВ. Третий КВ горел. Точнее, он не горел, а смрадно чадил. Из верхнего люка, как из самовара, лениво выползал жидкий сизоватый дымок. Зато метрах в пятидесяти полыхал Т-26, другой танк превратился в кучу железного хлама. Третьей машины из своего взвода Сократилин долго не мог отыскать. И только по двигателю, который валялся с распоротыми цилиндрами, он догадался, что ее разнесло в клочья.

Вася, зажимая на руке пальцы, считал:

— Трое сгорело, троих раздавило, троих — на куски. Интересно, в КВ кто-нибудь уцелел? — Колюшкин посмотрел на Сократилина и, не получив от него ответа, поскреб затылок. — Еще такой налет — и от нас ничего не останется. Ничего — ни нас, ни машин.

Костя Швыгин покосился на Колюшкина и плюнул:

— Дурак, что остался на сверхсрочную.

Швыгин остался в армии после того, как его Катя прислала письмо с одной строчкой: «Больше не пиши. Вышла за другого».

Лесников помахал флажками. И четыре танка выползли на дорогу. Командир роты объявил, что дальше

двигаться нет смысла, и повторил слова Васи Колюшкина:

— Еще такой налет — и от нас ничего не останется.

Лесников решил вернуться в город и занять оборону на восточном берегу Дубиссы.

— Слышите?! — Он протянул руку на запад. Там продолжало гроыхать.

Вернулись назад и стали занимать оборону по правому берегу реки. Суть обороны заключалась в том, чтоб прикрыть мост и дорогу к нему.

— Мост будем защищать до последнего. В крайнем случае взорвем, — сказал ротный.

— А не лучше ли сразу взорвать? — предложил Сократилин.

Лесников решительно отверг это предложение, заявив, что он с минуты на минуту ждет подхода наших частей.

— В конце концов должны же они подойти! — воскликнул ротный.

— Шамать хочется, — сказал Швыгин. — Без завтрака воюем.

Ротный отвел Сократилина в сторону:

— Останешься за меня. Окопы для танков отрыть на всю глубину по пушку, понял? Я еду в часть. Через полчаса вернусь.

Лесников вскочил на КВ, крикнул: «Заводи!» — и уехал.

— Шиш он вернется. Оставил здесь нас, дураков... — И Швыгин грубо выругался.

Колюшкин усмехнулся:

— Ты, Костя, все на свой аршин меришь.

Прошел час, а Лесников не возвращался. До казарм не больше километра. За это время дважды над ними пролетали «хейнкели». Они шли высоко и медленно, темные, пузатые, короткохвостые, и рыканье их моторов было добродушное, сытое. Вырыли капониры, загнали туда танки, замаскировали бредняком, которым густо поросли берега Дубиссы. А ротного все не было. Танкисты громко возмущались. Сократилин хоть и успокаивал их, но в душе проклинал ротного. Но вот наконец они услышали надрывный вой мотора и лязг гусениц. Шум и грохот был такой, словно шла танковая дивизия. Но это полз один КВ, волоча на буксире танк с десантом.

— Кажется, наш старшой притащил сюда весь гарнизон, — сказал Вася Колюшкин.

Лесников ухмыльнулся:

— Точно. Даже учебные пулеметы прихватил.

Кроме оружия с патронами ротный привез два мешка сухарей, полмешка сахару и около пуда шпика. Сократилин принялся делить продукты, а Лесников — укреплять оборону. Неисправный танк он приказал немедленно закопать в землю и использовать как огневую точку. А впереди танков дал указание стрыть пулеметные гнезда. Действовал и распорядился Лесников толково и энергично. К двенадцати часам дня по обеим сторонам дороги была довольно-таки прочная оборона: пять пушек и восемь пулеметов. Даже Костя Швыгин расхрабрился:

— Эх и врежем же мы им, если сунутся!

Но мало кто из них рассчитывал здесь драться. Все, даже старший лейтенант Лесников, были уверены, что там, на границе, их не пропустят, кроме того, они надеялись на подход войск и ждали их с минуты на минуту.

Впрочем, что бы и как бы они ни думали, однако к встрече врага были готовы.

Немцы появились во второй половине дня. Сократилин взглянул на свой ручной «будильник» с железной решеткой — стрелки показывали ровно два. Вначале низко прошлась тройка «мессершмиттов», покружила над городом и скрылась. Потом на дороге показалась черная точка, за ней вторая, третья... Точки стремительно катились, на глазах росли. По дороге двигалась колонна мотоциклов.

— А может, это наши? — сказал Вася Колюшкин.

Но когда головной мотоцикл, не доезжая до моста, выпустил автоматную очередь, никто уже больше не сомневался: пришли немцы. Вася всем телом навалился на плечевой упор пулемета, не спуская головной мотоцикл с прицела. Он ждал сигнала. Сигнал должен был подать командир роты пулеметной очередью из КВ. А мотоцикл, проскочив мост, несся прямо на оборону. За ним катилось еще три.

Резко и гулко замолотил КВ, а за ним и все остальные пулеметы. Мотоцикл развернуло, а потом швырнуло в кювет вверх колесами. Второй на полном ходу споткнулся, повалился на бок и стал описывать на дороге круги. Автоматчик выбрался из коляски, ошалело заметался, перескочил канаву и побежал прямо на машину Сократилина.

— Смотри, немец-то ополоумел! — закричал Вася. — Сейчас я ему врежу.

— Стой! Не надо,— остановил его Швыгин.— Я его руками возьму.— Он схватил карабин и выскочил из машины.

Третий мотоцикл горел. Четвертый — утонул. Водитель пытался на мосту развернуться, но на полном газу врезался в деревянные перила и вместе с мотоциклом свалился в Дубиссу. Остальные повернули назад. Вася пытался достать их из пушки. Три раза стрелял и промахнулся.

Пришел Лесников, поздравил с боевым крещением, а потом стал допрашивать пленного. Костя Швыгин взял немца легко. Он ждал, когда немец подбежит к капониру. А потом выскочил навстречу, легонько стукнул его прикладом по голове, и тот сел. Костя погрозил ему пальцем:

— Сиди и не рыпайся.

Это был рослый, упитанный, темноволосый, с надменным лицом унтер. Когда Лесников подошел к нему, унтер нехотя поднялся, одернул грязно-зеленый френч и, заложив руки за спину, широко расставил ноги. Лесников сурово сдвинул брови.

— Nehmen Sie Haltung an! ¹ — скомандовал ротный. Он отлично знал немецкий.

Немец усмехнулся, сдвинул ноги, опустил руки:

— Rang, Name? ²

— Feldwebel Gerhard Schöbert ³.

— Welche Einheit? ⁴

— Achte Panzerdivision unter General Brandenburg. Erstes Motorradbatallion, In einer halben Stunde sind unsere Panzer hier. — Он поднял руку, чтобы посмотреть на часы. Часов не было. Фельдфебель злобно покосился на Швыгина: — Der hat meine Uhr! ⁵

Лесников пристально посмотрел на Костю:

— Дай-ка часы-то!

Швыгин изобразил страшное удивление:

— Какие?

— Ручные, которые ты у него снял.

Костя возмущенно хлопнул себя по ляжкам:

— Надо же! И когда только успел пожаловаться.

Вот гнида фашистская!

¹ — Встать как положено!

² — Звание, фамилия?

³ — Фельдфебель Герхард Шеберт.

⁴ — Войсковая часть?

⁵ — Первый мотоциклетный батальон восьмой танковой дивизии генерала Бранденбурга. Через полчаса наши танки будут здесь... Мои часы у него.

Ротный взглянул на часы, покачал головой:

— Примитивная штамповка,— и бросил часы фельдфебелю. Тот поймал их и поклонился:

— Danke schön¹

— Macht nichts. Wozu brauchen Sie jetzt eine Uhr?²

Фельдфебель мгновенно скис и жалобно, как побитая собака, уставился на ротного.

— Ich werde erschossen?³

— Warum nicht?⁴

— Ich bitte Sie. Lasst mich am Leben. Wenn unsere kommen, leg ich ein Wort für Sie ein⁵.

— Что?! — Лесников побагровел и сжал кулаки.— Вы послушайте, что этот выродок мне предлагает.— Лесников повернулся к Сократилину.— Он обещает замолвить за меня словечко, когда нас возьмут в плен. Und für die dort?!⁶ — высоким голосом крикнул Лесников и показал на своих ребят.

— Nicht für allen?⁷, — буркнул фельдфебель и опустил голову.

— Какая наглость! Какая самоуверенность!.. Сержант Швыгин!

— Я, товарищ старший лейтенант! — рявкнул Костя.

Ротный небрежно махнул рукой:

— Отведи и шлепни.

— Слушаюсь,— радостно крикнул Костя и ткнул унтера прикладом: — Ком, ком, ядрена мать.

Ноги у фельдфебеля подогнулись, он встал на колени.

— Ах ты, гнида фашистская! — Костя выругался, схватил немца за воротник и потащил. Немец заревел, да так, что даже Швыгин опешил.

— Разрешите, товарищ лейтенант, я его здесь?..

Фельдфебель, обхватив Костин сапог, плакал. Это было так омерзительно, что Лесникова передернуло.

— Отставить, Швыгин.

— Что отставить? Почему отставить? Они уже сколько наших?..

— Отставить,— повторил ротный.

— А что с ним делать? Охранять?

¹ — Благодарю.

² — Не стоит. Да и зачем они теперь вам?

³ — Меня расстреляют?

⁴ — А почему бы и нет?

⁵ — Прошу вас сохранить мне жизнь. Когда наши придут, я замолвлю за вас словечко.

⁶ — А кто за них замолвит?

⁷ — За всех не обещаю.

Лесников не ответил. Фельдфебель, поняв, что над ним сжалились, стыдливо вытирал слезы.

— Ну и трус же,— сказал Вася Қолюшкин.

Лесников расхаживал вдоль капонира и возмущенно разговаривал сам с собой:

— Какая наглость, какая самоуверенность! Как будто уже победили. А где же наши? Почему их нет?

Из-за леса вынырнули «мессеры», а за ними выплыли ширококрылые «хейнкели». Они прошли прямо на город.

— По местам! — кричал Лесников и побежал к своему танку.

Сократилин с экипажем залез в яму, вырытую под днищем машины. Фельдфебель тоже было полез к ним. Но Швыгин показал ему кулак. Немец лег под танком около ямы.

— Здесь и лежи. А попробуешь бежать — во! — Костя показал ему карабин.

— Найн, найн... — залепетал фельдфебель.

Удар был настолько сильным, что фельдфебеля оторвало от земли и стукнуло о днище танка. А Сократилин с ребятами свалило в одну кучу. Взрывной волной сбросило с машины маскировку. Капонир заволокло дымом и пылью. Немец чихал.

— Что, не нравится? Это тебе не по бульварам с француженками тенди-бренди хоп-ца-ца! — кричал немцу Швыгин. Очередным взрывом Костю так потрясло, что он прикусил язык.

— Так тебе и надо. Не будешь болтать,— сказал Вася Қолюшкин. И в ту же секунду побелел. Послышался жуткий вой. Он нарастал, от него разламывалась голова и леденела кровь. Вася, зажимая руками уши, стонал: «Я больше не могу, не могу!» Немец кричал, заметался, выскочил из-под танка. К вою присоединился оглушительный свист, словно сразу засвистели тысячи паровозных свистков. Это «хейнкель» выбросил контейнер с мелкими бомбами. Они рвались так часто и с таким треском, будто стрелял невероятно огромного калибра пулемет. «Железный дождь, железный дождь», — бессмысленно бормотал Сократилин. Налет кончился так же внезапно, как и начался.

— Старшина! — кричал Швыгин.

— Ну,— отозвался Сократилин.

— Ну... Слава богу. А я думал, оглох.— И Швыгин размазал рукавом по лицу грязь.

Сократилин поднялся в машину, открыл верхний люк, выглянул и увидел танки. Они шли колонной.

— По местам. Танки! — крикнул Богдан.

Колюшкин стал у пушки, Швыгин сел за рычаги. Богдан предупредил, что огонь открывать по сигналу командирского КВ. Он, высунувшись из люка, следил за противником. Танки катились к мосту. Сократилин окинул взглядом свою оборону. На месте соседнего капонира, где стоял неисправный Т-26, зияла огромная яма. А вокруг их машины зеленый лужок был безобразно изрыт и перепахан. На краю воронки лежало что-то похожее на фельдфебеля Герхарда Шеберта.

— А немец-то не ушел,— сказал Богдан.— Ноги ему оторвало.

— Пропали часы,— сказал Швыгин, и сказал так, что нельзя было понять — всерьез он или шутит. Впрочем, обстановка складывалась не для шуток. Танки подошли к Дубиссе и открыли стрельбу. Это были тяжелые Т-4 с короткоствольными пушками. Они вели неприцельный огонь, били в основном по окраинным домам, которым и без того досталось при бомбежке. Два дома горели, никто их не тушил.

Но вот передний танк с десантом оторвался от колонны и рванулся на мост. Заработал наш «дегтярев». Длинной очередью он резанул по десанту. Солдат словно ветром сдуло с машины. Но они не повернули назад, а побежали за танком, стреляя из автоматов. Вася Колюшкин пускал снаряд за снарядом.

— По колесам ему, по колесам! — кричал Сократилин.

— Я уж по всему — и по колесам и по мордам, а он прет и прет. Пушчонка моя слабовата,— жаловался Вася.

Т-4, пройдя мост, свернул с дороги, бросился на пулеметное гнездо и вспахал его гусеницами, как плугом. А по мосту уже катился второй танк, за ним въезжал третий. «Это конец,— подумал Сократилин,— разве их нашими сорокапятками остановишь?» Швыгин заерзал и стал отчаянно колотить ногой по крышке люка.

— Ты что? — спросил Сократилин.

— До ветру.

— Сидеть! — рывкнул Богдан.

— Нашел время,— сквозь зубы прошипел Вася и схватил Сократилина за рукав: — Смотри, смотри!

Навстречу немецким танкам шел КВ. Пушка Т-4 заметалась. Но КВ опередил. Он ударил по башне, и она сползла набок. От второго снаряда споткнулся танк на мосту. Третий стал разворачиваться, подставил борт и

заглох с рваным проломом в боку. Немцы, следившие за поединком с того берега, опомнились и открыли бешеную стрельбу. КВ, пятась, отстреливался. Задним ходом он дополз до окопа и спрятался там.

— Вот это машина! Побольше б таких,— вздохнул Вася.

— А почему второй КВ не стрелял? — спросил Швыгин.

«Да, верно... Почему же?» — подумал Сократилин. Немецкие танки прекратили стрельбу. Солдаты на том берегу ходили около машин, собирались кучками, размахивали руками.

— Советаются. Что же они еще теперь выкинут? — сказал Швыгин.

— Пока подбитые танки на мосту, им не пройти,— заметил Вася Колюшкин.

— Стащат.

«Конечно, стащат», — подумал Сократилин и с тоской посмотрел на Васю:

— А где же наши? Когда же они подойдут?

Швыгин вдруг заметался, бросился к люку. Сократилин схватил его за плечо:

— Ты что, опять?

— Плывут!

— Родители мои! Опять! — простонал Вася.

На них стремительно двигалась черная туча. Самолетов было больше, чем грачей над осенним полем.

Экипаж спустился под машину в яму. Легли, прижавшись друг к другу. Теперь уже никто из них не надеялся остаться в живых. Единственно, чего они желали,— умереть вместе. И они судорожно цеплялись друг за друга...

Сколько времени длилась эта бомбежка, трудно сказать. Может, минуту, может, час, а может быть, вечность. Но они уцелели, и уцелела над ними жалкая двадцатьшестерка. Наступила жуткая тишина. Вася Колюшкин шепотом спросил:

— А что теперь будем делать?

Сократилин выхаркнул из горла шмат грязи.

— Не знаю.

— Вы как хотите, а я пошел,— сказал Швыгин.

— Куда?

— А куда-нибудь, только отсюда. Больше не могу.

Колюшкин молчал. Он брал в горсть песок и выпускал его сквозь пальцы тоненькой стружкой.

— Пойду узнаю у ротного.— И, заметив испуганный взгляд Колюшкина, Сократилин попытался улыбнуться: — Ничего, ребята. Ничего. Я вернусь... Скоренько вернусь...

Прибрежные дома города горели. Все кругом было обезображено до неузнаваемости. Бомбы здесь так густо падали, что машина оказалась окруженной земляным валом. И танк теперь стоял на дне глубокой ямы.

«Как мы только уцелели? — подумал Сократилин и сам же ответил: — Одному богу известно». Однако это Богдана нисколько не радовало. Он остался жить. Но надолго ли? Что-то сломалось внутри Сократилина.

Немцы принялись стаскивать с моста подбитые танки. Автоматчики, перебравшись на правый берег, постреливали. Но вперед идти боялись.

T-26, приспособленный Лесниковым под огневую точку, с оборванными гусеницами лежал на боку. Сократилин окликнул экипаж. Никто не отозвался. У второго танка вырвало пушку и отбросило метров на пятнадцать. Здесь тоже никто не отозвался.

«Или всех зарыло в землю, или ушли»,— решил Сократилин.

У первого КВ разворотило боевое отделение, но он все же напоминал танк. А от второго — командирского — остались в капонире ходовая часть и обломки мотора. Сократилин попытался разыскать хотя бы тело командира. Из земли торчала рука с черными растопыренными пальцами. Сократилин потянул ее и вытащил — одну руку. Богдана чуть не стошнило, и он бросился назад к своей машине.

Автоматчики заметили Сократилина и открыли по нему стрельбу.

Вася Колюшкин грыз сухарь.

— Нашел командира? — спросил он.

— Никого не осталось — одни мы,— сообщил Сократилин.— А где Костя?

— Сбежал.

— Какой же ты командир, если от тебя сбежал подчиненный? — упрекнул Васю Сократилин.

— Теперь здесь нет ни командиров, ни подчиненных. Одни покойники,— изрек Вася.

— Хватит болтать-то! — прикрикнул на него Богдан.— Поехали!

— Куда?

— К своим.

— А ты знаешь, где они, свои-то?

— Найдем.

Сократилин действовал энергично. Теперь ему, как никогда, хотелось жить. С моста немцы уже волокли подбитый танк. Автоматчики совсем обнаглели.

— Пугнуть бы их, Вася,— попросил Сократилин.

— Это мы можем. Нам теперь только и осталось, что пугать,— ворчал Вася, закладывая в пулемет диск. Сократилин сел за рычаги.

Мотор завелся сразу. Богдан воткнул заднюю скорость. Машина дернулась, проползла метра три и забуксовала. Мотор надрывался, гусеницы крутились. Сократилин подал танк вперед, потом опять включил заднюю и попытался на полном газу выскочить из капонира. Но машина опять встала, и гусеницы заработали вхолостую.

— Землю задницей гребем,— сказал Вася.

— Чего сидишь? Бери лопату! — закричал Богдан.

Вася отгребал землю. Сократилин безжалостно газовал. Автоматчики опять зашевелились. С ужасным ревом танк наконец выбрался из ямы. Немцы сразу же открыли по нему суматошную стрельбу.

Сократилин вел машину напролом по садам, огородам, с ходу протаранил дощатый сарай, выскочил на чистый, посыпанный песком дворик, сломал забор и выехал на узкую улочку, стиснутую с обеих сторон деревянными острокрышными домами. Свернули в переулок и с ревом выскочили на шоссе.

— Жми! — закричал Вася.

Сократилин жал вовсю. Дорога была каменистая, и танк дребезжал на ней, как ящик с гвоздями.

...Город давно уже остался позади. Сократилин, не сбавляя скорости, гнал машину на восток. У развилки дорог он заглушил мотор. Каменистая дорога поворачивала налево, а щебенчатая — вела прямо.

— По какой? — спросил Сократилин.

Вася решил, что это дело надо перекурить. Они закурили. На вопрос Богдана: «Что у нас осталось?» — Колюшкин доложил:

— Два пулеметных диска, десяток снарядов, кусок сала и сухари.

— Надо беречь,— заметил Сократилин и посмотрел на часы: — Восьмой.

— Восьмой! — воскликнул Колюшкин.— А я думал, часов пять. Может, рубанем сальца с сухариками, а?

Сократилин молча грыз сухарь. Вася, оправившись от бомбежного шока, болтал без умолку.

— А Швыгин — дезертир и законченный дурак. Куда он пошел? Даже карабина не взял. Ведь его немцы возьмут голыми руками. А почему Лесников мост не взорвал? Слышь, старшина?

Сократилин поднял голову. Он не слушал Васю и думал о том, что же это происходит, куда девались наши войска.

— Почему ротный мост не взорвал? — повторил Вася.

— Потому что не успел, — сердито ответил Сократилин.

В небе загудело. Вася вздрогнул, испуганно посмотрел, потом вскочил и запрыгал.

— Наши! «Петляки» с «ишаками». Сейчас они дадут им прикурить!

Прошли два звена пикирующих бомбардировщиков в сопровождении короткокрылых истребителей.

«Петляки» один за другим ринулись к земле. Донеслись глухие взрывы. Набрав высоту, самолеты опять вошли в пике. Над ними кружились истребители.

«Мессершмитты» появились внезапно. Два «мессера» напали на не вышедший из пике бомбардировщик. Он перевернулся на крыло и, задрвав хвост, с ревом врезался в землю. Три «ишака» атаковали немецкий истребитель. «Мессершмитт» лупил длинными пулеметными очередями. «Ишачок» круто развернулся и вышел «мессеру» прямо в лоб.

— Сейчас врежутся! — ахнул Вася.

Но «мессершмитт» вильнул в сторону и выбросил коричневое облачко дыма.

— Готов! — сказал Вася.

Однако бой выиграли немцы. Пятерка тонких стремительных «мессершмиттов» кинулась на «ишаков», пытаясь взять их в кольцо. Два истребителя вырвались, а третий, видя безвыходность, пошел на таран. Пулеметы «мессеров» изрешетили его. Он закрутился, как бочонок, и окутался дымом.

— Вот и все. — Сократилин снял фуражку, помял ее и опять надел на голову. — Поехали.

— Налево или прямо?

— Прямо.

Проехали километра два и наткнулись на полуторку. У нее был прострелен радиатор и изрешечена кабина. Кровь запеклась на сиденье, баранке и на ручках дверец.

— Наверное, шофера ранило, — сказал Вася.

— Проверь бензин,— приказал Сократилин.

Вася проверил и доложил, что бензину в баке на доньшке.

Проехали мутную речушку, дорога круто повернула вправо.

— Назад! Немцы! Танки! — дико закричал Колюшкин, на ходу прыгнул с машины и нырнул в кусты.

Сократилин и сам видел, что напоролись на танковую колонну. Она шла им навстречу. Немцы на секунду опешили, а потом твякнул автомат. Выскочить Сократилин не успел, повернуть назад — тоже. Тяжелый немецкий танк ударил Т-26 в лоб и сбросил с дороги в канаву. Машина завалилась на бок. Оглушенного Сократилина зажало между сиденьем и днищем танка.

В передний люк просунулось дуло автомата, оно зловеще покачивалось и уперлось Сократилину в спину. Остроносый, с длинными светлыми волосами немец сощурил глаза и что-то резко крикнул. Сократилин выбрался из-под сиденья, сел и, скрестив по-турецки ноги, уставился на немца. Немец так весело захохотал, что даже Сократилин, которому было далеко не до смеха, улыбнулся.

— Гут, рус, гут! — кричал немец и размахивал «шмайссером».

Потом в люк просунулась другая рожа — плоская, прыщавая, с рыжим кустом волос под носом. Рожа широко ухмыльнулась, потом надулась и чихнула.

Немец долго и внимательно изучал Сократилина, затем резко поднял вверх палец:

— Шнель, шнель...

Сократилин понял, что надо вылезать, и понял совершенно правильно. Он выбрался из машины, одернул гимнастерку, поправил на голове фуражку, болтавшуюся на животе кобуру с наганом перетасил на бок. Немцы окружили пленного тесным кольцом. Это были молодые жизнерадостные парни, упитанные и самодовольные, в расстегнутых мундирах. На их лицах не было ни злобы, ни жалости — ничего, кроме любопытства. Они с интересом рассматривали черноволосого советского танкиста с медалью на груди. А он, опустив голову, внимательно разглядывал свои грязные яловые сапоги. Кольцо солдат разомкнулось. Сократилин поднял голову и увидел высокого, узловатого, с немигающими глазами офицера. О том, что немец офицер, Сократилин догадался по широким серебряным петлицам, узким погонам и по фуражке с высокой тульей. Офицер что-то

сказал. Прыщеватый солдат подскочил к Сократилину, вынул из его кобуры наган и протянул офицеру.

Разглядывая наган, офицер брезгливо морщился, потом помахал им, прицелился в ствол молодой березки и выстрелил.

«Ловко, гад, стреляет», — отметил Богдан.

Расстреляв березку, офицер размахнулся и забросил наган в густые заросли иван-чая. Немцы захохотали. А офицер расстегнул свою кобуру, вынул парабеллум, показал Сократилину:

— Гут?

Сократилин пожал плечами. Офицер залопотал и сунул пистолет в руки Сократилина. Богдан повертел в руках парабеллум и со словами: «Так себе» — вернул пистолет офицеру. Немец, видимо, расценил слова Сократилина как одобрение, самодовольно улыбнулся, подергал на груди Богдана медаль «За отвагу», провел пальцем по петлицам.

— Фельдфебель?

Сократилин вздохнул:

— Ага, старшина.

Офицер закурил. Сократилин облизнул губы. Офицер протянул ему пачку сигарет. Богдан одну сигарету сунул в рот, а другую за ухо. Офицер рассмеялся. А солдаты как будто только и ждали этого, чтоб вдоволь поохотатся. Остроносого солдата смех изогнул пополам. Офицер нахмурился, что-то громко и резко сказал, ткнул в Сократилина пальцем и, повернувшись, пошел к танкам, высоко вскидывая ноги.

Сократилин опустил голову: «Ну вот и конец тебе, Богдан».

От резкого толчка в спину Сократилин едва устоял на ногах. Он оглянулся.

— Шнель, шнель! — кричал прыщеватый солдат и показывал рукой на танки.

«Еще не конец!» И Сократилин побежал. Его подхватили за руки и втащили в машину. Десант автоматчиков так густо облепил танк, что негде было поставить сапог. Все же они потеснились, и Сократилин сел на краешек снарядного ящика.

Богдан сидел согнувшись и с тоской думал: «А что же дальше?» Страха он не испытывал. Солдаты под визг губных гармошек орали песню. Песня была веселая, хоть в пляс пускайся.

Проехали мимо расстрелянной полуторки. Вот и раз-

вилка. Танки свернули на каменистую дорогу и устремились на северо-восток. День уже был на исходе. Солнце, напоровшись на острые макушки елей, разлилось по потемневшему леску оранжевыми лужами. Сократилин посмотрел на часы. Остроносый немец толкнул Сократилина автоматом. Богдан с недоумением посмотрел на него. Солдат показал на часы и поманил пальцем. Сократилин зажал часы в кулаке. Солдат оскалил зубы, выругался и пригрозил автоматом.

— На, твоя взяла,— сказал Богдан и бросил часы солдату. Тот подвинулся на них и опустил в свой карман. Однако этого остроносому было мало. Он снял с груди Сократилина медаль и прицепил на свой мундир. Потом медаль перекочевала на мундир прыщавого солдата, от прыщавого — к белобрысому детине с круглыми, как у кота, глазами. Повесив медаль, он надулся и что-то сказал. Наконец медаль попала в руки добродушного ефрейтора, и тот сунул ее в карман.

— Сволочи, мародеры! — вслух выругался Сократилин.

Солнце зашло. Воздух отсырел, пах бензином. Пыль толстым слоем покрыла солдатские мундиры. Она щеко-тала ноздри, скрипела на зубах. Танковую колонну обогнали мотоциклисты. Мотоциклы с треском и хлопаньем проносились под носом танкистов, сгущая и без того густую пыль.

Сократилин задремал и очнулся, когда колонна остановилась. Танк, на котором везли Сократилина, стоял на площади напротив двухэтажного каменного дома. Остальные дома были деревянными, с заборами и садами. Посреди площади торчала водокачка. Солдаты прыгали с танков, неслись к водокачке, обгоняя друг друга. Ефрейтор тоже побежал к водокачке.

С Богданом остался прыщавый автоматчик. Он долго ругался, а потом закатил Сократилину оплеуху. Из верхнего люка вылез танкист — маленький, круглоголовый, с грязным пятном на щеке. Сократилин безошибочно определил, что это водитель. Водитель снял мундир и стал выколачивать из него пыль. Автоматчик стал что-то у него просить. Но танкист его не слушал и остервенело охлестывал мундир о железный поручень. Автоматчик продолжал его уговаривать, а потом, видно, выругался. Танкист подскочил к нему, двинул кулаком, и автоматчик кубарем скатился с машины. Потом танкист схватил за ворот Сократилина, подтащил к корме и пинком под зад сбросил Богдана на землю.

Автоматчик аж побелел. И, как это бывает в таких случаях, выплеснул злобу на того, кто слабее. А слабым оказался один лишь пленный. Он ударил Сократилина носком сапога в пах. Богдан охнул и опустился на колени.

— Штейн зи, русски швайн! — заорал солдат и поднял автомат.

Сократилин съежился, закрыл голову руками.

— Бей, сволочь, бей,— шептал Богдан.

Из-за танка вынырнул ефрейтор, крикнул на автоматчика, тот опустил автомат и вытянулся. Ефрейтор махнул Сократилину рукой и пошел к двухэтажному дому. За ним, прихрамывая, ковылял Сократилин, а остроносый солдат подталкивал его дулом автомата.

Двухэтажный дом оказался литовской школой. По длинному коридору сновали солдаты без рубаш, с полотенцами на шее. В классных комнатах ели, пили, пели, играли и даже плясали. Сократилина долго водили по коридорам и закоулкам школы. Наконец и для него нашли место — темный чулан, куда уборщицы прятали ведра с метлами и тряпками.

Ефрейтор ушел. Остроносый остался охранять Сократилина. Стоять с автоматом около чулана ему очень не хотелось. Он долго ругался, а потом жестоко и бессмысленно избил Сократилина.

Сменщик остроносого оказался на редкость изобретательным. Он не стал стоять ни одной минуты. Раздобыл доску с гвоздями, заколотил дверь и ушел спать.

— Ну, вот теперь, кажется, можно и отдохнуть,— сказал сам себе Сократилин.

Богдан стащил с ног сапоги, подложил под голову. Чулан был настолько тесным, что ноги упирались в стену. Он уснул мгновенно. Или спать было неудобно, или кошмарные сновидения, или впечатления первого дня войны, или все это вместе взятое, только отдых еще больше измучил Сократилина.

В щелку филенчатой двери протиснулась серая полоска света.

«Уже рассвело,— решил Сократилин.— Эх, покурить бы!» — Похлопал по карманам, брякнули спички. Нашелся и кисет с табаком. Оставалось раздобыть клочок газеты. Но сколько Сократилин ни обшаривал себя, не только газеты, вообще, кроме трехкопеечной монеты, ничего больше в карманах не было. Он чиркнул спичкой. Она осветила чулан: ведро, швабру, кучу тряпья и кар-

тонку с грязным комом ваты. Сократилин горестно вздохнул:

— Ну и школа, клочка бумаги не сыщешь.

Богдан вспомнил о красноармейской книжке. Она всегда хранилась в левом нагрудном кармане гимнастерки. «Удивительно, как это ее немцы не отобрали», — подумал он. В книжке Сократилин нашел квитанцию, которая удостоверяла, что старшина третьей роты сдал в стирку тридцать семь простыней и столько же наволочек. Квитанции хватало на четыре отличные цигарки.

Сократилин закурил и стал думать, куда бы запрятать свою книжку. Бросить ее в картонку с ватой?

«А если я до своих доберусь? И меня спросят: а где твоя красноармейская книжка, старшина Сократилин? Что я скажу? В чулане, в мусорном ящике? Нет, это совсем не годится. Но куда ее деть? — размышлял Богдан. — Хорошо бы ее зашить в подкладку. Но где взять иглу с ниткой?»

Сократилин, как образцовый старшина, всегда имел при себе иглу с ниткой и хранил ее в фуражке. Но фуражки теперь на нем не было. Он потерял ее вчера, а где, не помнил.

Книжку Богдан спрятал в сапог, точнее, вместе с портянкой завернул на ногу. Потом снял с ремня пустую кобуру, повертел ее в руках, понюхал и хватил о стену. Вопрос с книжкой и с кобурой, по мнению Сократилина, был решен довольно-таки сносно. Но другой вопрос: как сохранить свою голову да еще пробраться к своим — оказался куда сложнее. Сломать дверь — пара пустяков. Богдан навалился на дверь плечом, и она закрипела, легонько ударил ее каблуком — коридор и лестница откликнулись гулким эхом. Сократилин замер, прислушался. Все пока было тихо.

Богдан скрутил вторую сигарку, перевернул вверх дном ведро, сел и стал насвистывать песенку «Сухой бы я корочкой питалась...». Эту песенку любила его мать.

Посвистав, Сократилин тяжело вздохнул, раздавил каблуком окурок. Он понимал, что положение у него безвыходное. Но ведь все-таки надо что-то предпринять!

«А если поджечь эту проклятую школу? Тряпья здесь много». Сократилин зажмурился и увидел, как пламя охватывает школу, как немцы бегут, выпрыгивают из окон. «Ну и что? — спросил сам себя Богдан. — Немцы, разумеется, спасутся, а я превращусь в голо-

вешку. Глупо, глупо, все глупо. И самое глупое, что так идиотски попал им в лапы!»

Сократилин сжал руками голову. Ничего не оставалось другого, как закурить в третий раз.

Протяжный крик в коридоре испугал Сократилина. Он вскочил, прижался к стене. Захлопали двери, загромыхали сапоги. Кто-то заорал: «Хайль Гитлер!» — «Хайль!» — рывкнули сразу десятки глоток.

Богдан прислушался. Кто-то шел к его чулану. Вот он поравнялся с ним, щелкнула зажигалка, но сапоги прогромыхали дальше.

«А может быть, они обо мне забыли? Ах, если б только забыли!» — Богдан опустил на ведро и сразу же вскочил. Шли двое и разговаривали. Разумеется, Сократилин не понимал, о чем они говорили. Но был уверен, что они идут за ним. Он даже подтянул ремень, одернул гимнастерку и ладонями пригладил волосы. Но немцы прошли мимо и стали спускаться по лестнице.

«Конечно, забыли! Да и зачем я им нужен? — Сократилин усмехнулся. — Совершенно я им не нужен. Если б им было надо знать, кто я, какой части, вчера бы все узнали. А то даже документы не проверили». Сократилину стало так легко и весело, что он даже замурлыкал: «Броня крепка, и танки наши быстры».

Где-то в дальнем конце коридора хлопнула дверь. С улицы донеслось глухое урчанье моторов.

«Заводят! Слава богу!» — Богдан совсем успокоился и стал не торопясь вертеть самокрутку. Он не успел ее докурить. Подошли двое. Сократилин зажал в руке окурок, обжег пальцы, но боли не почувствовал. Когда затрещала доска и завизжали гвозди, Богдану показалось, что с него сдирают кожу.

Богдана вытолкали на улицу. И первым, кого увидал Сократилин, был Костя Швыгин. Он стоял в небольшой кучке пленных, без ремня и босой.

— Где тебя взяли? — шепотом спросил Сократилин.

— В городе. А тебя?

Сократилин не ответил. Его внимание привлекли наши танки. В центре площади стояла махина Т-28, неподалеку от нее — похожая на черепаху зеленая танкетка. По площади немецкие танкисты кругами гоняли БТ-7.

«Откуда они здесь взялись? — недоумевал Богдан. — Неужели я их вчера не заметил?»

Около тяжелого танка немцы организовали танцы. На одной из башен сидел верхом немец с аккордеоном. Солдаты лихо отплясывали с разодетыми молодыми ли-

товками. Здесь же суетился бритоголовый толстяк с какой-то черной штуkenцией. Он то и дело прикладывал эту штуkenцию к носу. Сократилин толкнул локтем Швыгина.

— Что это он делает?

— Кино снимает.

Толстяк спрыгнул с танка и побежал навстречу «бэтшке». Нацелил на нее камеру и чуть не попал под гусеницу. Толстяк закричал, замахал руками. Танцы прекратились. К толстяку подошел офицер. Они направились к пленным. Сократилин узнал офицера. Тот подмигнул Сократилину, как знакомому, и вдруг нахмурился. Офицер что-то спросил. Сократилин вместо ответа пожал плечами.

— Ордэн? — крикнул офицер и показал пальцем на грудь Сократилина.

Богдан с помощью рук дал понять офицеру, что медаль у него отобрали солдаты. Офицер остановил бежавшего танкиста и что-то ему сказал. Тот крикнул: «Яволь», козырнул и побежал дальше. Явился ефрейтор и сам повесил медаль на грудь Сократилина.

Офицер вдохновенно обратился к пленным по-немецки. Никто его не понял. Пленных окружила толпа зевак. Тщедушный шпак в соломенной шляпе робко протиснулся к офицеру, снял шляпу, поклонился и бойко закалякал по-немецки. Офицер козырнул, подал ему руку. Шпак осторожно, словно боясь обжечься, пожал ее. Потом он повернулся к пленным и на чистом русском языке спросил:

— Кто из вас может водить маленький танк? Вот тот, — шпак показал на танкетку.

Швыгин посмотрел на Сократилина, толкнул его плечом.

— Господин офицер ждут, — сказал переводчик.

Швыгин вышел, сказал:

— Я. — А потом показал пальцем на Сократилина: — Он тоже может.

Офицер глянул на босого Костю, брезгливо фыркнул и что-то сказал солдатам. Два немца подскочили к стоявшему рядом пленному сержанту, повалили его на землю, стащили сапоги и бросили их Швыгину.

Швыгин обулся, и его повели к танкетке. Костя сел за рычаги, проехал сто метров. Офицер сказал: «Гут» — и поднял руку.

На площадь выполз Т-4, вплотную подошел к танкетке и остановился.

— Что же это они затеяли? — спросил Сократилина сосед.

Танкетка тронулась, за ней пополз немецкий танк. Танкетка набирала скорость. Т-4 пытался ее догнать. Толстяк оператор замахал камерой, затопал ногами, подбежал к офицеру. После этого офицер с переводчиком подошли к танкетке. Переводчик что-то объяснял Швыгину, а офицер грозил ему кулаком.

Начали снова. Т-4, набрав скорость, ударил сзади танкетку. Танкетку бросило вперед. Т-4 опять ее догнал и опять ударил. Но танкетка продолжала стоять на гусеницах и продолжала двигаться. Т-4 напал на танкетку сбоку, опрокинул ее вверх гусеницами, навалился сорокатонной тяжестью, и она хрупнула, как орех. Дико, позвериному закричал Швыгин. Немецкий танк развернулся и еще раз проехал по раздавленной танкетке. Швыгин кричал. Снимая на ходу автомат, бежал солдат. Короткая очередь — и крик оборвался.

Зеваки разбежались. Пленные сучились, тревожно переглядывались. Офицер с оператором и переводчиком направились к ним. Пленные прижались друг к другу.

— Сколько человек в экипаже этой машины? — спросил переводчик, указывая на трехбашенный танк.

Пленные молчали. Переводчик повторил вопрос. Офицер подмигнул Сократилину.

— Фельдфеба.

— Шесть, — сказал Богдан Аврамович.

Офицер показал пальцем на Сократилина, а потом отсчитал еще пять человек. Два солдата с автоматами оттеснили их от остальных пленных. Впрочем, там осталось всего двое: один без сапог, а другой — с повязкой на голове. Офицер долго и, как показалось Сократилину, вежливо о чем-то упрасивал переводчика. Вероятно, офицер понимал, что с танкеткой они хватили через край, и теперь пытался как-то сгладить это неприятное впечатление. Шпак угодливо согнулся и перевел:

— Сейчас вы сядете в этот танк. Его подожгут. Вы из танка выскочите и поднимете вверх руки. Понятно? Господин офицер просит, чтоб вы не боялись. Ничего плохого с вами не случится. Он вам лично гарантирует жизнь. — Переводчик повернулся к офицеру. Тот сказал еще что-то и ободряюще кивнул головой.

— Это надо Германии, фюреру, его народу. Если вы всё, как просит господин офицер, исполните, то вас хорошо накормят, — пояснил переводчик.

Сначала снимали немецкий танк. Снимали его и на ходу и во время стрельбы. Танк стрелял вверх домов. Потом пленных посадили в трехбашенный танк. Машину облили бензином и подожгли. Экипаж выскочил, поднял руки. Оператор снял их на фоне горящего танка.

Потом снимали Сократилина одного, и в окружении немецких солдат, и вдвоем с офицером. Оператор избразил эту сцену так, будто немецкий офицер и заслуженный русский фельдфебель миролюбиво беседуют. Оператор вытащил из кармана блокнот и стал записывать данные о Сократилине. Богдан бойко отвечал, что он старшина Иванов, не задумываясь, назвал первый пришедший в голову номер части. Оператор был очень доволен, добродушно похлопал Сократилина по спине и дал сигаретку.

Офицер не забыл накормить пленных. Принесли два котелка с макаронами.

На площадь выскочили две легковые машины с эскортом мотоциклов. Оператор, подхватив камеру, бросился их снимать.

В передней машине поднялся высоченный в голубом мундире. Солдаты замерли по стойке «смирно». Офицер подбежал, шелкнул каблуками и, вытягивая подбородок, стал докладывать громко и отрывисто. «Наверное, генерал или сам маршал»,— подумал Богдан. Сократилина поразило не столько лицо генерала — яйцевидное, с приплюснутым носом, сколько ноги. Таких длинных ног ему еще не доводилось встречать. Они начинались у генерала сразу же от ребер.

Генерал с минуту позировал. Потом, повернувшись спиной к оператору, принялся грубо, на всю площадь отчитывать офицера. Лицо у него налилось кровью, отчего еще больше обрюзгло. Ругая офицера, генерал все время показывал на восток, туда, где гроыхало и ухало. Почему-то раньше Сократилин не обращал на это внимания.

— Наверное, наши подошли,— шепнул он сержанту без сапог, и тот крепко сжал ему локоть.

В действительности было не так.

22 июня в три часа утра 56-й механизированный корпус генерала Манштейна перешел границу и прорвал оборону наших войск на стыке 8-й и 11-й армий. В задачу Манштейна входило пройти Литву от границы до города Двинска в три дня. На пути его лежала лесистая, с густой сетью рек местность. Успех операции в первую очередь зависел от форсирования водных пре-

град. Манштейн стремился захватить мосты на реках Дубисса, Шушва, Западная Двина. В первый день корпус, продвинувшись на восемьдесят километров, с ходу форсировал Дубиссу и занял город Арегалу. На второй день передовые части 8-й танковой дивизии продолжали наступление и были остановлены в районе города Кедайнйя. Туда и показывал рукой длинноногий генерал. Нет, это были не подошедшие свежие части, как думал Сократилин. Корпус Манштейна остановили два артиллерийских полка, расквартированных в Кедайняе.

Генерал продолжал жестоко разносить офицера, который, видимо, и не был уж так-то виноват. Он двигался по заданному маршруту, достиг указанного пункта. На другой день он почему-то не получил дальнейшего приказа. Он ждал этого приказа, как и должен ждать исполнительный немец. Напомнить о себе он или постеснялся, или просто забыл, увлекшись киносьемками.

Генерал наконец выдохся. Он снял фуражку, вытер платком бугристую лысину и что-то буркнул.

— Яволь,— крикнул офицер и вытянул руку: — Хайль Гитлер!

— Хайль.— Генерал небрежно махнул платком, потом тщательно вытер шею и руки. Взгляд его водянисто-синих, с тяжелыми мешками глаз на минуту задержался на пленных. От этого равнодушного, холодного взгляда пленным стало жутко. Генерал выдавил подобие улыбки и повернулся к сидевшим за его спиной офицерам. Те рассмеялись. Генерал еще раз поглядел на пленных и махнул платком. Автоматчики ринулись на пленных и, больно толкая в спину дулами автоматов, загнали в школу и заперли в класс. Но недолго они просидели в этом классе. В село прибыл походный лазарет и занял школу. Пленных перегнали со второго этажа в подвал, затолкали в кочегарку и на висячий замок закрыли окованную железом дверь.

— Ну вот, наконец-то подыскали то, что надо! — сказал босоногий сержант.

— Как тюрьма,— пробасил красноармеец с перевязанной головой.— И окно точь-в-точь тюремное.

Впрочем, это и окном даже нельзя было назвать. Просто квадратная дыра под потолком. Вероятно, ее прорубили для вентиляции. И все же Сократилин рассмотрел в углу кучу антрацита, совковую лопату и метлу с ломом. Он взял лом, покидал с руки на руку.

— А ведь эта штука может пригодиться?

Сержант помахал ломом, сказал «да» и передал соседу. Тот тоже помахал ломом. Смуглый горбоносый красноармеец схватил лом, размахнулся, и, если бы Сократилин не перехватил его руку, он бы запустил ломом в дверь.

— Ты что — дурак или сроду так?

Красноармеец озлобился:

— А ты кто такой, чтоб мне указывать?! Плевал я на твой орден и регалии! — Он грязно выругался, сорвал с котла манометр и вдребезги разбил о цементный пол.

— И откуда такие психи берутся? — спросил Сократилин сержанта.

— Да это же Ричард Левцов, — сказал сержант таким тоном, что Богдану без дальнейших слов стало ясно, что это за птица Ричард Левцов.

Сержант посмотрел на свои грязные ноги, потом на Сократилина и грустно улыбнулся:

— Эх, закурить бы, старшина, и тогда б цены нам не было.

Богдан наскреб махорки ровно на две закрутки. Одну порешили выкурить сразу, а другую — потом. Восемь человек. Одна сигарка на восьмерых! К счастью, среди них оказался баптист, которому вера запрещала смолить табак. Худенький, веснушчатый, как галчиное яйцо, боец тоже отказался, заявив, что он некурящий.

— Так ты ж курил, Могилкин, — сказал сержант.

— Да так, баловался.

— Ну, тогда ладно. Это хорошо, что некурящий, — с удовольствием отметил босоногий сержант и стал осторожно пеленать махру в бельевую квитанцию. — Тебя как звать-то? — спросил он Сократилина. — Меня — Никитин. Иван Никитин. А это мое отделение почти что в полном составе, а пятерых где-то потеряли. Наш батальон стоял километрах в двадцати от границы. Потом, как все это началось, мы чего-то ждали. Потом глядим, их танки появились. Я скомандовал своему отделению: «За мной!» — Никитин облизнул самокрутку и неожиданно широко улыбнулся. Его широкое лицо с отвисшей губой от этой улыбки стало уморительно комичным. И Сократилин решил, что Никитин, вероятно, очень хороший человек.

— Ну а дальше? — спросил Богдан.

Никитин прикурил, глубоко затянулся, закашлялся и кашлял так долго, что выступили слезы.

— А потом? — Никитин передал сигарку Сократили-

ну.— Отходили все лесом, пока в полночь не напоролись на хутор. Отселева версты две. Я уговаривал дальше двигать прямо до своих... Теперь ты это понял, Гармонщиков? Ты же больше всех настаивал переночевать в этом сарае.

— Кто ж знал. А потом у меня очень голова ныла,— отозвался красноармеец с перевязанной головой.

— Утром,— продолжал Никитин,— нагрянули мотоциклисты, окружили сарай и взяли тепленьких. Как это я маху дал, уму непостижимо!

— Хозяин хутора продал,— сквозь зубы процедил Левцов.— И наши командиры тоже хороши. Что они, не знали, что немец чертову уйму войск нагнал? Я все понимаю. Кто меня проведет, тот дня не проживет! А в этой штуке мозга шевелится, не то что в других военных.— Он стащил с головы пилотку и выразительно постучал кулаком по остриженному черепу.

Сократилин пристально посмотрел на Левцова, в его злые зеленые глаза, и понял, что он далеко не дурак, как это ему поначалу показалось.

— Вот что, Левцов,— Никитин грозно сдвинул брови,— говори, да думай, что говоришь. Стыдись, Левцов. Мы попали в такое положение, а ты... В общем, прошу тебя прекратить такие разговоры.

Левцов вскочил, рванул ворот гимнастерки.

— А что ты мне можешь сделать? Я пленный! А ты кто? Тоже пленный. Такой же, как я. И власть твоя кончилась, Никитин.— Он выразительно погрозил пальцем: — Кончилась, товарищ сержант! Еще неизвестно, кто теперь из нас главней. Козыри переменялись.

Никитин усмехнулся:

— Это какие же такие козыри?

Левцов прищурился:

— А где твоя красная книжица? Выбросил?

Пленные, равнодушно наблюдавшие за перебранкой, насторожились.

— Ах вот ты о чем! Ну, ну.— Никитин снял пилотку и вытащил из-под подкладки партийный билет, высоко его поднял, показал всем и опять засунул в пилотку.— Ну а дальше что, Левцов?

Левцов оглянулся и, видя по лицам, что его никто не одобряет, стусеивался:

— А я ничего, просто так. Спросил, да и все.

— А козыри?

— Да, да, какие такие козыри переменялись? — спросил Гармонщиков.

Левцов попытался отшутиться. Но его не поддержали.

— Ты хочешь меня продать, Левцов? — тихо спросил Никитин.

— Что, я? Тебя продавать?! — закричал Левцов.

— Не ори! — Гармонщиков сгреб Левцова за грудки, прижал к стене. — Ты что имел в виду? Не вертись! Прямо говори!

У Левцова от натуги посинело лицо.

— Да вы что — обалдели? Нельзя же человека казнить за каждое необдуманное слово.

Гармонщиков потянул Левцова на себя, потом ударил его об стену, да так, что у того лязгнули зубы.

— Я тебя задушу, запихаю в котел, в топку и сожгу. Как последнюю пададь. Понятно?

В котельной вдруг стало совсем темно. Как будто дыру заткнули пробкой.

— Эй, русски зольдат, будем здороветь!

— А мы и так здоровы, — откликнулся Могилкин.

— Жрать надо?

Могилкин встал напротив окошка.

— Давай.

— Жри! — крикнул немец, и Могилкин, страшно ругаясь, отскочил от окна, вытирая рукавом лицо. Немец хохотал и поливал котельную, как из шланга. Потом мочился другой, и тоже смеялся, и обзывал пленных свиньями.

Третьему, видимо, было нечем, и тогда он швырнул в котельную камень.

После их ухода все долго молчали.

Первым заговорил красноармеец с хитрым и пронырливым лицом. Сократилин еще раньше заметил, что он все время делал вид, словно к компании пленных не имеет никакого отношения. Там, на площади, старался стоять в сторонке и даже здесь сидел один в углу на куче антрацита...

— Они пошутили. А вообще-то немцы культурный народ.

— Для себя они, может, и культурные. А нас за людей не считают, — сказал Никитин.

«Абсолютно верно, — подумал Сократилин. — И эти кино съемки были подстроены так, чтобы унижить нас».

Левцов словно бы подслушал мысли Сократилина.

— А старшина перед ними выпендривался, когда снимали, даже медаль повесил.

Богдан едва сдержал себя, чтоб не броситься на Левцова с кулаками.

— Хотел бы я посмотреть, что б ты делал на моем месте? — Он грустно посмотрел на Левцова и с укоризной спросил: — Послушай, друг, и что ты ко мне привязался?

Левцов подмигнул Гармонщикову и засмеялся:

— Видал, какой друг нашелся! Рубля вместе не пропили, а уже друг.

Однако Гармонщиков опять не поддержал Левцова:

— Ты, старшина, на него не очень обижайся. Наш Ричард Львиное Сердце очень не любит начальство, особенно старшин. Ротного старшину Горшенина он боялся хуже, чем мышь кошку. Вот он решил рассчитаться раз со всеми старшинами. А почему бы не рассчитаться? Обстановочка для этого очень подходящая.

Все рассмеялись, но уж очень лениво, нехотя. Ричард Левцов поскреб затылок.

— Да, Горшенин, ох уж этот Горшенин! Как он меня драил! А я все терпел. Верил: так надо. А чем это кончилось? Сажу в яме. Сегодня на меня помочились, а завтра в лучшем случае дерьмом накормят, а то и совсем на луну спровадят.— Левцов заходил по котельной кругами, потом остановился, бессильно опустил руки и, неизвестно к кому обращаясь, спросил: — А что делать?

— Бежать.— Сократилин посмотрел на Никитина.— Если свои до вечера не освободят — бежать сегодня же ночью.

— Кто «за»? — И Никитин поднял руку.

Все были «за», кроме того красноармейца, который держался особняком. Он внимательно разглядывал кусок антрацита.

— А ты, Добрянский? — спросил его Никитин.

Добрянский бросил уголь, посмотрел на руки и вытер их полой гимнастерки.

— Остаешься?

Добрянский исподлобья взглянул на Никитина и громко высморкался. Левцов подскочил к нему и поднес кулак к его подбородку:

— Понюхай, гад, чем пахнет!

— Остановись, Левцов!

Левцов с недоумением посмотрел на Никитина.

— Плевать. Пусть остается.

Но Левцову уже трудно было остановиться, да и к тому же злость в нем хлестала через край.

— А ну, снимай сапоги, гад! — прошипел он.

Добрянский торопливо стащил сапоги. Левцов взял их, размахнулся, но не ударил, а смачно плюнул в лицо Добрянскому. Никитин примерил сапоги. Без портянок они были в самый раз.

Операцию разрабатывали долго, планов побега предлагали много, но все они решительно не годились. Проще всего было взломать ломом дверь. А если поставят часового? А если даже не поставят, все равно без шума не обойтись. Ломать стену было еще труднее, да и совершенно бессмысленно. Кто-то предложил пробить дыру в потолке, но его подняли на смех. Пленные приуныли. Котельная оказалась ловушкой, из которой они не видели способа выбраться.

Тяжелее всех переносил обиду Могилкин. И он поклялся, что, как только выберется на свободу, жестоко отомстит немцам.

— А это что? — показал он на дыру под потолком. — Вы меня пропихнете в окошко, а потом подадите лом, и я потихоньку сломаю замок.

— А если будет часового? — спросил Гармонщиков.

— Ломом по кумполу! — не задумываясь, заявил Могилкин, и заявил так уверенно, словно это дело для него давным-давно привычное.

Сократилин посмотрел на тщедушного, узкоплечего Могилкина и не смог удержаться от смеха. Впрочем, смеялись все, и даже Добрянский.

Могилкин оскорбился:

— Вы думаете, у меня силы не хватит?!

Гармонщиков облапил Могилкина, помял его, пальцем вытер выступившие на глазах злые слезы.

— Хватит, конечно, хватит. Только вот как ты пропихнешься в эту дыру? Мой кулак в нее не пролезет.

Могилкин стал горячо уверять, что наверняка пролезет, так как он гибкий, верткий, узкоплечий и голова огурцом.

Могилкин, правда, больше походил на веретено, да и голова у него скорее напоминала грушу, нежели огурец, и все же решили попытать счастья.

Под окошком встал рослый Гармонщиков. Могилкин вскарабкался ему на плечи, просунул в дыру руки, ухватился за наружный край окна и скомандовал:

— Задирайте мне ноги и потихоньку толкайте.

Ноги задрали, Могилкин попытался просунуть в дыру голову и сразу же отказался от этой затеи.

— Руки мешают, — пожаловался он. — Если б не руки — наверняка пролез.

— Не отрубать же их,— заметил Никитин.

— Зачем отрубать? Я их прижму по стойке «мирно». А вы поднимите меня на руках, как покойника, и пихайте головой.— Могилкин показал, как надо его поднять и как пихать.

— Так поднять тебя и моего роста не хватит. И под ноги подставить нечего,— сказал Гармонщиков.

— А уголь. Кучу угля перетащить под окно,— предложил Богдан.

Хотели сразу взяться за дело. Но за дверью гулко прогремыхали сапоги. Лязгнул замок, на пороге встал солдат с автоматом. Пленные одернули рубахи, поправили на голове пилотки. В котельную вошел санитар в халате и в белом колпаке. Торопливо отсчитал пять человек и увел.

В котельной остались Богдан, Могилкин и Добрянский.

— Куда их? — спросил Могилкин.— Неужели на расстрел?

— Вряд ли. А впрочем, кто знает...— Сократилин, конечно, не мог знать, куда их увели, но почему-то был уверен, что их увели на какую-нибудь работу. «Через час-два явятся»,— подумал он.

Тяжко и горестно вздохнул Могилкин:

— Ужасно как жрать хочется.

— А вот мы сейчас с тобой покурим — оно и расхочется,— сказал Сократилин.

— Корочку бы сейчас хоть самую завалиющую. Со вчерашнего утра не жрамши. Да и утром-то какая была еда...— пожаловался Могилкин и тронул Сократилина за руку: — Вкусные у них макароны?

Богдан усмехнулся:

— Не распробовал.

— Кажись, с мясом, — сказал Добрянский.

— А ты успел рассмотреть? — вскричал Могилкин.— У, сволочь! Взять бы лом да между глаз!

— За что?

— За то, что ты изменник и предатель!

— Я никого не предавал, никому не изменял, даже собственной жене,— спокойно возразил Добрянский.

— Почему же к своим бежать не хочешь?

— А мне все равно, что свои, что чужие. Я баптист и воевать не собираюсь.

Сократилин с удивлением посмотрел на Добрянского, на его пронырливое лицо с тонкими сухими губами.

Перехватив вопросительный взгляд Сократилина, Добрянский пояснил:

— Вера моя не позволяет убивать людей.

Могилкин подбежал к нему, сел на корточки и, заглядывая в лицо, ехидно спросил:

— Зачем тогда в армию пошел?

— Армия одно, а война совсем другое,— невозмутимо отвечал Добрянский.

Могилкин встал, подбоченился, выставил ногу и покачал носком сапога.

— Вот что я тебе скажу, Добрянский, баптист ты или...— Могилкин выдавил довольно-таки резкое словечко.— А Родину защищать обязан!

Добрянский прищурился:

— Родину, говоришь? А ты знаешь, что такое родина?

— Знаю!

— Что же это за штука? — ядовито спросил Добрянский.

— Родина это — во! — Могилкин широко развел руки, описал большой круг и покосился на Добрянского. Тот ухмылялся.— Ты надо мной не смейся, баптист. Я не знаю, как это по-ученому выразиться, потому что четыре класса и пятый коридор в школе прошел. Я тебе по-своему, по-простецкому скажу. Родина — это моя деревня Петушиха. Мой дом в три окна под соломенной крышей, овин, около овина береза, из которой я гнал соковку. Родина — это...

Вдохновенную речь Могилкина оборвал треск немецкого автомата у самого входа в котельную.

Долго и тяжело громыхали по каменным ступеням сапоги, и долго скрипел в заржавленном замке ключ. Вернулись четверо. Пятого только что расстреляли прямо у котельной. За кусок колбасы.

— Мы таскали раненых,— рассказывал сержант Никитин,— на втором этаже школы в коридоре стоял стол. На этом столе резали колбасу. Мы туда и обратно, и всё мимо этого стола. Я с Гуциным на пару таскал. Я его предупреждал. Не сдержал себя парень. На глазах у немца схватил колбасу — и в карман. Немец с минуту смотрел на него как обалделый. Потом поднял шум. Прибежал белобрысый офицерик, посмеялся, что-то сказал нашему охраннику. И даже колбасу не отобрали. Я думал, что на этом все и кончилось. Я даже зауважал этого офицера. Мы перетаскали раненых, и нас повели в котельную. У входа в котельную немец нас остановил.

построил, потом вывел Гущина и приказал ему есть колбасу. Приказывает, а сам улыбается. Я даже не заметил, когда немец автомат поднял.

— А он и не поднимал. Как держал у живота, так и стрелял, — сказал Левцов. — В общем, с колбасой во рту отбыл рядовой Гущин, как говорят, в лучший мир.

Это убийство потрясло Богдана. Да и не только его. Лицо у Могилкина посерело, нос еще больше заострился. Гармонщиков смотрел в одну точку. Добрянского трясло от страха.

— Дурак этот Гущин. — Левцов мрачно усмехнулся. — На вшивой колбасе засыпался, а я вот, — он вытащил из голенища сапога пистолет, подкинул его, поймал, — «вальтер». Удобная штучка, аккуратная. Офицерский. Волокли мы с Гармонщиковым офицера. Здоровый офицер, жиру в нем пудов пять. Вся морда в бинтах, один нос торчит, а на боку кобура.

— Когда же ты успел? — изумился Гармонщиков. Левцов, ухмыляясь, ласково погладил пистолет.

— Руки у меня такие. Мамаша очень восхищалась ими. Помню, посмотрит, бывало, на мои руки и скажет: «Отрубить их мало».

— А ты понимаешь, чем ты рисковал? — спросил Никитин. — Ты рисковал нашими головами.

— В первую очередь я рисковал собственной головой, товарищ сержант, — сухо ответил Левцов. — А вторых, я неудобно чувствую себя без оружия. Мне все время кажется, как будто мне чего-то не хватает. И настроение у меня от этого скверное.

Сократилин отлично понимал, что, если бы Левцов засыпался, их бы всех расстреляли. Но все же он не мог не восхититься дерзостью Левцова. И упрекать теперь его было не только бессмысленно, но и грешно. Ведь он достал оружие! Все облегченно вздохнули и почувствовали себя уверенней, и гибель Гущина отошла на задний план. На передний опять выступил побег. Если раньше кое-кто и сомневался в разумности побега, теперь не было таких. Даже баптист Добрянский заявил, что он тоже здесь не останется. Бежать решили, как только стемнеет. Все теперь зависело от того, будет ли выставлен часовой и сможет ли пролезть в дыру Могилкин. Желание вырваться на волю было настолько сильным, что в крайнем случае решили взломать дверь. Много возлагали надежд и на подход наших войск.

Никитин сообщил Сократилину, что, когда они таскали раненых, орудейный гул не затихал ни на минуту, что школу битком завалили ранеными.

— Видимо, крепенько всыпали им под Кедайняем.

— Откуда ты знаешь, что под Кедайняем? — спросил Богдан.

— Раненые все лопотали: «Кедайняй, Кедайняй...» А сколько войск уже прошло через село. Без конца, колонна за колонной: машины, танки, пушки...

— А здесь, в этой душегубке, ни черта не слышно, — пожаловался Сократилин.

— Окно слишком маленькое, да и под потолком, — пояснил сержант Никитин.

Вечерело. В окошко виднелся розовый клочок неба. Да же потолок и противоположная стена порозовели. Пленных мучил голод, Сократилина — жажда. Левцов метался по котельной, обнюхивал углы, даже заглянул в топку. За ним как тень ходил Могилкин.

— А все-таки они думают нас кормить в конце концов? — возмутился Гармонщиков. — Пусть мы в их глазах животные, свиньи, но ведь свиньи тоже жрать хотят?

Клок неба под потолком погас, и в котельной стало совсем темно. Могилкин лег на цементный пол, свернулся калачиком.

Ужин принесли тогда, когда уже никто не надеялся. Принесли в ведре объедки и оскребки: хлеба, каши, макарон и даже колбасы с сыром. Все это было полито водой и смешано. Делил еду Левцов. Он раскладывал ее руками в подставленные пилотки. Сократилин отказался. Его мучила жажда.

Ужинали при свете карманного фонарика. Светил немецкий солдат, надоедливый болтливый парень. Он знал с десятков русских слов, и теперь ему представилась возможность продемонстрировать свои таланты.

— Кушай, Иван, много... работай много... Кранке Германия отправляйся. Кедайняй капут. Вор — плохой зольдат. Вор много стреляй пах-пах... — Немец поднял автомат и показал, что они с ворами делают.

Долго болтал немец, коверкая русские слова. Из всей этой тарбарщины Сократилин выбрал главное. Во-первых, пленных кормят объедками потому, что завтра опять они будут таскать раненых. Вероятно, их будут отправлять в Германию. Сообщению немца, что под Кедайняем наши войска разбиты, Сократилину верить не хотелось. А когда солдат стал уверять, что немцы

уважают русских и всегда будут уважать, если русские будут вести себя так, как хотят они, немцы, у Богдана сжались кулаки, но он сдержал себя и попросил солдата принести воды.

Тот долго не понимал, чего от него хочет пленный, а когда наконец уразумел, похлопал Сократилина по плечу, назвал «хорошим зольдатом» и, уходя, пожелал ему спокойной ночи.

Сократилин вытащил из кармана кiset, потряс над ладонью, набрал с десяток табачных крупинок, положил на язык, пожевал и сплюнул.

— Я мальчонкой все капустный лист курил,— сказал Никитин.— Эх, брат, дал маху! Надо бы у немца попросить сигаретку. А может, он еще придет? Ведь обещал же воды принести.

Сократилин не ответил. Пить хотелось зверски. Он и табак-то жевал, чтоб заглушить жажду. Теперь же от табака горело во рту. Богдан стал вспоминать, когда он в последний раз пил.

— В ресторане пиво. Пи-во! — прошептал Сократилин.

Он попытался думать о чем-нибудь другом. Стал гадать, поставят или не поставят немцы часового. Нашупал в кармане три копейки, сложил руки пригоршней и потряс: «Если орел — не поставят». Монета пала вверх орлом. Богдан решил гаданье повторить до трех раз. «А что, если падет решка? Лучше погадаю на немца с водой...» Погадал, и монета пала решкой.

«Хоть бы один-единственный глоток, только б рот смочить,— думал Богдан.— Где же этот проклятый немец?» Ни о чем теперь, кроме воды, не думалось.

Прошел час, а может, полтора, а может, и два... Немец не появлялся. Все спали. Гармонщиков храпел, как заузанный конь. Никитин, привалившись к стене, тоже похрапывал. Около него, свернувшись клубком, спал Могилкин. Под потолком маячило грязно-серое пятно.

«Темней-то, наверное, и не будет,— решил Сократилин.— Сейчас самые короткие ночи. Плохо, что они короткие. Очень плохо. Подожду еще с полчаса — и надо будить». Сократилин привалился к Никитину, закрыл глаза, попытался забыться и не смог. Он пошевелил языком. Язык, как рашпиль, потер небо.

— Сухо, так сухо, как в африканской пустыне,— прошептал он.

Потом Богдан сидел, стиснув зубы, и ни о чем не

думал. Казалось, что он уснул. Но он не спал. На него навалилось странное небытие...

Сократилин вдруг встрепенулся, пригладил волосы, застегнул воротник, рука его скользнула по пуговицам и задела медаль.

— Вот уж ни к чему ты здесь,— сказал Богдан Абрамович, снял медаль и сунул в нагрудный карман, потом легонько толкнул локтем Никитина: — Иван!

Никитин поднял голову.

— Пора?

...И сразу все зашевелились, как по команде, словно они и не спали, а только делали вид, что спят.

Сначала надо было перетаскать под окно уголь. Работали быстро, бесшумно. Когда кто-то уронил на пол кусок антрацита, замерли и долго прислушивались. Но такая предосторожность была излишней. Окно котельной выходило в переулок между двух глухих стен школы и каменного сарая.

Могилкин сложил руки, вытянулся, как покойник. Его подняли, нацелили головой на дыру и стали потихоньку пихать.

— Ну как? — шепотом спросил Гармонщиков.

— Ничего, подается. Уши малость мешают.

— А что делать?

— Вытерплю. Да толкайте же! — И все поняли, что Могилкину больно, ужасно больно. Поднажали — Могилкин охнул. Теперь уже надо было пихать Могилкина, и пихать как можно быстрее. Он вывалился из дыры, как полено...

— Не сломал бы себе шею,— с тревогой заметил Никитин.

Но Могилкин не сломал себе шею. Он вообще ничего не сломал. Через минуту они услышали его голос:

— Порядок. Тихо. Туман. Давайте лом!

... Над селом висел густейший предрассветный туман. Дома, деревья с трудом проглядывались. Из котельной они попали в школьный сад. Сократилин упал на землю и стал облизывать мокрые листья. Из сада выбрались на картофельное поле, согнувшись бежали по нему. Поле кончилось, и они уткнулись в ограду, забранную плотным тыном. Пошли вдоль забора, миновали бревенчатую стену хлева и очутились на улице, где стояла колонна грузовых машин. Около машин, завернувшись в брезент, спали солдаты. Немцы были так от них близко, что Сократилин разглядел часового. Он, свесив на грудь голову, сидел на подножке кабины.

Повернули назад, и опять бежали вдоль тынного забора, по картофелю, и опять уткнулись в забор, но уже из частокола. И тут рядом, сбоку, закричал петух. Это было так неожиданно, что Сократилин присел и услышал стук собственного сердца. Богдан зажал его рукой. А потом петухи заголосили со всех сторон.

Под утро туман еще больше сгустился. В какую бы сторону они ни поворачивали, везде были заборы. Перелезли через плетень, растоптали огуречные гряды, уперлись в стену дома и услышали немецкий говор. Бросились назад.

...Сократилин полз наугад по капустным грядкам, попал в горох. Пожевав гороха, пополз дальше. Его кто-то нагонял. Он оглянулся и не узнал кто. Богдан извивался как уж, использовал каждую канавку с ямкой, удивлялся, какой он все-таки гибкий, проворный, и радовался, что земной шар не такой гладкий и ровный, как школьный глобус. Раздвинув тын, Сократилин скатился в овражек. Овражек был мелкий, и на дне его тек ручеек. Сократилин припал к нему и стал торопливо глотать тепловатую, пахнущую гнилью воду. Руки у него по локти увязли в грязи. Но Сократилин ничего не чувствовал, а только пил, пил и пил... Когда же он оторвался от ручья, то увидел рядом Левцова с Могилкиным. Около них стояла огромная собака. Может быть, она и не была такой большой, но Богдану она показалась огромной.

— Пшла прочь! — зашипел на собаку Могилкин.

Левцов сгреб горсть грязи, швырнул в собаку и, видимо, попал ей в морду. Собака фыркнула, лениво потряхала по овражку и утонула в тумане. Втроем они выбрались из оврага. Куда? Этого они не знали. Бежали, согнувшись в три погибели, в ушах звенело, глаза горели. Опять ползали по огородам. Сократилину казалось, что он ползает целую вечность и будет всю жизнь ползать и никогда не выберется из плена этих проклятых заборов. Наконец он выполз на дорогу, пересек ее и оказался на полянке с мелкой травкой. Он приподнялся, огляделся и затрясся, обливаясь холодным потом. Он увидел танк. Но какой? Наш трехбашенный, тот самый, который немцы облили бензином и сожгли. Значит, они, исколесив огороды, опять попали на площадь к школе. Богдан оглянулся. Сзади лежали Левцов с Могилкиным.

— Что будем делать, старшина? — шепотом спросил Левцов и вытащил из кармана пистолет.

Что делать? Да разве знал старшина Сократилин, что делать? Правда, он мог теперь ориентироваться. Надо подаваться влево и только влево, на восток, там спасение. Сквозь туман он увидел малиновую полоску рассвета. Но как теперь туда пробраться? Сколько потеряно времени, сколько напрасного труда! А итог: они лежат на лобном месте. Не дай бог, подует ветерок! А он обязательно подует, этот предательский утренний ветерок, и сдернет с них спасительное туманное покрывало.

Сократилин разглядел силуэт другого танка и пополз к нему. Пока он не был уверен, что именно там его спасение. Но какое-то шестое чувство подсказывало: «Давай, Богдан, давай. Это и есть то самое, что тебе надо».

И оно не обмануло Богдана. Это был БТ-7, который немцы ради забавы гоняли по площади. Передний люк был открыт. Исправен ли он, есть ли в баках горючее? Над этими вопросами раздумывать не было времени. В школе хлопнула дверь. И она словно бы подстегнула Сократилина...

Богдан крепко сжимал рычаги фрикционов. Сзади, за спиной, прерывисто дышали Левцов с Могилкиным. Как они попали в машину, Сократилин не видел и не слышал. Но очень обрадовался, что они здесь, с ним. Сократилин отлично знал «бэтэшку» и любил эту юркую быстроходную машину. Руки у него дрожали, но не от страха, нет. Чего теперь ему бояться? Он почему-то был уверен, что машина его не подведет: она заведется, и заведется сразу, как только он нажмет кнопку стартера. Руки у него дрожали от нетерпения.

Богдан закрыл глаза и выжал педаль главного фрикциона.

Визг стартера, оглушительная стрельба выхлопных труб, лязг гусениц — все смешалось. Танк рванулся, перескочил кювет, как соломинку, сломал молодой тополек, и его затрясло на булыжной дороге.

«Осторожно, Богдан», — приказал себе Сократилин и в ту же секунду ударил в грузовик. Он занимал полдороги. Кузов грузовика отделился от кабины и опрокинулся. Теперь промедление было действительно смерти подобно.

Сократилин выжимал из машины все, что только можно было выжать. Давно осталось позади село, немцы, стрелявшие по танку из автоматов.

Левцов во всю глотку ревел: «Броня крепка!..», Могилкин кричал что-то непонятное. Они мчались на вос-

ток! И солнце уже всходило, огромное, раскаленное, плоское. И туман, смешиваясь с дорожной пылью, клубился.

С шоссе свернули на грунтовую дорогу. Машину теперь не трясло, и она бежала, покачиваясь, мягко шлепая траками.

Левцов с Могилкиным уселись на башне, свесив в люк ноги. Им было немножко холодно. Солнце с каждой минутой желтело, поднималось все выше и выше. Туман редел, рвался на клочья, забивался в ямки, ложбины и там таял. Подул ветерок, и все вдруг заблестело, засверкало, заиграло. Небо бездонно синее, пестрые крестьянские поля. Рожь уже выталкивает из своих зеленых трубок серые колоски, узкими полосками белеет гречиха, и клевер уже покраснел.

Дорога нырнула в балку, из балки — на холм. Проехали луг, он цвел вовсю и уже подсыхал. Потом потянулся кустарник, кустарник сменил сырой и угрюмый лес из осины, хилой березы да ольхи с крушиной и непролазною ивняка.

Дорогу пересекла быстрая каменистая речушка. Переехав ее вброд, Сократилин заглушил мотор. Попили, помылись и поехали дальше. Лес кончился внезапно, и Сократилин резко посадил «бэтэшку» на тормоза. И вовремя. Еще секунда, и танк свалился бы в глубокую воронку. На краю воронки стоял, скособочившись, немецкий танк с поникшей пушкой и настезь распахнутыми люками. А метрах в пятидесяти от него они увидели батарею 122-миллиметровых орудий. Батарея, видимо, только что заняла позицию, приготовилась к бою и не сделала ни одного выстрела. Ящиков со снарядами — штабель, и ни одной стреляной гильзы. И только у одного орудия сбита головка панорамы. Труп артиллера лежал поперек станины, свесив до земли голову и руки.

— А почему бросили пушки? — спросил Могилкин. — Совсем новехонькие — и бросили!

— Интересно, что здесь произошло? — сказал Богдан.

Впрочем, было над чем задуматься. Один раскуроченный вражеский танк, один убитый красноармеец, одна воронка, исправная батарея и штабель боеприпасов... Что здесь случилось? Кто подбил танк? Ведь наши пушки повернуты в обратную от танка сторону. «Наверное, это его бомбой, — подумал Сократилин. — А кто бросил эту бомбу? Наши или немцы?»

Разгадывать эту задачу не было времени. Пока тихо, пока не видно немцев, надо спешить. Проехав заросшую бредняком опушку, танк выскочил на широкое, залитое гудроном шоссе.

— Эх и дорожка! — воскликнул Сократилин. — Снять бы гусеницы и на колесах рвануть. Километров восемьдесят бы дал.

— В час? — удивился Могилкин. — Неужто можно?

— В чем дело? Давай снимем!

Сократилин насмешливо посмотрел на Левцова и покачал головой.

— Ты думаешь так весь день ехать?

— А почему бы и нет?

— Да ну тебя... — Богдан потянул на себя рычаг.

Минут десять они катили с ветерком. Потом появились немецкие самолеты. Они шли клином, занимая полнеба.

— Воздух! Стервятники! — заревел Могилкин.

Сократилин остановил машину, посмотрел, а потом резко свернул на льняное поле. Танк газовал. Место здесь было и рыхлое и сыроватое. Машина выла, окутываясь черным дымом, но упорно ползла к лесу, вытягивая за собой две глубокие борозды. В лесу Сократилин долго вилял между деревьями и в конце концов загнал танк в густой малинник.

— Здесь будем сидеть до ночи. А ночью попытаемся прорваться к своим, — решительно заявил Сократилин.

— Опять на танке? — спросил Могилкин.

— Конечно... Если хотите остаться со мной — машину замаскировать. И следы тоже замаскировать, — сказал Богдан, и сказал так, что Могилкин с Левцовым переглянулись. Это уже была не просьба, а приказ. Левцов вынул из кармана пистолет, пересчитал патроны.

— Пять штук, — доложил он. Расстегнул воротник, почесал шею. — А может, лучше без машины, старшина? Ну ее к бесу. Разве на танке пробьемся? А на своих двоих по кустикам, канавкам, где мышкой, где червячком. Ведь так-то надежнее будет. Верно я говорю, Могилкин?

— Конечно. На танке нам в жисть не пробиться. Такая махина, и грохоту на сто верст.

Черная неблагодарность «экипажа» возмутила Сократилина. И он с большим трудом сдержал себя, чтоб не раскричаться.

— Я машину не брошу. Она помогла мне выбраться

из плена. Да и вам, кажется, тоже. У меня есть пушка, снаряды, пулемет...

— Немного снарядов-то: всего пять штук. А пулемет испорчен, и патронов к нему нет,— грустно сообщил Могилкин.

— Можете уходить. Я вас не держу! — резко бросил Сократилин, подошел к ольхе, согнул ее, навалился животом, сломал и бросил на машину. Левцов с Могилкиным тоже стали ломать кустарник и заваливать им танк. Потом замаскировали следы гусениц. Левцов с Могилкиным работали усердно, и Богдан решил, что ребята останутся. Но они не остались. Пожелали старшие всех благ и ушли не оглядываясь. Сократилин посетовал на человеческую неблагодарность и, чтоб заглушить тоску, решил заняться каким-нибудь делом. Замерил горячее с маслом. Бензину оставалось километров на тридцать, масла тоже было достаточно. Кое-что подрегулировал, кое-что подтянул, почистил. Попытался наладить «дегтярева». Но пулемет просто надо было выбросить.

Богдан выбрался из танка и лег под кудрявый ореховый куст. Он лежал на спине и глядел сквозь густую листву в синеватую пропасть неба. Солнце еще не жгло, а только начинало припекать. Под кустом было сыро и прохладно. На небе кое-где стояли сугробистые облака. Далеко за лесом гремело и ухало, а справа, где проходило шоссе, неумолчно гудело и лязгало.

— Идут, идут и идут,— шептал Сократилин. И вдруг сон, глубокий, будто сама смерть, внезапно свалил Богдана, и он, как сухой лист, полетел в изумрудную пустоту неба.

Когда Сократилин проснулся и увидел Левцова с Могилкиным, от удивления у него закружилась голова.

«Сплю я еще, что ль? — спросил он себя.— Ведь они ушли, хорошо помню, что ушли. А может, все это мне приснилось?»

Левцов, разбросав руки, с разинутым ртом лежал на спине. Могилкин на крохотном огоньке смолил цыпленка.

— Могилкин? — тихо позвал Сократилин.

Тот поднял голову, и лицо его расплзлось в широкой улыбке.

— Проснулись, товарищ старшина?

Богдан засмеялся:

— Живой, настоящий Могилкин. Это хорошо! Только фамилия у тебя не очень веселая. Могилкин!

— Да уж какая есть, товарищ старшина.

— А звать-то тебя как? Сколько времени знакомы, а как звать друг друга, не знаем.

— Ромашка,— заулыбался Могилкин,— а по документам Роман Степанович.

— Ромашка. Красивое имя.— Богдан встал, потянулся.— Теперь ты мне поясни, Роман Степанович, откуда вы взялись. Ведь ты с Левцовым ушел.

— Мало ли что бывает, товарищ старшина. Сначала уходят, потом опять приходят. Такова наша жисть,— глубокомысленно изрек Могилкин и принялся скоблить ногтем цыпленка.

Все, что сказал Могилкин, показалось Сократилину необыкновенно умным и человечным. Ему хотелось обнять Могилкина, поцеловать его и сказать ему, что он очень хороший человек и что он, Сократилин, его очень любит. Но Сократилин почему-то устыдился своей милостливой нежности и грубовато спросил:

— А долго ли я спал, Могилкин?

— Порядочно. Солнце-то было там.— И Могилкин показал, где раньше было солнце.— А теперь с обратной стороны светит.

— Ого, ничего себе врезал! Часов восемь. А чего же ты меня не разбудил?!

— А я тоже спал. Как пришли, так и завалился. А Левцов караулил и курчонка щипал. Потом он разбудил меня. Теперь я караулю и курчонка смолю.

— Ясно! — Богдан потянулся, и суставы затрещали так, как будто они были деревянные.— Эх, испытать бы!

Оказалось, что Левцов с Могилкиным распорядились и насчет водички. В тени под кустом можжевельника стояло ржавое и измятое до безобразия ведро с водой.

Богдан попил, сполоснул лицо, помочил голову и подсел к огоньку. Могилкин потрошил цыпленка. Ножа у него не было, и он орудовал гвоздем. Где Могилкин нашел гвоздь, Сократилин не стал спрашивать.

— Эх, закурить бы, Роман Степанович,— сказал Сократилин, совсем не рассчитывая на табак.

— Есть и закурить, товарищ старшина,— степенно ответил Роман Степанович.— Махорочка гродненская «Не переведи дух».— Могилкин вытащил из кармана горсть зеленого самосада.— У Левцова тоже столько.

— Да где же это вы все раздобыли?! — воскликнул Сократилин. С того момента, как проснулся, он только и делал, что удивлялся.

— А там... На хуторе... Мужик дал.

— Какой мужик?

— Такой, как и все. Добрый мужик попался. Каравай хлеба дал. Сала не пожалел.

Могилкин сбегал к танку и принес ковригу хлеба и кусок сала. По цвету и твердости шпик не уступал ольховому полену, и пахло от него свечкой.

— Такого я бы тоже не пожалел,— сказал Сократилин.

— Ужас крепкое — не укусишь. Надо топором или пилой, а ножом не взять. В общем, с салом гиблое дело,— мрачно подтвердил Могилкин.

— И цыпленка он вам тоже дал? — как бы между прочим спросил Богдан.

Вопрос Сократилина насмешил Могилкина.

— Ну да! Дал, как же! Сами пымали там около хутора.— Могилкин с презрением посмотрел на цыпленка.— Был бы курчонок, а то одно недоразумение. Воробей больше.— Он подкинул в огонь сушняка, проткнул цыпленка гвоздем, насадил на палку.

— А соль есть?

— А вон,— Могилкин показал на сало,— поскреби, и будет соль.

— Ты, брат, не пропадешь. Практичный парень. Деревня-матушка таких ребят и производит на свет,— с удовольствием отметил Богдан.

Могилкин коптил на огне цыпленка. Он был так поглощен этим делом, что не замечал, что старшина внимательно разглядывает его уши. Они были бордовые; плотной коркой запеклась на них кровь.

— Ничего себе,— вздохнул Сократилин, опрокинулся на спину, подложил под голову руки. Он смотрел в зеленоватое небо и прислушивался к отдаленному гулу пушечной канонады. Она то затихала, то начинала греметь с еще большей силой. А по гудроновому шоссе катилась на восток немецкая техника. Враг шел уверенно, с песнями, как к себе домой. Богдан Аврамович невесело усмехнулся: — А мы действительно домой — и краду-чись, как воры.

Он посмотрел на Могилкина:

— А вы почему вернулись?

Могилкин ответил так, как будто этот вопрос был совершенно излишним:

— Лес кончился. А там, за хутором, деревня и немцев тьма-тьмушая.

— Вы на них напоролись?

— Да нет! Мужик сказал. Он грит: «Днем не пройти — надо ночью». А Левцов грит: «Тогда уж лучше на танке».

Поужинали: съели хлеб с цыпленком и попили сырой водички. Что делать? Пока дождешься глухой ночи, глаза опухнут. Сократилин решил обучить свой «экипаж» стрельбе из пушки. Времени у них было с избытком, и Богдан, пользуясь случаем, прочитал им лекцию не только о пушке, но и о танке.

Левцов с Могилкиным узнали для себя много нового и даже интересного. Например: танк БТ-7 все время, начиная с 1931 года, модернизировался и усовершенствовался. За это время броня его увеличилась на семь миллиметров. Могилкин, закатив под лоб глаза, быстро подсчитал:

— Каждый год по одному миллиметру.

— Да где ж по миллиметру? Меньше. По ноль целых и семь десятых,— уточнил Левцов. В математике он был явно сильнее Могилкина.

Сообщение Сократилина, что на танке стоит авиационный мотор М-17 V-образной формы, как молотом ударило Могилкина по голове. У него и рот открылся от удивления. Левцов же ничему не удивлялся. Он слушал с таким видом, как будто это все ему не только давно известно, но и давно надоело. В сравнении с Могилкиным он был профессором. И не без оснований. Что имел за своей спиной Могилкин? Четыре класса сельской школы, четыре года работы в МТС прицепщиком на тракторе НАТИ и четыре месяца службы в пехотном полку. Жизненный багаж Ричарда Левцова был значительно тяжелее и солиднее. Восемь с половиной классов средней школы, два года условных за хулиганство и полтора года службы в армии.

— Теперь переходим к огневой силе танка БТ-7,— объявил Сократилин и строго посмотрел на Могилкина: — Товарищ Могилкин, отойдите от матчасти, чтоб всем было видно.

— Чего? — не понял Могилкин.

— Руку убери с казенника пушки,— сказал Богдан, который, совершенно не замечая, держал себя точь-в-точь как преподаватель полковой школы.— Так вот, товарищи курсанты... то бишь, тьфу,— он махнул рукой,— бойцы... Тему о пулемете Дегтярева мы сегодня опустим, поскольку он сломан и никуда не годится. Начнем прямо с пушки.— Богдан постучал по казеннику ольховой палочкой и продолжал. Разумеется, не обо-

шло без истории. «Экипаж» узнал, что раньше в «бэтшке» стояла 37-миллиметровая пушка и наводилась она в цель вручную с помощью плечевого упора.

— Теперь стоит сорокапятка с оптическим прицелом и специальными механизмами,— сообщил Богдан и показал эти механизмы: — Вот это колесико с ручкой служит для вертикальной наводки, а это — для горизонтальной. Понятно, товарищ Могилкин?

Слова «горизонтальная и вертикальная наводка» для Могилкина были новейшими. Они упоминались в боевом уставе. Могилкин же за четыре месяца службы познакомился только с уставом внутренней службы, и то с разделом «Права и обязанности дневального». С боевым уставом не успел — война помешала.

Тему о прицеле Сократилин тоже опустил, так как он был сломан, и сразу же перешел к пушке. Сообщение Сократилина, что сорокапятка способна пробивать броню всех капиталистических танков, насмешило Левцова.

— С помощью подкалиберного снаряда,— уточнил Богдан.

— Ну тогда другое дело.— И Левцов понимающе кивнул головой. О подкалиберном снаряде он услышал впервые. Но ведь непонятное всегда вызывает если уж не страх, то уважение. Коротко пояснив, для чего служат ствол с казенником и затвор с ударным механизмом, Сократилин перешел к практическим занятиям. К явному удовольствию Богдана, «экипаж» проявил не только рвение, но и незаурядные способности. В какие-нибудь полчаса Левцов с Могилкиным научились через канал ствола наводить сорокапятку в цель, заряжать и отдавать команды.

— Оружие готово! — кричал Могилкин.

— Огонь! — отвечал Левцов и лягнул затвором.

Сократилин оказался командиром требовательным, суровым, он гонял свой экипаж без отдыха и перекура и довел его действия почти до полнейшего автоматизма. Закончил учение Сократилин словами:

— Тяжело в учении — легко в бою.

Убили не больше двух часов. Покурили. Помолчали. Потом вспомнили свой побег из кочегарки, ребят, которых растеряли, заплутавшись на задворках села. Могилкин с Левцовым заспорили. Один утверждал, что их поймали, другой — обратное. Однако спор был ленивый и кончился тем, что каждый остался при своем мнении.

— А что это у тебя за имя такое — Ричард? Уж очень нерусское,— спросил Сократилин.

— Английское. Королевской династии,— не без гордости ответил Левцов.— Родители дали. Я же по происхождению аристократ. Отец был ученый, а матушка — чистая аристократка из дворян...

— Врешь! — сказал Могилкин.— В кого же ты такой забубенный родился?

Левцов завернул самокрутку с оглоблю, закурил и выпустил дым прямо в рот Могилкину.

— Так вот. До седьмого класса я был настоящим аристократом. С таким дерьмом, как ты, я тогда и не разговаривал. Все мальчишки во дворе нашего дома, по уверению моей матушки, были воры и бандиты. Мне даже смотреть на них запрещали. Я и в школу ходил не так, как все,— меня каждый день отвозили и привозили... А дома учили английской езде на лошади, французскому языку... Тужюр... бонжюр... и прочее...— Левцов выругался и опустил голову.

Сократилин тоже свернул сигарку и, прикуривая от самокрутки Левцова, спросил:

— Ну а потом?

— Потом батьку свезли на кладбище и поставили ему памятник. И я почувствовал себя свободным гражданином республики. И решил наверстать упущенные веселые детские годы. Ребята нашего двора эту науку проходили постепенно, закаляясь. Я же решил сразу... Перво-наперво плюнул на школу и завел голубей...

Потом Левцов рассказал, как его судили за то, что привязал проволокой к стоявшей грузовой машине пивной ларек.

— Ничего... Все это глупость, телячья глупость. Война все спишет,— мрачно изрек Левцов.

— Конечно... Наверняка спишет!

Вечерело. Небо очистилось, темнело. Облака грудилась у горизонта, около заходящего солнца. Высоко-высоко прошло звено немецких бомбардировщиков. В лесу сгущались тени. Ореховый куст на глазах превращался в бесформенную серую кучу. Потянуло сыростью, и сразу стало неприятно и зябко.

— Опять будет туман. Вот увидите,— авторитетно заявил Могилкин.

— Дай-то бог. Чего ж еще желать лучшего.— Богдан затоптал каблуком окурок и сказал, что, пока светло, надо поискать выезд из леса на шоссе.

Искать выезд пошли Сократилин с Левцовым. Могилкин остался в машине. Продрались сквозь густой, мокрый от росы кустарник и попали на заросшую доро-

гу. Идя по ней, спугнули тетерку с выводком. Тетерка ошалело заметалась.

— Ну что ты шумишь, дура? — спросил ее Левцов. — Не до тебя нам теперь, глупая птица.

Дорога свернула влево и минут через пять вывела их на опушку. Перед ними лежало клеверное поле.

— Здесь будем выезжать, — сказал Сократилин.

До шоссе было не больше километра. Сумерки сгустились, но движение на шоссе не затихало. Бежали машины, тарахтели мотоциклы. Сократилин оставил Левцова наблюдать за дорогой, а сам побежал к танку.

На тихом газу вывел на опушку леса «бэтэшку». Стали ждать, когда стихнет на шоссе движение. «Экипаж» Сократилина приуныл, да и сам он не очень-то радовался. Сократилин больше, чем Могилкин с Левцовым, понимал, что прорваться на танке к своим — авантюра из авантюры. На что он рассчитывал? Единственное — на беспечность, глупость врага и русское «авось». Больше ни на что!

«А не лучше ли бросить машину — и пешком? Конечно, лучше».

Богдан решил сказать об этом «экипажу» и сказал, но не то, что думал:

— Может быть, вам, братцы, страшно, тогда валяйте пешком!

Левцов стал закуривать. Он старательно и долго крутил сигарку. Глубоко затянулся и смачно сплюнул крошки самосада:

— Все равно! Помирать — так с грохотом!

— Конечно, — поддержал его Могилкин. — Лучше плохо ехать, чем хорошо идти.

Из-за стоявшего напротив леса выплывала луна, большая, белая, холодная, как ком снега. Движение на шоссе постепенно затихало. Теперь лишь пробегали машины-одиночки.

— Наверное, уже часов двенадцать? — сказал Сократилин. — Подождем еще часик.

— А как мы определим этот часик? — насмешливо спросил Левцов.

— По месяцу, — сказал Могилкин. — Как только отодвинется от той елки на три кулака, так и тронем.

Стали следить за луной. Могилкин отсчитывал кулаки.

— Готово. Как раз три, — объявил он.

— Что-то очень быстро твой час прошел, — заметил Сократилин, усаживаясь за рычаги.

Затарактел мотоцикл. Переждали. Теперь Левцов отсчитывал кулаки. Туман, на который они рассчитывали, так и не сгустился. Он повис над землей прозрачной дымкой. Дальше ждать Богдану стало невмоготу.

— Поехали!

Завели мотор, тронулись, и тут справа над лесом взлетела ракета, лопнув, рассыпалась разноцветными брызгами. Сократилин выругался и, газуя на всю железку, погнался «бэтэшку» к дороге.

Километра четыре ехали без приключений. На полном газу проскочили хутор, занятый немцами. Потом их обогнала грузовая машина... Потом впереди на дороге вспыхнул свет фары. Фара угрожающе приближалась. Сократилин, не сбавляя скорости, гнал танк прямо на нее. Свет слепил глаза. Богдан, сжимая рычаги, мчался на фару. И вдруг свет погас. Сократилин увидел на обочине мотоцикл с коляской. Дальше все случилось помимо его воли и желания. Он даже не помнил, как раздавил мотоцикл. Догадался уже после, когда услышал треск, почувствовал толчок, словно его подбросило на ухабе, и сразу же по ушам стеганул ужасный крик... Богдан машинально заглушил мотор.

Немец дико кричал. Могилкин лежал ничком за башней, зажимая пальцами уши. Сократилин подбежал к мотоциклу. Тот, что сидел в коляске, был еще жив. Гусеница проехала ему по ногам. Немец был не переставая.

Подбежал Левцов.

— Я его сейчас, я его сейчас успокою,— бормотал он, вытаскивая из кармана пистолет. Но пистолет не вытаскивался.— Я его успокою сейчас, как миленького...

Крик оборвался на высокой ноте. И стало тихо, так тихо, что было слышно, как где-то далеко поскрипывает кулик.

Левцов толкнул плечом Сократилина:

— Тихо-то как стало.

Сократилин вздрогнул:

— Что?

— Страшно тихо. Надо драпать,— прошептал Левцов.

— Да, да. Конечно, конечно, поехали,— шепотом ответил Богдан.

— Постой.— Левцов схватил за руку Сократилина и так ее сжал, что тому стало больно.— Кажется, офицера прихлопнули. Смотри, сумка. Возьмем?

— Зачем?

Но Левцов уже протягивал к сумке руку. Сократилина затрясло противной дрожью.

— Брось. Надо его переворачивать. Так не снимешь.

— Снимем,— сквозь зубы процедил Левцов, схватил сумку руками, уперся ногой в труп и оборвал ремешок. Однако на этом он не успокоился. Вытащил из кобуры пистолет. А со спины мертвого водителя стащил автомат. Торопился и выпачкал в крови ремень.

— Да брось ты его.

— Пошел ты...— огрызнулся Левцов и хладнокровно вытер ремень о траву.

«Ну и нервы у парня — как веревки!» — подумал Сократилин.

Хладнокровие и уверенность, с которыми действовал Левцов, постепенно передавались Богдану. Теперь он мог соображать и действовать. А когда он сжал руками рычаги фрикционов, то совсем успокоился.

Животный страх, который нагнал на Богдана своим криком немец, исчез. Но появился другой, разумный. Выдержит ли танк эту сумасшедшую гонку, хватит ли у них горючего? Вот что теперь пугало Сократилина.

Впереди в легкой дымке тумана показалось село с тусклыми желтыми огоньками. Сократилин не только предполагал, но и чувствовал, что село кишит немцами. И отлично сознавал, что идет на безрассудную дерзость. Другого выхода у него не было.

— Впереди село. Попытаемся проскочить. Зарядить пушку! — приказал он.

Дальше события разворачивались, как в скверном детективе. Село оказалось ужасно длинным, с безобразной, тряской булыжной дорогой. Вначале оно было довольно-таки пустынным, а потом «бэтэшка» неслась вдоль колонны грузовиков с высокими кузовами. Грузовики кончились, и машина нырнула в коридор из танков. В конце этого коридора стояла толпа солдат. Грохнул выстрел. Сократилин не понял, кто стрелял. Ему показалось, что стреляли над его головой. Однако после выстрела солдаты словно сквозь землю провалились. И Богдан решил, что их вообще не было, просто это у него от страха в глазах мельтешит.

Он выжимал из машины все, что можно было выжать. Танк ревел, громычал, и все в нем тряслось и брякало — от пушки до последней заклепки, вот-вот он сейчас споткнется и развалится здесь, на дороге. Но пока шло так удачно, что даже не верилось.

Все-таки немцы успели опомниться. В конце села Со-

кратилин увидел их. Они выкатывали на дорогу пушку. Не сбавляя скорости и не сворачивая, Сократилин погнался танк прямо на пушку. Он не слышал криков «экипажа». Он видел только одну пушку, видел ее черный глаз, который метался из стороны в сторону.

«Наводять! Конеч!» — Сократилин на секунду зажмурился, а когда открыл глаза, то увидел бегущих от пушки немцев.

— Нервишки сдали! — прохрипел Богдан, и танк, ударив пушку, опрокинул ее и швырнул на обочину. Все в Сократилине ликовало, пело, смеялось.

— Догоняй! Ищи-свищи!.. — кричал он.

— Ищи-свищи! — ревел «экипаж».

Левцов вылез на башню, размахивал автоматом. Как сумасшедший прыгал Могилкин. Танк бежал и бежал, дробно постукивая по гудрону траками. С обеих сторон дороги бежали навстречу и убегали назад разлапистые серебристые ивы, замшелые березы, между ними мелькали клен с дубом и даже вязы.

— Красивая дорога! — крикнул Богдан.

— Как у нас в деревне! — воскликнул Могилкин.

Сократилин остановился, заглушил мотор.

— Интересно, кто по нас стрелял?

Могилкин захохотал.

— Так это ж мы сами, товарищ старшина. Как вжарили по немчуре! — Перехватив хмурый взгляд Сократилина, Могилкин осекся.

— Идиоты! — рявкнул Сократилин. — Идиоты безмозглые! Кто вам приказал?!

Левцов оскорбился:

— Ты на нас не ори. Сам приказал зарядить.

— Зарядить, а не стрелять, — резко оборвал его Сократилин. — Вы даже не понимаете, что натворили!

— Ничего такого. Подумаешь — разик пульнули, — огрызнулся Могилкин.

Глупейшее оправдание Могилкина возмутило старшину.

— Я-то думаю, почему так всполошились немцы. Оказывается, «пульнули»! Так бы проскочили у них под носом, они даже и не расчихались бы.

— Как же, не расчихались... Нашел дураков. Что они, безглазые?

Богдан мрачно посмотрел на Левцова. Он знал, что спорить с ним — напрасный труд. И все же ему хотелось доказать Левцову, что они совершили пагубную для них глупость.

— Да ты пойми, дурья башка. Теперь всей немецкой армии известно, что у них по тылам шляется советский танк. Погоню, наверное, организовали. А в следующем селе нас встретят как пить дать.

На доводы Сократилина Левцов среагировал по-своему. Он поднял вверх автомат и выпустил длинную очередь.

— Зачем?

Левцов не ответил. Закинул за спину автомат, сел на башню и стал крутить сигарку.

— Ну чего стоим? Поехали. А то и в самом деле догонят. Прости, коль так случилось. Сам виноват, и мы виноваты. Война все спишет! — сказал Левцов, поспешил сигарку и сунул в рот Сократилину.

Богдан закурил, успокоился, и они поехали. Еще километра три дорога была пустынной и гладкой. А потом пошли сплошные безобразия. Первой попалась убитая лошадь. Она валялась в кювете, задрав вверх ноги. Рядом лежала на боку 76-миллиметровая пушка. Повозку со снарядами разнесло в щепы. Кругом валялись гильзы — сплюсненные, рваные. Дорога и обочина ее были усыпаны желтым длинным, как макароны, порохом. Потом почти на каждом метре исковерканной дороги — или пушка, или опрокинутая повозка с военным имуществом, или лошадь с раздувшимся животом.

Сжалось сердце Сократилина, когда он увидел свои танки, все — «бэтэшки». Их, видимо, бомбили и расстреливали в упор. Одни обугленные, у других — сквозные рваные дыры.

Вначале Сократилин подумывал остановиться у какой-нибудь машины и заправиться горючим. Но теперь уже не смог этого сделать. Всем этим Богдан был ошеломлен и подавлен.

Потом километра два дорога была чистой. И опять кюветы, заваленные боеприпасами, повозки с пулеметами, повозки, доверху груженные касками. Глухо прогремела под гусеницей минометная плита. Сожженные, разбитые автомашины. Сколько всего погублено — уму непостижимо!

— Здесь, наверное, целая дивизия накрылась, — сказал Ричард Левцов.

...Сократилин жал на газ, совершенно не думая о том, выдержит ли его машина эту сумасшедшую гонку. Уже солнце проглядывало сквозь сгустившийся пред-рассветный туман. Пора уже было сворачивать с дороги в лес. Но по сторонам шоссе тянулись то болота, то

закисшие низины с корявым кустарником, осокой и зарослями кипрея. Но вот дорога стала постепенно подниматься, танк выскочил на бугор, и они увидели сожженный хутор. Он сгорел дотла вместе с жилыми и холодными постройками. Вместе с ними сгорели береза, сад, сруб колодца и четыре грузовые машины. Железные бочки из-под бензина — с вырванными днищами, покрытые махровой окалиной, — валялись повсюду.

Сократилин свернул с дороги в обгоревший сад, сломал чудом уцелевшее прясло забора, растоптал жухлый малинник и покотился по усадьбе хутора. На краю овсяного поля стояла почерневшая ржаная скирда. Проезжая мимо скирды, Сократилин заметил в соломе ребро бочки. Он выскочил из машины, разгреб солому, понюхал.

— Бензин! — крикнул Богдан и, не раздумывая о том, чья это бочка и как она попала в скирду, покотился к машине.

— Есть возможность заправиться, — сказал он.

— А как? Ничего у нас нет, ни ведра, ни кружки.

Сократилин дико посмотрел на Могилкина:

— Было же ведро. Это... мятое, ржавое!

— Там, в лесу, осталось.

— Ух ты шляпа! — простонал Богдан и беспомощно оглянулся.

У скирды стояли рослый рыжебородый литовец и женщина с ребенком на руках. С обеих сторон держались за подол женщины красноголовые девочки.

— Что смотрите? — смущенно спросил Левцов и, не получив ответа, еще больше смутился. — Помогите! Дайте ведро — машину заправить!

Угрюмый взгляд литовца озадачил Сократилина. Но все же он с помощью рук попытался объяснить рыжебородому, что им позарез надо ведро. Литовец посмотрел на жену, что-то ей сказал. Она заговорила быстро и возмущенно. Литовец махнул рукой и ушел за скирду. Вернулся он с ведром и сердито швырнул его к ногам Сократилина.

— Спасибо, — сказал Левцов.

Когда баки танка залили бензином, Сократилин отнес литовцу ведро, поклонился и протянул руку. Литовец что-то пробормотал в ответ.

Танк потащился по рыхлому овсяному полю. Овес набирал силу. Был он темно-зеленый, густой, шелковистый. Легкий ветерок гонял по нему серебристые волны. Сократилину, в душе крестьянину, давить посев

несчастливых погорельцев было так стыдно, что у него горели уши, и Богдан молил бога, чтоб поскорей это поле кончилось.

Наконец танк выехал на едва заметную полевую дорожку. Среди еще зеленых полей она стелилась пестрым половиком — так густо поросла она белой кашкой, золотистой медуницей, лиловым мышиным горошком и васильками. Ехать по такой дорожке было одно удовольствие не только «экипажу», но и самой «бэтэшке». Мотор не надрывался. Он, как старый ворчун, добродушно порывивал. К сожалению, дорога скоро оборвалась на краю кочковатого лога с выжженной солнцем своей колючей травой. На дне лога в ярко-зеленом мхе копошился ручеек. Сократилин направил танк по течению ручейка. Почему? Да просто он не знал, куда ехать!

В небе уже, как челноки, сновали «мессершмитты». Страной проплыли на бомбежку брюхатые «юнкерсы». Кочковатый лог пересекла дорога, тоже полевая, но хорошо накатанная. По ней перебрались через овражек и попали на луг. Пестрый, веселый, он цвел вовсю.

— Покосы здесь на ять! — воскликнул Могилкин.

Восторг Могилкина не тронул Левцова. Городской житель, он был совершенно равнодушен к красотам природы. Да к тому же ему было сейчас не до красот. Левцов усердно обгрызал кусок сала.

— Что ж ты обслюливаешь, как личную собственность? — обиженно сказал Могилкин.

— Не весь. С одного угла, — пробормотал Левцов, сляясь укусить упругую, словно резиновый каблук, свинину.

За лугом «бэтэшка» нырнула в плотный, как стена, кустарник. Дорога здесь была такая, что, если б не искусство водителя, танк застрял бы в этом кустарнике на веки вечные. Но, оказывается, это были только цветочки. Ягодки ждали впереди. Танк заехал в болото. Правда дорогу по болоту литовцы вымостили бревнами. Бревна положили не скрепив, кое-как. Танк полз по ним, как по клавишам. Вдруг Сократилин резко посадил машину на тормоза. Дальше бревен не было.

— Приехали с орехами, — мрачно пошутил Могилкин.

Богдан вылез из машины, измерил разрыв между бревнами.

— Не больше двадцати метров, — сказал он.

— Все, доездились,— усмехнулся Левцов.— Теперь полетим на аэроплане с пропеллером в кармане.

— Пешком никогда не поздно,— возразил Сократилин. Он не хотел бросать машину. Да теперь и стыдно было ее оставлять в болоте. Если бы Левцов или Могилкин спросили Сократилина: «Почему?» — он сказал бы просто: «Пока нам с ней везёт».

— Быстро перетаскивать бревна и подкладывать под гусеницы! — скомандовал Богдан.

Левцов протяжно свистнул.

— Из болота тащить бегемота? А ну ее, старшина, к богу! Поехали на одиннадцатом. У нас автомат, два пистолета.

«А может, в самом деле пешком?..» — подумал Сократилин и посмотрел на Могилкина:

— А ты что скажешь?

Могилкин пожал плечами, поймал на щеке слепня, не спеша раздавил его и наконец изрек свое мнение. Оно было и «за» и «против». Вначале Могилкин заявил, что лучше плохо ехать, чем хорошо идти, а потом — наоборот.

Сократилин укрепился в решении вытащить машину из болота.

— Можете убираться, если у вас хватит совести бросить меня здесь одного. Где бы вы сейчас были, если б не танк? Гниды вы, а не люди! — И, видя, что оскорбление не тронуло «экипаж», добавил: — Плоские гниды.

Могилкин с Левцовым стояли опустив головы. Их жрали слепни с комарами, но они даже не отмахивались. Сократилин притащил бревно, положил его перед машиной, вдавил в мох и стал каблуком загонять под гусеницу. Второе бревно приволок Могилкин. Когда Сократилин отправился за третьим, его остановил Левцов:

— Ладно, старшина, ты укладывай, а мы будем подтаскивать.

«Экипаж», чтоб загладить вину, работал остервенело. Могилкин вымазался в грязи с головы до пят. Мох у него торчал даже из ушей. Левцова одолели комары. Сократилину с Могилкиным тоже от них доставалось, но не так, как Левцову. Он комарам, видимо, нравился больше, и они тучей носились над ним. И когда они уже вылезли из болота и машина бойко катила по молодому веселому березовому леску, усыпанному цветущей земляникой, Левцов все еще не мог успокоиться. Он ругал комаров, войну, себя и Сократилина с Могилкиным.

Остановились перекурить, малость подзаправиться,

послушать, где гудит и ухает. Обкусали со всех сторон сало, покурили.

Гремело и ухало на северо-западе. А прямо и справа было так же тихо и мирно, как и в лесу. Доносилось постукивание дятла, тинькала синица, шлепала листьями беспокойная осина. Взлетел бекас и заверещал, как молодой ягненок.

— Вы думаете, это он горлом? — спросил Могилкин и сам же ответил: — Это он перьями. Перья у него такие.

Никто ему не возразил. Левцов вообще его не слушал. Раскинув ноги, он лежал на спине, пускал в небо сизые кольца дыма и блаженно жмурился. Искусанное комарами лицо теперь не чесалось. Оно слегка позуживало, как будто его ласково щекотали. Сократилин думал: «Сколько теперь времени?» По его подсчетам, в болоте они проторчали часа два, а то и больше.

Солнце подтягивалось к зениту. И деревья на глазах вбирали в себя тени. Ветер замирал. Появившееся было на небе облачко растаяло. День обещал быть знойным, удушливым. А пока в лесу было тепло и уютно. Под зеленой шапкой можжевельника на сморщенном листке манжетки искрилась росинка. И все вокруг торопилось насладиться жизнью и оставить после себя кое-что. Цвела земляника, цвела рябина, и черника цвела с можжевельником. А одуванчик уже отцвел. Из желтой корзинки он превратился в дымчатый пузырь и готовился при попутном ветре разбросать по свету свое бесчисленное потомство.

— Хорошо-то как! — сказал Могилкин. — Как будто и войны не было. Вот так взял бы здесь лег и умер.

Левцов не то плюнул, не то хмыкнул:

— Давай, Могилкин, ложись помирай. А мы посмотрим, как это у тебя получится. Ни разу не видел людей, которые бы по собственной воле помирали.

Могилкин не обиделся. Ему просто стало очень грустно от слов Левцова.

— Жил ты, Левцов, в городе среди камней. Потому-то и сердце у тебя каменное, да и весь ты сам каменный.

Левцов вскочил. Сократилин ждал от Левцова грома, молний и матюков. Но он вдруг стал оправдываться и доказывать, что, наоборот, он добрый, мягкий и порядочный человек и что во всем виноват его невыдержанный характер; а потом пожаловался на свою не очень-то веселую жизнь, на службу в армии и на войну. Богдан хотел ему сказать, что ты, Левцов, еще не воевал, а уже

жалуешься, но, подумав, смолчал. Не потому, что он боялся Левцова, а потому, что не хотелось вызывать его на спор. Богдан терпеть не мог никаких споров — ни умных, ни глупых.

— А долго мы будем догонять своих? — спросил Сократилина Могилкин.

— До Москвы, — выпалил Левцов.

Могилкин обалдело уставился на Левцова:

— Почему же до Москвы?

— Потому, что оканчивается на «у»! — отрезал Левцов и, поняв по мрачному лицу Богдана, что спорол глупость, стал энергично защищать эту глупость. Не обошлось без истории. Начал он с татарских ханов, упомянул поляков с французами.

— Так будет и с немцами. Дойдут они до Москвы, а потом мы начнем наступать.

Левцов удивил Сократилина начитанностью, однако «теория» его Богдану очень не понравилась. Возражать Сократилин не стал и, чтобы прекратить этот, по его мнению, вредный разговор, сердито посмотрел на Левцова и погрозил пальцем:

— Ты не очень-то, умник, профессор кислых щей! Да и вообще хватит трепаться. Надо ехать.

...Березовый лес ненадолго сменил сосновый, потом и дорога пропала. Километра два тащились по окраине горелого урочища. Солнце палило нещадно. Все изнывало от зноя, и вдруг пронзительно засвистел паровой клапан. Остановились, стали ждать, когда остынет вода. Остывала она медленно.

— Ни черта мы не доедем, — сказал Левцов.

— Доедем, ребята, даю вам слово — доедем! — заверил Богдан. — Чепуха, что вода закипела. Обороты сумасшедшие, скорость низкая, никакой вентиляции, да еще эта жарница! — Сократилин убеждал не столько ребят, сколько — в первую очередь — себя. — Пока мотор остывает, вы бы сходили разведали. Может, какую-нибудь дорогу найдете?

Левцов с Могилкиным отправились в разведку. Богдан ждал не без тревоги. Левцову он вовсе не доверял. Почему? Трудно сказать. Видимо, просто не приглянулся парень. Хотя, в сущности, он ничего пока плохого не сделал.

«А может, Могилкин еще хуже... Черт их разберет. Возьмут да и сбегут. А кто их за это осудит? Не привязаны же они к танку», — рассуждал Сократилин.

Но они вернулись и похвастались, что нашли хорошую дорогу.

Прежде чем добрались до дороги, прошло немало времени. Из горелого урочища попали на унылый вязкий лужок. Здесь бы и лошадь с телегой не прошла. А «бэтэшка» прошла. Но как? Об этом надо спросить у бога. Видимо, он им помогал. Зато на ровном месте они промыкались до вечера. Беда их подкараулила в тот момент, когда никто о ней и думать не думал.

Все шло как по маслу. Вырвавшись из трясины, «бэтэшка» ходко бежала по широкой сухой просеке. Могилкин с Левцовым сидели на башне, Сократилин, откинувшись на спинку сиденья и сняв руки с рычагов, блаженствовал. И вдруг машину подбросило. Сократилин схватился за рычаги. Машину понесло вправо. Сократилин зажал левый фрикцион. Танк завертелся волчком.

— Старшина! — заревел Могилкин. — Гусеницу потерял!

Метрах в двадцати от танка сверкала, распластавшись в траве, гусеничная лента. Сократилину стало до слез обидно. Он на минуту расслабился, притупил внимание, и танк, наскочив на пенек, оборвал гусеницу.

— Был бы пень, а то черт знает что! — простонал Богдан.

— Коль не повезет, так не повезет, — сказал Левцов.

— Где тонко, там и рвется, — в унисон ему пропел Могилкин.

Бывалому танкисту натянуть гусеницу легче, чем плюнуть. Был бы для этого натяжной инструмент. Впрочем, и без инструмента натянули бы. Положение усугублялось тем, что надо было выбрасывать испорченный трак и заменять его новым. А где его взять? На танке запасных траков не было. Богдан, вообще не умевший ругаться, да и не любивший это искусство, на этот раз не сдержался и трехэтажным матом обложил бывшего хозяина «бэтэшки».

— Подумать только — не иметь на машине такого дерьма, как траки!

— А может, их немцы растащили, — заметил Могилкин.

— На кой черт они нужны немцам!

— Да, действительно. Не бриллианты же, — сказал Левцов и самодовольно ухмыльнулся: — Теперь-то мы ее наверняка бросим.

— Кого это? — не поняв, спросил Сократилин.

— Душегубку. — И Левцов кивнул на танк.

— Не подумаю.

— Что же ты будешь делать?

— Лопнул рабочий трак, вот этот, с гребнем.— Сократилин носком сапога показал испорченный трак.— Мы его выкинем и поставим подряд два холостых.

— И пойдет? — спросил Могилкин.

— Как миленький. Только бы нам стянуть гусеницу.— Сократилин в упор посмотрел на Левцова.— Попробуем?

Попробовали. Ничего не получилось. Перекурили... Еще четыре раза пробовали, выкурили всю махорку — и все-таки стянули. Но какой ценой! Могилкин посмотрел на свои руки с кровоточащими пальцами и не мог поднять их, чтоб высморкаться. Левцов едва держался на ногах. У Сократилина все ломило, словно его тело протаскивали сквозь мялку. «Как же я поведу машину?» — с ужасом подумал Богдан. А вести ее теперь было намного сложнее. Правая гусеница натянулась, как струна, и даже гудела, а левая — провисла. Там тоже надо было выбрасывать трак. Но и под дулом пушки они б на это теперь не согласились.

Вечерело. Просеку пересекли густые длинные тени. Поехали. Танк все время заносило влево. Сократилин ни на секунду не выпускал из рук рычагов. Наконец выбрались на дорогу.

Солнце уже село, когда дорога вывела их к мосту через речку с темной, как густо заваренный чай, водой. В низких берегах реки засел густой тростник с камышом, а вода заросла желтоголовой кувшинкой. На том берегу две старые ивы, низко склонившись, разглядывали в воде свои корявые, скрюченные ветви. Деревянный горбатенький мост был, видимо, построен до первой мировой войны, да и то на скорую руку. У моста даже были тоненькие перильца. А для чего — неизвестно. Скорее всего, для красоты. Они были настолько ветхи, что их, наверное, облетали даже мухи.

Сократилин спустился под мост. Середину моста поддерживали два столба, почему-то даже нескрепленные. Прошлись по мосту, потопали. Левцов прыгнул. Мост покачнулся, но ничего, устоял.

— Ну что ты скажешь, старшина, про этот чудомост? — спросил Левцов.

— Хреново наше дело, Ричард Львиное Сердце.— Богдан потрогал на гимнастерке Левцова пуговицу, повертел ее.— А может, попробуем?

— С ума сошел! Он же на соплях.

Богдан вздохнул:

— Конечно. А все-таки? Ведь чего мы только не пережили! И теперь бросать просто так исправную машину обидно. Я все-таки попробую.

— А если провалишься?

— Наверное, вылезу. Речка-то вшивая.

— Не проскочить. А впрочем,— Левцов взял Сократилина за руки, пожал их,— давай, старшина!

— Правильно. Или пан, или пропал,— сказал Могилкин.

В машине остался один Сократилин. Левцов с Могилкиным перешли мост и наблюдали за Сократилиным с противоположного берега. Богдан решил проскочить мост на бешеной скорости. И чтоб иметь разбег, далеко отъехал назад. Реку и мост спеленали серые сумерки. Темным пятном маячил танк. И было очень тихо.

Тишину разорвал рев мотора. Танк ринулся к мосту. Могилкин не понял, кто застонал: Левцов ли, мост ли, или он сам. Но он очень хорошо слышал стон и видел, как мост повело вправо, потом влево, потом его изогнуло, как резиновый. Могилкину стало до ужаса страшно. Он закрыл глаза и сквозь рев мотора услышал сначала слабый треск, а потом грохот. Все смешалось — и рев, и треск, и грохот. Могилкин открыл глаза и в пяти метрах от себя увидел открытый люк танка и белое, как бумага, лицо Сократилина.

— Переехал? — прошептал Могилкин.

— А мост? Цел мост? — шепотом спросил Богдан.

— Хана мосту! Как не бывало! Один столб торчит, — сказал Левцов, снял пилотку, помял ее и опять напялил на макушку. — Ну, брат... Такое и в кино не покажут. Молодец. Какой же ты молодчина, старшина, и сам не понимаешь!

Могилкину тоже хотелось похвалить Сократилина, но у него не находилось подходящих слов.

— Вот здорово! А я-то напугался! — сквозь слезы выдавил Могилкин и вытер рукавом гимнастерки глаза.

Похвалу «экипажа» Богдан принял как должное и самодовольно ухмыльнулся:

— Это что... Не в таких переплетах бывали... Ну что ж, поехали! — бодро сказал он, а про себя подумал: «Боже мой, когда это все кончится?»

Богдану страшно было разогнуть спину, пошевелить рукой. Когда он сидел без движения, то не чувствовал своего тела. Но стоило только пошевелиться, тело начало медленно, тупо ныть, словно под невероятной тя-

жестью. Особенно Сократилина мучили руки. Их как будто раздавили.

«А может быть, здесь остановиться и переночевать? — Но сразу же прогнал эту заманчивую думку. — Поеду и буду ехать, пока не сдохну», — решил Сократилин, протянул руку к рычагам, осторожно обнял рукоятки, переждал, пока притупится в запястье острая боль, потянул на себя и нажал педаль главного фрикциона. За мостом дорога принялась вилять. Она то ныряла в лес, петляла меж деревьев, то бросалась в кусты, то опять выпрямлялась, хорошела. И тогда напряжение ослабевало, и Сократилин забывался.

«Да сплю я, что ль?» — спохватывался Богдан и мотал головой.

Могилкин с Левцовым сидели в танке. Сократилин их окликнул. Они не ответили. «Спят, черти!»

«Бэтэшка» пошлепывала траками по прелой листве. По бокам проплывали темные кучи кустов. Сократилин впал в забытье. Сколько он так ехал? Может, минуту, а может, и двадцать. Только когда он очнулся, не увидел дороги. Танк полз по какому-то полю. Сократилин даже не понял, где он и что с ним происходит, и опять куда-то провалился...

Сквозь сон Богдан услышал тонкий протяжный голос:

— Эй-а-а-а!

Окончательно пришел в себя Сократилин, когда раздался выстрел. Ему показалось, что лопнул шестидюймовый снаряд, хотя это был обычный винтовочный выстрел. Сократилин вздрогнул, помотал головой и резко дернул на себя рычаги. Танк остановился. Кто-то подбежал к люку и, просунув дуло винтовки, закричал:

— Куда прешься, баран! Не видишь — огневая позиция?!

— Свои... Боже мой, свои! — Сократилин засмеялся и опустил руки.

Он все слышал, все понимал. Он слышал, как еще кто-то подбежал к танку и как тот, первый, с возмущением говорил подбежавшему:

— Товарищ лейтенант, этот дерьмовый танкист чуть не распахал нашу батарею. Я ему кричу: «Куда прешь?!» А он знай себе прет.

Потом кто-то третий поносил танкистов за то, что они совсем обнаглели и вчера на дороге столкнули в канаву его пушку. Потом Сократилин узнал голос Левцова. Левцов кричал, что они бежали из плена, столь-

ко всего натерпелись и теперь их так-то вот встречают. Примерно то же говорил и Могилкин. Богдан слышал даже, как Левцов хвастался трофейным оружием, сумкой, которую они взяли у немецкого офицера, уверял, что в этой сумке ужасно важные документы, и требовал, чтоб их сейчас же отправили в штаб к самому генералу.

Все слышал Сократилин и все понимал, но вылезти из машины и доказывать, что он не верблюд, у Богдана не было ни сил, ни желания. Кто-то протянул в люк руку, взял Сократилина за плечо и стал трясти. Сократилин поднял голову, увидел фуражку и петлицы с двумя кубарями.

— Старшина, вы можете вести машину? Здесь недалеко. Я пойду впереди, а вы за мной поедете.

Сократилин утвердительно кивнул головой. И он повел танк, и повел хорошо, и сам удивлялся, как это у него ловко получается.

Лейтенант привел танк не то к дому, не то к сараю, сказал «экипажу»:

— Подождите здесь.

И ушел. А когда вернулся, Сократилин спал глубоким, спокойным сном. Его пытались будить, он не проснулся.

Рассказ второй, записанный со слов Богдана Аврамовича вечером того же дня

Танк Богдана Сократилина вышел из окружения на участке, где занимал оборону пехотный полк соседней 11-й армии. Командир полка, узнав, что танк беспрепятственно прошел через огневые позиции, страшно ругался и в тот же день отправил Сократилина с «экипажем» в штаб армии. В штабе армии Богдана обласкали, пообещали представить к награде и приказали немедленно отбыть в распоряжение командира 3-й танковой дивизии.

Дивизию, в которую попал Сократилин, в тот же день бросили защищать Двинск. События развертывались так стремительно, что Богдану некогда было даже сменить свой «экипаж». Так неожиданно и помимо своей воли и желания Левцов с Могилкиным стали танкистами. А Сократилин выполнял сразу две должности — и водителя и командира машины.

Но уже было поздно защищать Двинск. Немцы с ходу форсировали Западную Двину и захватили город.

Дивизия получила новый и еще более трудный приказ: отбить Двинск и отбросить немцев на западный берег реки. Всю неделю пыталась она выполнить этот приказ и не выполнила. За это время противник подтянул свежие силы, ударил, и дивизия, не останавливаясь, покатилась на восток.

Сократилин и оглянуться не успел, как оказался на берегу Чудского озера, у белокаменных стен города Пскова. Тут дивизии приказали остановиться намертво и любой ценой удержать город. Потрепанный танковый батальон, в котором находился Богдан, для отражения атак противника занял позицию за железнодорожной насыпью. Две атаки они отбили. Потом на них навалились «юнкеры» и целый час долбили их.

...Три машины неожиданно отъехали от насыпи, развернулись и устремились к городу.

«Наверное, приказ отходить»,— решил Сократилин и тоже отъехал от насыпи и стал разворачиваться. И тут он увидел перед своим люком комбата. Зверь зверем! Лицо темное, зубы оскалены, в руке пистолет.

— Куда?! Назад! Застрелю труса!

И застрелил бы, но не успел. Взрыв бомбы отбросил комбата от люка.

Сократилин оглох. Он рвал рычаги. Мотор ревел, а танк боком прижимало к насыпи. Богдан выскочил из машины и схватил себя за голову. С правой стороны не было ни гусеницы, ни ведущего колеса. Поодаль, скорчившись, лежал комбат и руками зажимал разорванный живот. Подбежали Могилкин с Левцовым.

— Кажется, готов,— сказал Левцов.

Могилкин наклонился над комбатом, потрогал пальцами лоб.

— Дышит еще.

— Все равно не выживет.

Сократилин уставился на Левцова:

— Что вы говорите, я ничего не слышу!

— Комбат кончается! — закричал Могилкин.

Сократилин побежал. Он и сам не знал, куда бежит и зачем бежит. Он бежал вдоль насыпи, мимо разбитых танков. Наконец он наткнулся на уцелевшую машину. Сократилин забарабанил по люку кулаками. Механик открыл люк.

— Комбат кончается! — закричал Богдан. — Чего рот разинул?! Спасать надо! — Сократилин рукой показал туда, где умирал комбат.

Но он уже был мертв. Они затащили тело комбата

на танк, накрыли шинелью и поехали в Псков на виду немецких танков, которые, стреляя, приближались к железной дороге.

С потерей машины закончилась и служба Богдана в танковых войсках. С неделю он с «экипажем» проболтался при штабе своей бригады, которая ничего не имела теперь, кроме номера и штаба. А вскоре и штаб с номером ликвидировали. А Сократилин с «экипажем» попал в саперы. Его назначили командиром отделения подрывников. Дали еще трех солдат, шофера, «газик» с толлом и «адскую машинку». Теперь Сократилин отступал последним и взрывал все, что надо было взорвать, и, конечно, в первую очередь мосты. Они взрывали железнодорожные мосты и шоссейные; железные, каменные и деревянные — через какой-нибудь вонючий ручей.

От Пскова до Новгорода на реках Великой, Шелони, Мшаге, Удохе (всех и не упомнишь) мосты и переправы были разрушены под руководством Богдана Сократилина. Взрывать приходилось и до прихода немцев, и после их прихода, и прямо у них на глазах, под носом. Подрывное дело опасное и даже интересное, во всяком случае не скучное. Только душа к этому делу у Богдана не очень лежала. Ведь взрывать-то приходилось собственные мосты!..

— Простишь рассказать какой-нибудь интересный случай?!— Богдан Аврамович усмехнулся.— А что ж интересного — взрывать деревенский мостик, без которого крестьянину ни туды ни сюды?.. Впрочем, изволь. Был такой случай.

...Тогда мы отступали к озеру Ильмень. Я разъезжал на трофейном немецком грузовике. Я его взял, когда наши крепенько стукнули под Сольцами корпус Манштейна. Это было в середине июля. Немец рвался к Новгороду. Танковые части подходили к Шимску. И тогда две наши армии ударили ему по флангам, с юга и севера. Немцы, не ожидавшие такого удара и пуще всего боявшиеся окружения, повернули назад. Их гнали километров пятьдесят. Правда, танкам и боевым частям удалось выйти из окружения, но зато здорово мы потрепали их тылы, и нам достались богатые трофеи. Мы воспрянули духом, славно повеселились. Коньяк, французские вина, шоколад, консервы... Да, было дело под Сольцами, есть что вспомнить.— Богдан Аврамович вздохнул и покачал головой:— А сколько исправных машин он бросил! Да не одну сотню. Тогда-то мне и достался этот грузовик-громилла. С полмесяца Манштейн

не рыпался, все зализывал синяки да накапливал силы. На помощь к нему пришла дивизия «Мертвая голова». В первых числах августа опять попер.

Вызывает как-то меня командир нашей саперной роты и начинает крыть, почему это я, такой-разэтакий, мост у деревни Низы через реку Мшагу не взорвал. А мне откуда знать, что там мост? Не мог же я сразу по всем дорогам раскатывать. «Не разговаривать, — кричит, — мать твою головешка! Немедленно взорвать! Не взорвешь — на глаза не показывайся!»

Конечно, если бы мы даже и не взорвали, ничего бы он не сделал. Командир наш был инженер, сугубо гражданский человек. Ругался он отменно, грозил часто и даже за кобуру хватался, а в общем-то никого пальцем не тронул.

Оседлали мы свой шарабан и поехали. Дело уже к вечеру. И вообще день был хмурый. С утра дождик грозился, да так и не собрался. Шарабан наш гремит, пылит. Солдаты мои в кузове болтаются, я с шофером в кабине, а кабина огромная, как деревенская хата. Проскочили поле, потом — лесок, за леском опять поле. В конце этого поля — роща. Подъехали, смотрим — погост, а не роща. Дорога обогнула погост, и как на ладони открылась деревня, а перед деревней река и мост. Река порядочная. Берега высокие, обрывистые, а между ними повис деревянный мост. Что надо мост — на быках, с перилами. «Прямо!» — команду шоферу. Из кузова мне кричит Левцов: «Старшина, посмотри в бинокль, что там за народ около пруда?» Бинокль у меня трофейный, отличный бинокль, цейсовский десятикратный. Командир роты очень хвалил и все сокрушался, что у него такого нет. Но я как-то не замечал его слишком понятных намеков. А отобрать его у меня он стеснялся. И вообще, как я заметил, хорошие люди все стеснительные.

Посмотрел я в бинокль и ахнул. Немцев около пруда кишмя кишит. Одни купаются, другие просто так лежат, отдыхают, на губных гармошках наяривают. Тут же валяются их мотоциклы. В деревне тоже полно немцев. Что делать? Приказ есть приказ... Эх, думаю, была не была! Смелость, говорят, города берет, а здесь какой-то паршивый мост. Решил взорвать у немцев на глазах. План избрал самый наипростейший. Просто подъехать на машине к мосту и взорвать. Машина-то немецкая, авось примут за своих. «Ты, — говорю шоферу, — подъедешь к мосту, остановишься и будешь делать вид, что у тебя что-то с машиной не в порядке. Ну хотя бы будто

камера спустила. Помогать ремонтировать колесо будет Могилкин. А Левцов с Коноваловым возьмут взрывчатку — и под мост. А для отвода глаз можно взять ведро, будто за водой. А остальные будут сидеть в кузове и следить за немцами».

Так и сделали. Подъехали вплотку к мосту, шофер выскочил из машины, постучал по колесу каблуком, потом схватил ключ и вместе с Могилкиным стали делать вид, что снимают колесо. А Левцов с Коноваловым взрывчатку в ведро — и под мост. Я из кабины за немцами наблюдаю, и карабин у меня на коленях. До немцев рукой подать. Сначала они на нас и внимания не обращали. Купаются, подштанники стирают. А пруд маленький, вода грязная, и гуси тут же плавают. В бинокль-то фрицы так близко, что хочется рукой потрогать. Все видно, даже волосатые ноги. Меня заинтересовал один пожилой немец с крупным морщинистым лицом. Стоял он в накинutoй на плечи шинели, в пилотке, напяленной до ушей, и бросал гусям кусочки хлеба. Гуси дрались, а немец грустно улыбался. Он, наверное, в ту минуту вспоминал свой дом, где у него тоже есть гуси. И тогда я подумал, что сейчас немцу на все наплевать: и на Гитлера, и на войну. Если б его сейчас отпустили домой, он побежал бы и ни разу не оглянулся. Вдруг мои глаза встретились с глазами немца. Он что-то сказал, поднял руку и уставил на меня палец. Рядом стоявшие немцы тоже стали смотреть на меня и показывать пальцами. Я понял, что они насторожились.

«Скоро вы там?» — крикнул я.

«Одну минутку, старшина», — ответил из-под моста Левцов.

Однако «минутка» тянулась слишком долго. Теперь все немцы у пруда смотрели в нашу сторону. Видно, почували что-то неладное и решили проверить. Двое вскочили на мотоцикл — и к нам. Правда, чтоб добраться до моста, им надо было дать порядочный крюк.

«Да скорей же!» — крикнул я. Встреча с ними нам была вообще ни к чему.

«Сейчас. Шнур что-то не горит», — ответили из-под моста.

«Сейчас немцы будут здесь», — предупредил их Могилкин.

А немцы уже выбрались на дорогу, и до моста им оставалось метров пятьдесят. Я схватил карабин, встал на подножку машины. Мотоцикл выскочил на мост. Я выстрелил. Мотоцикл подпрыгнул, ударился о перила с

одной стороны, отскочил от них, повалился набок. В деревне начался переполох. Трещали мотоциклы, трещали автоматы, хлопали ракеты. Ребята в конце концов запалили шнур. Едва мы успели развернуться и отъехать, как мост рухнул. Это был мой последний мост. В Шимске нас прижали к Ильменю. Машину мы бросили. У меня опять остались Могилкин с Левцовым. Остальные бойцы моего отделения не знаю куда делись. По топким берегам озера, по камышам где ползком, где вплавь мы потащились в Новгород. В Новгороде нас отправили в пехоту...

Рота, в которую попал Сократилин, не насчитывала и трети положенного состава. Командовал ротой грустный украинец Колбаско, младший политрук. Когда Сократилин со своими подрывниками явился к нему и доложил, что прибыл в его распоряжение, он посмотрел на старшину, на его медали и уныло протянул:

— Очень рад. Назначаю вас командиром третьего взвода. Разыщи младшего сержанта Костомарова-Зубрилина и прими от него взвод.

Сократилин сообщил, что он и его бойцы вторые сутки «не евши». Колбаско пожаловался Богдану, что он тоже давно есть хочет, и посоветовал пошукать что-нибудь у местных жителей.

Левцов выступил вперед, щелкнул каблуками и попросил разрешения обратиться к младшему политруку с личной просьбой. Колбаско разрешил.

— У меня сапоги развалились,— доложил Левцов.

Политрук малость оживился. На его измятом, заросшем лице промелькнула улыбка.

— Совсем развалились?

— Так, что можно мыть ноги не снимая сапог.

Колбаско посмотрел на Левцова, на его сапоги и грустно покачал головой:

— Плохо дело. Сапог у меня нет. Ничего у меня нет. Даже винтовок не хватает. У вас хоть есть карабины. Это очень хорошо. А ведь есть такие, что приходят совсем без оружия, словно к теще на блины,— сказал Колбаско и устало закрыл глаза.

Эта длинная речь, видно, совсем его утомила. Богдан понял, что с подобными вопросами к нему обращаются ежеминутно и он от них смертельно устал.

Сократилин отправился разыскивать младшего сержанта с двуствольной фамилией, Могилкин с Левцо-

вым — рыскать по домам «насчет чего-нибудь пожрать». Рота остановилась в трех километрах от Новгорода, в крохотной деревушке. Жили в ней старики со старухами да ребятишки.

Костомарова-Зубрилина Богдан нашел около полуразвалившейся бани. Младший сержант с ложкой в руке сидел около костра, над которым висел на палке котелок. Он варил щи. Тут же под шинелью спал красноармеец. Поодаль звездой, голова к голове и раскинув ножницами ноги, спало еще шестеро. Девятый сидел на порожке бани, чистил винтовку и заунывно тянул песню, состоявшую из одних: «И-и-а-а-ля-ля!» Здесь же, опустив тупое рыло, стоял пулемет «максим». К стене бани привалились ручной пулемет и четыре винтовки.

Сократилин представился и сообщил, что ему приказано принять взвод.

— Бога ради!— воскликнул Костомаров-Зубрилин и широким жестом показал на спящих:— Девять на месте, трое в деревне старух шупают, тринадцатый пошел в соседнее село к поэту...— Младший сержант закатил глаза и стал вспоминать имя поэта:— Дер... дир... тир... Черт бы его побрал! Не упомяну. А я своего поэта не отпускал. Попов — его фамилия. Он сам у ротного выпросился. В общем, старшина, я тебе скажу: если он не вернется, тебе ж лучше будет.

— Почему?

— Понимаешь...— Костомаров-Зубрилин опять закатил глаза.— Он какой-то недоделанный, да еще в очках. После каждого выстрела очки протирает. И вообще не рота у нас, а самый распоследний сброд.

— Это я и сам вижу, — сказал Богдан.

Боец на пороге бани продолжал чистить винтовку и тянуть бесконечно: «И-и-а-а-ля-ля!» Сократилин подошел к нему, сел. Тот даже не посмотрел на Богдана.

— О чем поете?— спросил Сократилин.

Боец покосился на сократилинские медали и сплюнул.

— Если бы старшина знала, о чем моя поет, твоя плакала.

— Фамилия?— строго спросил Богдан.

— Зачем твоей моя фамилия?

— Встать, разгильдяй!— рявкнул Сократилин.

Боец испуганно вскочил, одернул гимнастерку и козырнул:

— Рядовой Кугушев.

— Садитесь, рядовой Кугушев. И знайте: теперь я ваш командир. Сами-то из татар будете?

— Татарин, татарин,— охотно подтвердил Кугушев и сообщил, откуда он сам, какая у него жена хорошая, и какие у них славные ребятишки, и как он тоскует по своему дому.— Война очень плохой дело,— решительно заявил Кугушев. Богдан вполне был с ним согласен. После этого Кугушев принялся чистить винтовку и нараспев думать о своем доме.

Младший сержант пригласил Сократилина «откушать штец». Они были солоней самой соли.

— Не рассчитал,— оправдывался Костомаров-Зубрилин.— Варил я их с невымоченной солониной да еще малость подсоллил. Не рассчитал.

Похлебали щей, покурили, покалякали о том о сем, ругнули Гитлера. Костомаров-Зубрилин сообщил, что зовут его Петром Аггеичем, что сам он из Ростова, кадровик, был артиллеристом-наводчиком.

— Недалеко от Вильно немецкие танки раздавили нашу батарею, да. А в артиллерии я был на виду, первым наводчиком, да. На стрельбах в прошлом году сам командир дивизии мне руку жал, да.— Младший сержант вздохнул и сказал, что это не война, а сплошное свинство.

Над Новгородом появились «хейнкели». По ним принялась лупить зенитная батарея. Зенитки таякали то отрывисто, то взახлеб. Белые комки разрывов испянтнали над городом небо.

Бомбили «хейнкели» беспорядочно. Возможно, у них не было заданных объектов, а возможно, им мешал плотный огонь наших зениток. Когда «хейнкели» улетели, над городом долго висела серая пыль и в центре горел дом.

— Ну вот, прилетел, нашумел, сбросил, наверное, груза тысяч на сто и сжег трехкопеечный дом.— Костомаров-Зубрилин потянулся к Сократилину и пристально посмотрел ему в глаза:— А когда мы их дома жечь будем? Да и будем ли?

— Конечно, будем,— сказал Богдан.

Пришли бойцы, те, что, по выражению Костомарова-Зубрилина, «щупали» старух в деревне.

— Принес, Митька?— спросил младший сержант.

— Я — да не принесу!— воскликнул синеглазый солдатик в непомерно больших шароварах и в гимнастерке до колен.— Рубайте, товарищ командир,— и поставил перед младшим сержантом котелок с молоком.

— Был командир, да весь вышел. Теперь он командир.— Костомаров-Зубрилин показал на старшину Сократилина, взял котелок, приложился к нему и не оторвался, пока не выдул полкотелка, потом передал Сократилину.

— А сам-то ты пил?— спросил Богдан синеглазого Митьку.

— Так точно, товарищ старшина. Надулся, как клещ.— Митька выпятил живот и постучал по нему кулаком.— Рубанули дай бог.

Красноармеец в распоясанной шинели, заросший до бровей рыжими волосами, ухмыльнулся:

— Шпана ты лиговская, Митька.

— Пошел бы ты, дядя, знаешь куда?— Митька посмотрел на Сократилина и прищурился:— Сказать ему, товарищ старшина, куда?

Богдан погрозил ему пальцем. Митька понимающе кивнул головой и закричал:

— Эй, хан Батый, айда молоко трескаться!

Кугушев положил винтовку и, подойдя к Митьке, спросил:

— Чего орешь, глупый башка? Где твой молоко?— Взял котелок с молоком, выпил до дна, вернулся на порог бани и принялся драить винтовку.

Старшина отозвал Митьку в сторону и крепенько предупредил, чтоб тот бросил свои штучки-дрючки. Пока Богдан распекал, Митька слушал внимательно и даже старался быть очень серьезным, а потом поднял на Сократилина озорные глаза:

— А если не брошу? Что вы со мной сделаете? Домой-то все равно не отправите.

Митька Крылов был из Ленинграда. Как только началась война, он первым прибежал в военкомат и записался в добровольцы, хотя ему и семнадцати не было. Каким образом ему удалось провести комиссию военкомата, трудно сказать. Впрочем, для таких, как Митька Крылов, преград не существует.

— А вот возьму да и отправлю,— сказал Сократилин и утвердительно кивнул головой.

— Куда?— изумился Митька.— В Ленинград?

— В тыл. В детдом.

Это Митьку смутило. Он задумался, поскреб затылок и сказал:

— Ладно, договорились... Эй, Кугушев, теперь ты не Батый, а генерал Чингисхан!

Костомаров-Зубрилин, опрокинувшись на спину и задрав вверх ноги, захохотал. Кугушеву тоже стало смешно. Сократилин плюнул и обозвал Митьку мальчишкой.

Наконец-то появились сократилинские подрывники. Они притащили ведро картошки, каравай хлеба и сметану в глиняном черепке. Обычно в таких черепках в деревне кормят кошек.

Могилкин по приказанию Левцова стал чистить картошку. А сам Левцов принялся выламывать на дрова в бане раму и поднял такой шум, что и мертвый проснулся бы. Разбуженные бойцы возмутились и принялись было ругать Левцова, но он один всех перекричал да еще потребовал табаку на закрутку. Левцов вообще, где бы ни появлялся, задавал тон, как петух в курятнике. Сократилин давно уже перестал обращать на это внимание, а тут его вдруг осенило: «А что, если я Левцова назначу командиром отделения? Должен потянуть».

Сократилин раздобыл листок бумаги с карандашом. Потом выстроил свое «войско» и переписал. Оказалось в наличии семнадцать человек, шесть обычных винтовок, две винтовки СВТ, ручной пулемет Дегтярева и станковый — «максим», четыре карабина, шесть «лимонок» и четыре гранаты РГД. Взвод Богдан разбил на два отделения.

Командиром первого отделения назначил Костомарова-Зубрилина, а второго — Ричарда Левцова. Получив власть, Левцов застегнул воротник, сдвинул набок пилотку, затянул на последнюю дырку ремень и зычно командовал:

— Оружие вычистить так, чтоб оно сияло как солнце, и даже ярче!

А когда явился «поэт» Попов, который попал в отделение Левцова, то Ричард набросился на него, принялся распекать за самовольную отлучку и стращать почему-то ревтрибуналом. Сократилину пришлось предупредить Левцова, что если он не прекратит самоуправствовать и драть глотку, то немедленно будет разжалован в рядовые.

Попов действительно носил очки в черной оправе, с сильно выпуклыми стеклами. Высокий, сутулый, лицо голодное, вместо щек ямы, а нос с подбородком вытянулись друг другу навстречу.

«Наверное, чахотка мужика гложет», — подумал Богдан и спросил:

— Встретили своего поэта, покалякали?

Попов снял очки и стал тщательно протирать но-

совым платком. Сократилин отметил, что хотя платок и не первой свежести, но для фронтовой обстановки идеально чист.

— Видите ли, товарищ старшина...— Попов протянул руку и потрогал на гимнастерке Сократилина пуговицу, но потом, видимо, вспомнил, что перед ним командир, да еще с двумя медалями, опустил руки по швам и отчеканил, как заученный урок:— Русский поэт Гавриил Романович Державин умер ровно сто двадцать пять лет назад. Похоронили здесь, недалеко от Новгорода, в часовенке Хутынского монастыря. Раньше, точнее — до революции, над его могилой горела неугасимая лампада.

— И теперь горит?— невольно вырвалось у Сократилина, и от стыда стало жарко так, что вспотели ладони.

— Вряд ли... Впрочем, не знаю. Мне так и не удалось побывать там. Не дошел. Времени не хватило. Меня отпустили всего на два часа,— пояснил Попов.

— Ничего. Если еще здесь постоим — обязательно сходите,— сказал Сократилин не столько с целью ободрить Попова, сколько замять впечатление от своего глупого вопроса и увести разговор в другую сторону.— Вы, наверное, тоже сочиняете?

— Нет, нет,— Попов испуганно замахал руками.— Это ж такое дело... А я учитель.— И, думая, что старшина ему не верит, стал горячо убеждать, что он вовсе не поэт, а простой учитель словесности.

Сократилину все больше и больше нравился рядовой Попов.

— А как вас по батюшке?

— Захарыч... Владимир Захарыч.

— А меня Богдан Аврамович, ваш командир взвода,— представился Сократилин и тем самым привел в такое смущение учителя, что тот не знал, что ему делать со своей винтовкой. Он снял ее с плеча, поставил к ноге, потом опять закинул на ремень и опять снял.

— Дай-ка мне!— Сократилин взял винтовку, открыл затвор, прищурясь, посмотрел канал ствола и со словами «Почистить надо» возвратил винтовку Попову.

— Я сейчас, сейчас,— бормотал Попов, неумело отдал честь, неуклюже повернулся и заторопился чистить винтовку.

Сократилин посмотрел ему вслед и покачал головой: «О человеке можно ничего не знать, зато все, что хочешь, сказать. Дурак этот Костомаров-Зубрилин и трепло бессовестное!»

Примерно в полдень, а может, раньше или позже, а по часам учителя словесности — без четверти двенадцать, младший политрук Колбаско по тревоге поднял свою роту и повел в Новгород.

Рота спешила в город, а из города навстречу ей бесконечной серой рекой текла отступавшая армия. Уставшие бойцы с трудом переставляли ноги, грохотали повозки, лошади, вытягивая построики в струну, тащили артиллерию. Вздыхая густейшую пыль, протрусил кавалерийская часть. Кавалеристы покачивались в седлах, как тряпичные куклы. Прошло стадо коров. Потянулись повозки, телеги, тележки с гражданским скарбом. В них вместе с ведрами, сундуками, кастрюлями болтались ребяташки. Из одной повозки вывалилась сковорода и хрустнула под колесом следом тархтевшей телеги. Прогромыхала обтянутая какой-то цветастой рванью кибитка.

— Братцы, глянь, цыгане! — крикнул Могилкин.

— Тоже жить хотят, — сказал кто-то.

Взвод Сократилина невесело рассмеялся.

Колбаско остановил роту у церкви с железной оградой. По всему было видно, что в божий храм давно никто не заглядывал. За оградой рос саженный бурьян, да и дорожка к паперти, выложенная желтым плитняком, тоже заросла. Однако дверь в церковь была открыта, и на паперти стоял капитан. Колбаско доложил капитану, что вторая рота в количестве сорока пяти человек прибыла.

— Шинели снять, вещевые мешки снять. Все оставить здесь, около церкви, и выделить человека для охраны, — приказал капитан.

— Крылов, два шага вперед, марш! — скомандовал Колбаско.

Крылов вышел из строя, снял с плеча винтовку, поставил ее к ноге и уставился на капитана.

— Останешься здесь, — сказал Колбаско.

— Ну да-а-а...

— Молчать! — рывкнул на Митю капитан и как бы между прочим добавил: — Не рота, а черт знает что! Остальным немедленно заправиться патронами и гранатами. — И капитан показал рукой: — Боеприпасы в этом храме.

Когда нагрузились боеприпасами, Колбаско построил роту и скомандовал:

— Правое плечо вперед, марш!

Взвод Сократилина тащился в хвосте. Обе руки Бог-

дана были заняты коробками с пулеметными лентами. Могилкин согнулся под ящиком с патронами, его кидало из стороны в сторону. Левцов подвесил к ремню три противотанковые гранаты, они оттянули ремень и колотили его по ляжкам. Учитель словесности, перепоясанный накрест пулеметными лентами, очень напоминал питерского рабочего, идущего защищать революцию от Юденича.

«Куда идем, зачем? — размышлял Сократилин. — Неужели на ту сторону Волхова?»

Рота свернула в переулочек, и он сразу резко пошел под уклон. Из переулка попали на узкую извилистую улицу, которая вела к переправе.

— Куда это нас гонят? — спросил Попов.

— Вперед, на запад! — пискнул из-под ящика Могилкин.

Крутая извилистая улица была забита повозками, лошадьми, вместе с войском отходили и гражданские, с чемоданами, огромными узлами. Крохотная старушонка в белом застиранном платочке, перекинув через плечо веревку и согнувшись, тащила за собой рыжего теленка. Теленок вдруг заартачился, мотая головой, стал пятиться. Старушка кричала: «Куда, проклятый, куда, идол?!» — а теленок тащил ее назад. Ездовой на повозке с ранеными решил ее объехать и наскочил на повозку с военным имуществом. Они сцепились колесами. Движение остановилось, образовалась пробка. А повозки никак не могли разъехаться.

Залп зениток с треском разорвал небо.

— Воздух!

— Воздух! — закричали в повозке раненые. — Чего топчешься, сволочь! Угробить нас хочешь! Гони-и!

Ездовой вскочил на ноги и что есть силы ударил лошадь. Она дернула и опрокинула повозку с военным скарбом. По булыжной мостовой покатались зеленые ящики. Дорога в один миг очистилась. Только диким галопом неслись ошалелые кони. Их нещадно лупили. И напрасно! Животные тоже не любят умирать.

Взвод Сократилина разбежался.

— Куда? Назад! — кричал Богдан. — Ложная тревога. Костыль.

Над городом ползал «костыль» — немецкий разведчик. Зенитки смолкли. Он для них летел слишком высоко.

— Жди гостей, — сказал Левцов. — Надо поскорей сматываться.

Пользуясь моментом, что дорога опустела, Колбаско командовал: «Бегом!»

Рота проскочила понтонный мост и очутилась на той стороне Волхова, напротив восточных ворот кремля.

В глубоком молчании прошли мимо стройной белокаменной Софии, мимо памятника «Тысячелетие России», который стоял посреди площади — темный и величественный, как гигантская шапка Мономаха. Через западные ворота вошли в город.

Колбаско привел свою роту на юго-западную окраину и приказал занять оборону по левую сторону дороги.

— Задача наша — прикрыть огнем части, отходящие на восточный берег Волхова. Мы уйдем отсюда последними. Без приказа ни шагу! Понятно?

— А кто справа от дороги занимает оборону? — спросил старший сержант, командир первого взвода.

— Должна прийти первая рота с отделением бронбойщиков. Еще где-то здесь находится батарея иптаповцев, а там — зенитчики. — И по тому, как ротный неопределенно махнул рукой в сторону зенитчиков, Сократилин понял, что Колбаско так же, как и они, ничего не знает.

— А что моему взводу делать?

Вопрос Сократилина одновременно и удивил и смутил младшего политрука.

— Как что? Занять оборону и окопаться.

— Где?

— И лопат нет, — подсказал Могилкин.

Проблему с лопатами Колбаско решил в один миг. Он приказал выделить из каждого взвода по пять человек и отправить их на поиски лопат к местным жителям.

Юго-западная окраина Новгорода представляла собой большую деревню с опрятными домиками, садами и огородами. За лопатами Сократилин отрядил отделение Левцова. Колбаско повел командиров взводов на рубеж своего, как он выразился, тет-де-пона. Отсчитав от дороги двести шагов, он сказал, что здесь будет обороняться первый взвод, потом отсчитал двести шагов второму взводу. Сократилинскому взводу досталось все остальное. Слева у него соседа не было, да и вряд ли он ожидался.

— Вы здесь строите тет-де-пон. — Слово «тет-де-пон» Колбаско произнес с ударением, сочно, оно ему, видимо, очень нравилось. — А я пойду уточню соседей.

Богдан оглянулся: тыл его «тет-де-пона» прикрывали сады, забранные высоким частоколом, а по фронту, от-

куда ожидался противник, рос густой высокий картофель.

«Если мы здесь засядем в окопы, то и в двух метрах не увидим противника. Стрелять совершенно нельзя. А сзади дома с садами — отличный ориентир для пристрелки. Великий стратег наш Колбаско!» — Сократилин усмехнулся.

— Тет-де-пон! Владимир Захарыч, что это за штукенция — тет-де-пон?

Попов смотрел на дорогу, по которой тракторы тащили тяжелую артиллерию, и прислушивался к канонаде. Залпы доносились отчетливо и гулко.

— Вы меня? — встrepенулcя Попов. — Что такое тет-де-пон? Французское слово. Дословно: тет — голова, пон — мост. В общем — впереди моста. Вероятно, предмостное укрепление.

— Точно — предмостное. Есть такое в уставе, — подтвердил Богдан.

— Тет-гапон али как там — все суета сует. Треба перекурить, товарищ старшина, — заявил боец с ручным пулеметом. Был он приземист, с очень круглой и массивной головой и короткой шеей, что придавало ему сходство с каменным идолом. А когда он положил пулемет и сел, скрестив ноги по-турецки, сходство с идолом еще больше усилилось.

— Твоя — курить. Моя — отдыхать, — сказал Кугушев и сел рядом.

Сократилин отлично понимал, что их оборона никуда не годится и что долго на этом картофельном поле они не продержатся. Поэтому на свой риск дал указание вместо обычных окопов вырыть узкие щели. Во-первых, на это уйдет меньше времени и сил, а потом при бомбежках и артобстрелах щель — самое удобное укрытие. Только для «максима» он выбрал место повыше и приказал отрыть окоп по всем требованиям устава. Для того чтоб можно было вести мало-мальски прицельный огонь, Богдан решил перед обороной метров на двадцать — двадцать пять скосить картофельную ботву. Дав указание Левцову отрыть и для него щель, Сократилин пошел в ближайший дом за косой.

Деревянный домишко под тесовой крышей в четыре окна — три по фасаду, а четвертое сбоку — едва проглядывался сквозь густую листву яблонь. Сократилин открыл калитку палисадника, в котором росли калина с акацией, и прошел во дворик с дощатым сарайчиком.

Богдан постучал по раме. Никто не ответил. Он поднялся на крыльцо, толкнул дверь, шагнул в сени.

— Эй, люди! Где вы?

Не получив ответа, Сократилин вошел в комнаты.

Порядок, чистота, пышет жаром русская печь — все говорило о том, что хозяева еще не сбежали. Выходя на крыльцо, Богдан заметил, что дверь сарайчика на миг приоткрылась.

— Хозяева, вы здесь? — спросил, подходя, Сократилин. В сарайчике притаились, потом послышался сдавленный шепот и сердитый женский голос:

— Чего надо?

Богдан засмеялся:

— А вы покажитесь на божий свет. Я не зверь, а всего лишь солдат.

Опять зашептались, и после гневных слов «Да полно тебе!» дверь распахнулась, и Сократилин увидел молодую черноглазую женщину в цветастом платье. «Хороша,— отметил Сократилин,— и ловко скроена и крепко сшита. И смотреть на тебя одно удовольствие». Богдану захотелось сказать женщине что-нибудь приятное, ласковое, но он не успел. Из глубины сарая вынырнула старуха и так посмотрела на Сократилина, что Богдан стусевался и кое-как пробормотал:

— Я хотел у вас попросить косу.

— Косу? — удивленно протянула женщина.

— Да, косу. Картофельную ботву смахнуть.

Женщина, дразнясь белыми крупными зубами, захохотала:

— А я-то подумала, что вы с косой собираетесь на немца.

Что мог ответить ей на это Сократилин? Да ничего. И уж очень хорошо смеялась она.

— Ладно... Только услуга за услугу. Помогите нам сундук в яму закопать.

«Господи, что за услуга! Да я готов для тебя не только сундук, но и всех немцев с Гитлером закопать». — Этого Сократилин не сказал, а только так подумал.

В сарае на краю глубокой ямы стоял сундук, окованный железными полосами, с тяжелым висячим замком. Под днищем сундука были протянуты вожжи.

— Раз, два — взяли! — скомандовала женщина. Они приподняли сундук и легко усадили его в яму.

— Вот видишь, как хорошо. А сколько мы с тобой, мама, мучились,— сказала женщина и поклонилась Сократилину.

— Еще неизвестно, что хорошо, а что плохо. А если он сундук-то наш возьмет да и вытащит. С солдата взятки гладки,— проскрипела старуха и концами черного платка крепко вытерла губы.

Женщина широко развела руки:

— Обязательно, мама, вытащит,— и подмигнула Сократилину: — Правда, товарищ командир?

Почему она назвала Сократилина командиром? Может, хотела польстить ему, может, наоборот, задеть самолюбие старшины. Только слово «командир» прозвучало двусмысленно. Впрочем, Сократилин не обратил на это внимания. Он думал о старухе с женщиной и не мог понять, как это могут ужиться рядом красота и мерзость.

— А вы что ж, теперь здесь будете стреляться? — продолжала скрипеть старуха и исподлобья колоть Сократилина злыми глазами.— От самой границы тыщу верст пробежали и не нашли другого места, как на моей картошке стреляться.

— Хватит тебе, хватит! — крикнула женщина.

— Вам бы, бабушка, лучше уехать отсюда куда-нибудь в тыл. Да поскорей уезжайте,— посоветовал Богдан.

Старуха погрозила ему согнутым пальцем:

— Знаю я вас, мазурики. Уедешь — все тут растащите, все, печку нечем будет разжечь.

— Как тебе не стыдно! — воскликнула женщина и топнула ногой: — Замолчи!

— Топочи, топочи, кобыла необъезженная. А стыдиться мне нечего, я правильно говорю.— И чтоб, вероятно, осталось за ней последнее слово, подняла руку и сухой, сморщенной ладонью рассекла воздух, плюнула, повернулась и засеменила к дому.

Богдан не успел и парой слов перекинуться с женщиной, как старуха вернулась с косой. И что же это была за коса?! Даже Сократилину стало совестно за человеческую жадность. Женщина с возмущением вырвала у старухи косу, швырнула ее в сарай и сказала Сократилину:

— Пойдем!

Богдан и опомниться не успел, как оказался с ней в бревенчатой пристройке к дому. Здесь он увидел с десяток кос. Они висели на перекладине.

— Выбирай любую. Любую,— повторила она, покосилась на дверь и жадно облизала губы.— Ну что же

ты, как неживой... бери,— метнулась к двери, захлопнула и прижалась к ней спиной. В пристройке стало сумрачно.

Она подходила к Сократилину, как кошка, мягко, зигзагами, не спуская с него глаз. Богдану Аврамовичу стало жарко, перехватило дыхание. Рука, сжимавшая древко косы, онемела. Она приблизилась вплотную, и Сократилин задрожал, ощутив ее крепкую грудь, коса выпала из руки и жалобно звякнула.

— Как звать-то тебя, милая? — шептал Богдан Аврамович, обнимая женщину, которая дергалась, как в ознобе. — Как звать-то?

— У-у-у-ой,— простонала она утробным голосом.

— А мать-то, мать что подумает? — бормотал Сократилин.

Она опять простонала, потянулась к нему, и Сократилин жадно схватил своими губами ее губы, холодные и солоноватые. И вдруг она откинула назад голову, и, если б Богдан не держал ее за поясницу, она опрокинулась бы на спину. Он осторожно опустил женщину на землю, слегка притрушенную соломой...

На крыльце дома сидела ее мать-старуха. Она даже не подняла головы, когда Сократилин проходил мимо нее. Сократилину почему-то не было стыдно перед старухой ни капли. Хотя ноги у него и обмякли и плохо повиновались ему, он прошел по двору, громко стуча сапогами, и так хлопнул калиткой, что закачалась ограда палисадника. Потом он нарвал травы и долго и старательно вытирал запачканные землей колени. Хотя это было совершенно ни к чему. Никто бы и никогда бы не подумал, что колени у солдата грязные не оттого, что он ползал по-пластунски.

«Зачем все это надо было? — спросил себя Сократилин и сам же ответил: — Совершенно ни к чему».

Он косил картофельную ботву, стараясь не думать о женщине. Но все думал о ней, видел ее перед глазами и искал предлога опять встретиться с ней.

Предлог нашелся. Опять выручала коса. Он сам отнесет ей эту счастливую косу. В последний момент Сократилин струсил. Ему стало стыдно, а почему — он и сам бы объяснить не мог. И он приказал отнести косу Могилкину. Вернувшись, Могилкин доложил Сократилину, что хозяйка велела сказать ему, что если опять понадобится коса, то пусть приходит.

— Воздух!

— Воздух! — заорал Левцов.

— По щелям! Сидеть и носа не показывать! — кричал Сократилин.

Самолеты выскочили из-за леса, темнеющего на горизонте. Они шли широко растянутой цепью. Сократилин узнал двухмоторные бомбардировщики «дорнье». Их сопровождала пятерка «мессершмиттов». Они обогнали «дорнье» и пронеслись над дорогой, обстреливая ее из пулеметов. Дорога в один миг опустела. Застигнутый «газик» пытался проскочить в город. «Мессер» расстрелял «газик» у крайнего дома. Сухо, отрывисто затыкали зенитки. «Мессершмитты» атаковали зенитчиков и засыпали батарею мелкими бомбами. В густой пыли, захлебываясь, лаяла зенитная пушка. А «мессершмитты» теперь сновали над рекой, били по переправе, по домам правобережной части города.

Сократилин опустил в щель. Когда над его головой от крыла бомбардировщика плавно выскользнули две блестящие сигарообразные бомбы, и, сверкая на солнце, с визгом понеслись по касательной, и, нырнув в Волхов, подняли вместе с высоченным столбом воды обломки досок, он сказал: «Хана переправе!»

Богдан сел на дно окопа и с тоской прошептал:

— Опять железный дождь. Когда же он кончится?

Сократилин давно привык равнодушно глядеть на смерть. Артобстрелы, танки — все это стало для него обычным и довольно-таки скучным делом. А вот к бомбежкам он так и не смог привыкнуть. Богдан отроду не был трусом. Разрыв снаряда, мины можно предугадать, с ползущим на тебя танком можно бороться, но, когда над головой воеет бомба, человек становится совершенно беспомощен, ему остается только сложить руки и ждать...

Привалившись к стенке окопа, Богдан думал о женщине: «Хорошо бы прожить еще хотя бы до вечера, и тогда обязательно я с ней встретился и поговорил бы. И не так, как у нас получилось. Просто обнял бы я ее, положил бы на ее мягкую руку голову и уснул. Как долго этот проклятый день тянется! Поскорей бы вечер. Вечером немцы не полезут. Они уважают ночь. И очень хорошо делают. Ночь дана человеку для отдыха. А если пойдут — зубами буду им глотку грызть. А ее не отдам!»

— Попали, попали. Ура! — кричал Могилкин.

Снаряд ударил бомбардировщику в крыло. От взрыва самолет подбросило, он перевернулся вверх пузом, летел так несколько секунд и вдруг, задрав вверх хвост,

завертелся, сверлом врезался в землю и выпустил па город тучу копоти. Немцы навалились на несчастную батарею, сбросили на нее весь груз, смешали все с землей и пылью и прострочили пулеметами...

Минут пятнадцать рота младшего политрука Колбаско наслаждалась тишиной. А потом появились *они*, и не обычно, не так, как всегда. Обычно появлялись первыми мотоциклы. Они неслись на бешеной скорости, стреляя на ходу куда попало. Когда же по ним открывали огонь, мотоциклы поворачивали и с такой же бешеной скоростью неслись назад. И тогда выдвигались танки. На этот раз немцы, видимо, решили угостить новинкой. Вперед они пустили бронетранспортеры.

Сократилин понял их замысел. На скорости проскочить в город и там уже высыпать из своих железных гробов автоматчиков. Головной транспортер прибавил скорость и, не переставая лупить из крупнокалиберного пулемета, обогнул извилину дороги, вышел на прямую...

— Где же наши пушки? Чего же они ждут? — И Богдан выругался.

Выстрел сорокапятки прозвучал так, как будто хлопнул детский пугач. Однако транспортер остановился. Водитель выскочил из кабины, из кузова посыпались солдаты и, сбежав с дороги, ныряли в картофельную ботву. На правом фланге роты, там, где находился Колбаско, заработал «максим».

«Вот уж ни к чему, — подумал Сократилин и, выставив палец, на глаз определил дальность. — Метров шестьсот, а то и больше».

Второй транспортер сам остановился, выбросил из своего чрева солдат и, развернувшись, пошел назад. Третий попытался высадить десант в непосредственной близости от позиции роты, но был тоже остановлен пушкой. Снаряд попал ему в ходовую часть, транспортер развернуло, и он стал поперек дороги. Автоматчики не успели выброситься, как второй снаряд прошил бронетранспортеру борт.

Остальные бронетранспортеры еще раньше выбросили десанты и ушли.

Плоская, заросшая травой и картофелем низина зашевелилась. Их еще не было видно. Но каждый, даже Могилкин, понимал, что немцы расползаются, готовятся к решительной атаке.

«А что, если они так будут ползти все время и мы с ними встретимся нос к носу? — с ужасом мелькнуло у Сократилина. — Ну и позицию выбрал Колбаско».

Справа не переставая строчил пулемет:

— Ну зачем он, дурак, патроны жгет? — неизвестно кого спросил Сократилин и громко крикнул: — Огонь по моей команде!

Наконец *они* поднялись, и поле потемнело.

— Боже мой, сколько их! — ахнул Богдан.

Немцы побежали, стреляя из автоматов разрывными пулями. Пули скулили над головой, рвались в картофельной ботве, и казалось, тут, рядом, тоже строчит автомат.

— Огонь! — скомандовал Сократилин, уперся плечом в карабин, тщательно прицелился в темного согнувшегося немца и выстрелил. Солдат продолжал бежать. Сократилин выстрелил еще раз. Автоматчик покачнулся, попятился и упал. Теперь Сократилин целился в длинного немца. Он бежал впереди всех и, как палкой, размахивал автоматом. Богдан выстрелил, и тот выронил автомат и стал медленно, словно ему ударило по ногам, садиться... Сократилин пускал пулю за пулей. Он так увлекся, что забыл, что у него есть взвод, что он командир и должен в первую очередь руководить боем. Он вспомнил об этом, когда потянулся за третьей обоймой.

Могилкин стрелял часто, но, прицеливаясь, закрывал оба глаза.

— У меня левый глаз не прищуривается, — пояснил он Сократилину.

— Стреляй не прищуриваясь, дурак!

Могилкин не стал прищуриваться, но стрельба от этого не улучшалась. Учитель словесности Попов не столько стрелял, сколько протирал очки. Татарин Кугушев вел себя так же спокойно, словно он был не на поле боя, а на учебном стрельбище Осоавиахима. Он деловито щелкал затвором, деловито целился и пел свою песню без слов. Круглоголовый пулеметчик бил фашистов короткими очередями и напропалую ругал командира взвода, и ротного, да и себя за то, что мало прихватил патронных дисков. Левцов горячился, часто мазал. Костомаров-Зубрилин сидел на дне щели и плевался кровью. Пуля насквозь пробила ему обе щеки. Расчет «максима» заслуживал всяческой похвалы. Пулемет работал, как хорошо налаженная молотилка. Немцы несли огромные потери, но продолжали атаку. Бежали, стреляли, падали, вскакивали и опять бежали. Уже отчетливо были видны их черные мундиры, растрепанные волосы и искаженные злобой лица.

— Они с ума сошли! — крикнул Богдан, и ему стало так страшно, что потемнело в глазах.

Толпа немцев — человек пятнадцать рослых парней с закатанными рукавами — бежала прямо на позицию Сократилина. Уже были слышны их топот и тяжелое дыхание.

— Пулемет! Пулемет! Стреляйте же! — заревел Сократилин.

— Сейчас, ленту перезаряжаем!

Ручной пулемет вдруг тоже смолк.

— Эсэсовцы... Конец нам, — выдохнул Сократилин, и вдруг какая-то неведомая сила выбросила его из окопа.

Сократилин бежал с поднятым карабином и кричал «ура», плохо соображая, что делает и есть ли в этом смысл. На него шел эсэсовец, держа автомат, как палку. Богдан успел выстрелить. Немец схватился за живот, сел и замотал головой. Сократилин ударил его прикладом карабина. И в ту же секунду ему показалось, что его сразила молния.

Левцов выскочил с противотанковой гранатой, размахивая ею, как булавой. Солдат, на которого он бросился, в ужасе выставил вперед руки. Левцов ударил его по голове. Немец завертелся волчком. Левцов замахнулся еще раз и уронил гранату: его сзади схватили за горло. Он попытался разжать чьи-то руки, но его сбили с ног, навалились, в лицо дыхнули таким крепким винным перегаром, что Левцова стошнило.

Младший политрук Колбаско двоих застрелил из гана в упор. И упал, обливаясь кровью, — его ударили ножом в горло.

Рукопашная шла уже по всей линии обороны. И немцы и русские дрались с яростью обреченных. Рассудок, казалось, покинул этих людей. Глухие удары, ругань, стон раненых, хрип умирающих — все смешалось. Били прикладами, кулаками, душили, кололи штыками, ножами — убивали всем, чем только можно убить. От крови стало сыро, и запах ее еще больше распалаял солдат.

Учитель словесности, обхватив винтовку обеими руками и держа ее над головой, устремился на унтера с крестом. Унтер увернулся и с маху ударил Попова по лицу. Попов схватился за очки и, получив второй удар по затылку, упал как подрубленный. Костомаров-Зубрилин, как мясник, забрызганный кровью, обрабатывал прикладом сбитого им с ног немца. Тот уже и не шевелился, а он все бил, бил и бил. Татарин Кугушев, пре-

жде чем ринуться в свалку, приладил к винтовке штык. Потом выбрал жертву, по всем правилам штыкового боя атаковал ее и уничтожил. Двоих он заколол, а на третьем споткнулся. Штык застрял в костях мосластого тощего эсэсовца, и он не смог его сразу вытащить. Кугушев уперся ногой в грудь немца, но выдернуть штык не успел. Удар ножа в спину свалил его к ногам убитого им же ефрейтора. Короткошей пулеметчик орудовал одними кулаками. Кто-то сильно, словно молотом, ударил его по животу. Но ему все же удалось выпрямиться. Он схватил за горло немецкого солдата, и они рухнули на землю, покатались. Кто-то ударил пулеметчика каблуком по зубам. Губы мгновенно вспухли, изо рта хлынула кровь. Он выплевывал кровь и матерился.

— Сволочи! Ах вы сволочи! — рвал горло врага руками, по которым тоже текла теплая липкая кровь.

Могилкин сидел в окопе и все приноравливался подстрелить какого-нибудь фрица. Но когда он услышал отчаянный крик: «Помогите!» — и увидел, что на Левцова навалился здоровенный эсэсовец и душит его, Могилкина из щели как ветром выдуло. Окованным затыльником карабина Могилкин стукнул эсэсовца по голове. Немец засучил ногами, Могилкин стукнул его еще раз, и у немца обмякли руки. Могилкина ударили ножом прямо в сердце, и он умер мгновенно.

Сократилин очнулся от крика: «Помогите!» Голос был слабый и очень знакомый. Богдан приподнял голову, и глаза его уперлись в немецкие, с широкими голенищами сапоги. Сократилин зажмурился, затаил дыхание.

«Неужели все еще дерутся? — подумал он. — Сколько же времени они дерутся? Как долго, ужасно долго!»

Впрочем, схватка длилась всего пять-шесть минут. Еще минута-две — и от роты младшего политрука не осталось бы ни одного человека.

Когда раздалось русское «ура!», у Сократилина екнуло сердце. «Наверное, от удара у меня мозги перевернулись, — решил он. — Откуда тут нашим взяться?» Но «ура!» продолжало греметь, заглушая все остальные звуки. Богдан поднял голову и увидел своих. Они бежали от забора, выставив вперед штыки.

— Наши. Как это здорово! — прошептал Богдан, голова у него от радости закружилась, тело обмякло, и он опять потерял сознание.

Принять еще такой бой? Это было сверх человеческих сил. И немцы повернули назад по картофельно-

му полю. Их догоняли, кололи, били прикладами, стреляли в спину. Они не сопротивлялись.

Когда к Сократилину снова вернулось сознание и он пошевелился, кто-то рядом сказал:

— Глянь, братцы, еще один очухался.

Сократилин приподнялся, сел. Ныло в паху, а голова, казалось, развалилась на части. Перед ним на корточках стоял ефрейтор и пускал ему в лицо дым.

— Чего ты на меня уставился? — спросил Сократилин ефрейтора. — Посмотри лучше, что у меня с чердаком. Мозги там еще не вылезли?

Ефрейтор осмотрел голову и сказал, что чепуха, малость кожу прбили. Он вынул из противогазной сумки бинт.

— Сейчас мы ее запеленаем.

— Ты сначала дай мне покурить, а потом перевязывай, — сказал Богдан.

Ефрейтор бинтовал голову, а Сократилин спрашивал:

— Немцы сбежали?

— Как же, сбежали! Всех подчистую! — хвастливо заявил ефрейтор.

— Молодцы! — похвалил Сократилин. — Какой же вас бог надоумил прийти к нам на помощь? Ведь нам была бы хана.

— Распоследняя хана, — подтвердил ефрейтор. — А надоумил нас не бог, а одна дамочка. Я бы на такой с ходу женился.

У Сократилина задрожали руки, он жадно затянулся и обжег губы.

— И что же эта дамочка? — не своим голосом спросил Богдан. Он был уверен, что это была *она*.

— Прибежала. Мы-то расположились в кремле. Она прибежала и давай кричать: «Как вам не стыдно?! Ваши там насмерть дерутся с фашистами, а вы тут за стенами прячетесь!» Ну, мы, не раздумывая, винтовку в руки — и сюда. Ох и женщина!

— А где теперь она? — как бы между прочим спросил Сократилин.

— Наверное, домой побежала. Ну, брат старшина, скажу я тебе, с такой только под ручку по проспектам щеголять. — Ефрейтор вздохнул. — Есть же на свете русские красавицы, не ведают они, что где-то тоже существует красавец Тихон Шустиков.

— Кто же это такой красавец Тихон Шустиков? Уж не ты ли? — ревниво спросил Сократилин.

— Ну и что? Разве плох?

Сократилин смерил ефрейтора с головы до ног и остался очень недовольным. Тихон Шустиков и в самом деле был что надо: лицо доброе, чистое, глаза веселые.

— Прижал бы я ее, милую,— продолжал Тихон,— да так крепко...

— Нос у тебя до таких не дорос,— грубо оборвал его Сократилин.

— Почему же не дорос? — искренне изумился Тихон.

«Сказать этому дураку? — спросил себя Сократилин.— Не поверит. Ни за что не поверит».

— Болтаешь ты много, Тихон Шустиков,— сердито сказал Сократилин.

Подошел лейтенант. Бесцветные навывкате глаза его смотрели устало.

— Как чувствуете себя, старшина? — спросил лейтенант.

— Так себе. Голова гудит,— ответил Сократилин.

— Встать можете?

Сократилин поднялся.

— До переправы дойдете? Собственно говоря, переправа разбита. Но раненых перевозят на лодках.

Чего ж еще желать лучшего? Есть возможность перебраться на ту сторону Волхова. Другой бы на месте Сократилина побежал. Богдан задумался. Во-первых, являться с такой раной в медсанбат не очень-то было солидно. Во-вторых, и самое главное, вечером его ждет она. Правда, женщина ему таких обещаний не давала. Но Сократилин был почему-то уверен, что она ждет. Да если не ждет — от одной только мысли, что к ней может подкатиться кто-нибудь другой, вроде этого красавца Шустикова, Сократилина бросало в дрожь.

— Сколько сейчас времени? — спросил он лейтенанта.

— Начало седьмого.

«Уже вечер, немцы получили по зубам и больше, наверное, сегодня не полезут. А что будет завтра — наплевать. Лишь бы ночь была моя». И Сократилин улыбнулся:

— Я останусь, товарищ лейтенант.

Лейтенант пожал плечами и пошел дальше.

От взвода Сократилина осталось четверо: Костомаров-Зубрилин, Левцов и пулеметчик Лапкин. Попов дышал еще. Лейтенант приказал было немедленно его от-

нести на переправу, но, внимательно посмотрев в мутные глаза учителя словесности, сказал:

— Бесполезно.

— Вы посмотрели бы, товарищ старшина, как разуделали нашего Лапкина,— сказал Левцов.

— Какого Лапкина?

— Этого толстого, с ручным пулеметом.

Лапкин сидел, свесив в окоп ноги. На его распухшее, с разбитыми губами лицо нельзя было смотреть без содрогания.

— Ну как, Лапкин, самочувствие? — спросил Богдан.

Лапкин открыл рот и прошамкал что-то непонятное.

— Боже! Да где же твои зубы? — воскликнул Сократилин.

— В шадниче,— прошамкал Лапкин.

Левцов захохотал. Богдан посмотрел на него укоризненно:

— А ты, кажется, удачнее всех отделался?

— Это обидело Левцова.

— Сначала посмотри на мою шею, а потом делай выводы,— сказал он.

— Ничего особенного. Царапина.

Левцов стал горячо доказывать, что он был на волоске от смерти.

— Ты думаешь, этот фриц был сильнее меня? Пьяный он. Как навалился, как дыхнул винищем, меня так и вырвало.— Заметив, что Сократилин усмехнулся, Левцов воскликнул: — Не веришь? Да они же все были пьяные... Видишь фляжку? Снял с одного. Полнехонька.

У Левцова на ремне действительно висела фляжка в суконном чехле.

— Хочешь глоток?

Разумеется, Сократилин не отказался. Он приложился к фляге, глотнул, и у него перехватило дыхание.

— Что это? Спирт?

— Ром.

— Ром? Откуда ты знаешь?

— Я все знаю,— хвастался Левцов.— А ты знаешь, с кем мы дрались?.. С эсэсовцами из дивизии «Тоден коф» — «Мертвая голова». Личные войска самого Гимлера.

Богдану теперь было совершенно наплевать на то, с кем он дрался. Он глотнул из фляги и сказал:

— Мы с тобой, Ричард, видимо, в сорочке родились. А вот Могилкин погиб.

— Да,— как эхо отозвался Левцов,— от самой границы мы с ним топали. Ведь он спас мне жизнь.— Левцов отвернулся и вытер рукавом глаза.

Могилкин лежал на спине в луже крови. Его нос заострился и был похож на клюв грача.

— Он как будто помолодел,— отметил Сократилин, вглядываясь в юное и спокойное лицо Могилкина.

Татарин Кугушев до сих пор сжимал винтовку, штык которой увяз в теле немецкого ефрейтора. Левцов попытался разжать ему пальцы, обхватившие цевье винтовки.

— Не отдает. Воистину мертвая хватка.

Они положили Кугушева на спину. Восковое лицо Кугушева было обезображено мучительной гримасой, во рту — земля.

— Умирая, землю грыз. Чудной мужик был. Все песни пел.

Левцов посмотрел на Сократилина:

— Ты знаешь, что он мне сказал, когда я его спросил: «О чем поешь?»

— Знаю,— сказал Сократилин.

Метрах в десяти от Кугушева лежал расчет «максима». Два парня: один — сухонький, чернявый, другой — блондинистый здоровяк. Они вдвоем таскали пулемет, вдвоем стреляли из него и вдвоем бросились врукопашную. Даже смерть их не разлучила. Они лежали рядышком и широко раскрытыми глазами смотрели в небо. Их пулемет стоял на краю окопа и тоже смотрел в небо.

Подошел лейтенант и спросил Сократилина, знаком ли он с пулеметом. Богдану приходилось стрелять из «максима». Лейтенант назначил к «максиму» первым номером Сократилина, а вторым Левцова.

— Ребят похоронить надо,— сказал лейтенанту Сократилин.

— Обязательно,— заявил лейтенант.— Как только отроем окопы, похороним.

Подразделение лейтенанта спешно окапывалось. Сократилин сказал Левцову:

— Схожу узнаю, кто остался еще в живых из нашей роты.

Но сходить он не успел. Помешал артиллерийский залп. Снаряды со скрежетом пронеслись над головой. Один уткнулся возле забора. Второй снаряд угодил в крышу дома и поднял коричневый столб пыли. Поклывшись, пыль постепенно оседала.

Второй залп разорвался в районе ограды, но уже ближе к окопам. А третий перед окопами поднял стену земли. Градом посыпались комья глины и картошка. Сократилин с Левцовым прыгнули в окоп.

— Начался сабантуй,— сказал Ричард.

— Это еще пока пристрелочка. Сабантуй впереди. Глотнем рому?

— Глотнем,— охотно согласился Левцов.— Не пропадать же добру.

Над темной полоской кустарника, который словно барьером перегородил низину, взлетели бледные клубки дыма. В воздухе завывало, засвистело. Левцов навалился на Сократилина, прижал его к земле и крепко обнял. Если бы он этого не сделал, его наверняка выбросило бы из окопа. В густой пыли и тяжелом дыму сначала ничего не было видно. Потом показался «максим», лежащий на боку, с разорванным кожухом.

Немецкая батарея пристрелялась, и снаряды посыпались градом. Очередной снаряд разорвался возле окопа и засыпал расчет землей. Сократилин не успел стряхнуть с ворота землю, как услышал сначала вой, а потом громкое шептанье.

— Это наш! — крикнул Сократилин, прижался лицом к земле и закрыл голову руками. Сверху навалился Левцов, он что-то кричал ему, но грохот разрыва заглушил слова. Сократилин открыл глаза и сразу же закрыл их от ужаса. Он увидел над собой грязные скрюченные пальцы.

— Кому-то руку оторвало — и прямо к нам на край окопа,— сказал Левцов и стволом карабина отбросил руку в сторону. Сократилин выглянул из окопа и не увидел татарина с немцем. Там, где они лежали, была теперь куча земли.

— Если они так будут лупить, от нас и костей не останется,— сказал он.

Левцов его не понял. От непрерывного грохота у него заложило уши.

Немецкая батарея била без устали, непрерывно содрогалось картофельное поле, и непрерывно раздирали воздух снаряды; многие из них падали, как тяжелые камни, и, увязнув в рыхлой земле, не взрывались. Сократилин с Левцовым лежали на дне окопа и завидовали кроту, который может весь глубоко зарыться в землю. Даже выпитая фляга рома не веселила их.

Немецкие артиллеристы продолжали свою работу. Теперь они били по окраине города, разносили в клочья

хрупкие деревянные домишки. Дома загорались и пылали под треск стропил и драночной кровли.

Обстрел прекратился внезапно. И стало так тихо, что Сократилин решил, что он окончательно оглох. Но это ему только показалось. В уже посиневшем предвечернем небе он услышал ровное гудение самолета и по звуку определил, что это вражеский разведчик. И еще услышал треск автоматов. Почему-то стреляли сзади окопов, в тылу.

— Немцы в городе! Немцы в городе! — раздался истошный женский крик.

Сократилин побелел не оттого, что немцы их обошли: он узнал *ее* голос и увидел *ее*. Она бежала от забора. Теперь для Богдана ничего не существовало, кроме нее. Он выпрыгнул из окопа и бросился навстречу.

— Нельзя сюда, нельзя! — кричал Сократилин.

Она прикрывала руками грудь. Лицо у нее было бледное, без кровинки. Темные глаза смотрели на Богдана бессмысленно.

— Сейчас же уходи! Здесь смерть, — сказал Сократилин.

— Куда? — спросила она. — В городе немцы!

— Уходи! Прячься в погреб, куда хочешь, только спрячься, — упрашивал Богдан. — Пожалуйста, уходи. Неужели ты меня не узнаешь?

Женщина, видимо, узнала его. Она попятилась.

— Так это вы?

Сократилин радостно и торопливо закивал головой:

— Да, да, конечно, я.

— Какой страшный и грязный! — прошептала она.

— Да, да, страшный и грязный... А ты уходи. Ну пожалуйста!

Женщина испуганно попятилась.

— Уходи бога ради. Мы потом встретимся.

— Потом? — Женщина опустила вдруг руки, и Сократилин увидел разорванный ворот и пухлую окровавленную грудь.

— Осколком? — машинально спросил Богдан.

Она не ответила, застыдилась, закрыла рукой грудь, повернулась и побежала к дому.

Ноги сами понесли за ней Сократилина.

— погоди. Надо же перевязать! — кричал он.

Она бежала не оглядываясь, только сверкали ее белые крепкие лодыжки.

Они выскочили на улицу. Взрыв снаряда отбросил Сократилина к ограде палисадника. Падая, он увидел ее. Она все еще бежала, но почему-то вдруг стала маленькой, квадратной, а потом закружилась на одном месте и растворилась в густой пыли. Когда пыль с дымом разжидились, показался выпотрошенный дом, а напротив дома на дороге что-то бесформенное, ужасное.

— Что же это такое? — громко неизвестно кого спросил Сократилин. — Бандиты! Сволочи! Вы убиваете наших женщин, — и погрозил кулаком. — Вы за это ответите, сволочи! — закричал он, обезумев от гнева и жалости. Он рванул с плеча карабин и побежал. Куда? Теперь это для Богдана не имело никакого значения. Он бежал и ничего не видел. Стреляли со всех сторон. Пули свистели, скулили, клацали. Разорвался снаряд. Сократилин упал, а когда поднялся, то забинтованная голова его стала серой и грязной, как лоскут солдатской шинели.

Сократилин опомнился, когда столкнулся с Левцовым.

— Куда ты, старшина? Там немцы!

— Они ее убили, — сказал Сократилин.

— Всех убьют. Слышишь ты? — Левцов схватил Сократилина за плечи, сильно встряхнул: — Опомнись, старшина! Надо бежать!

— Куда? Зачем? — почему-то шепотом спросил Сократилин.

— К реке! — Левцов взял старшину, как ребенка, за руку и потащил за собой.

Они бежали, падали, ползли, опять бежали. Впереди и сзади них тоже бежали бойцы. На рыночной площади они спрятались за фанерный ларек и стали отстреливаться. В конце улицы, выходящей на площадь, мелькали фигуры немецких солдат.

— Ах вы сволочи, сволочи! — бормотал Сократилин, выпуская пулю за пулей. И если удавалось свалить немца на землю, он радостно вскрикивал: — Ага, еще один!

Левцов стрелял так быстро, что ствол карабина накалился и жег ему руки.

— Все. Патроны кончились. Драпаем, старшина, — сказал Левцов.

Сократилин не ответил. Метрах в двадцати от ларька лежал убитый красноармеец.

— А не разжиться ли мне патрончиками у этого, как

ты на это смотришь, старшина? — И, не получив ответа, согнувшись, Левцов выскочил на площадь.

— Куда, дурак! Вернись! — закричал Сократилин.

Пуля угодила Левцову прямо в лоб и с такой силой, что сначала выпрямила его, а потом опрокинула на спину, и Ричард затылком ударился о булыжный настил площади. И в ту же секунду резанул пулемет, посыпались щепки, и ларек загрохотал и заухал, как пустая бочка.

— Черт побери, этак и тебя могут прихлопнуть, Богдан, — сказал Сократилин. Теперь он думал только о себе. Женщину, только что убитого Левцова затмил страх за собственную жизнь. Как будто их никогда и не было, а только существовал на этом свете он один — Сократилин. И в эту минуту ему хотелось существовать вечно.

Пока можно было ползти, он полз, пока можно было пробираться вдоль домов, он пробирался, прячась за углами, выступами стен. Потом он увидел Волхов, высокий берег реки и там двухэтажный, красного кирпича дом с узкими окнами и башенкой на крыше. Сократилин бежал к дому, задыхаясь, держась рукой за сердце. И когда нырнул в узкую дверь и увидел, что в доме полно своих, он почувствовал огромное облегчение.

В дом сбежалось человек двадцать вместе с лейтенантом, тем самым лейтенантом, который два часа назад решил исход рукопашной схватки. Сократилин узнал двоих из своей роты. Кроме винтовок были пулемет и десятка полтора гранат.

Осмотрели дом. Старинной кладки, с толстенными стенами и узкими, как щели, окнами, он не походил ни на замок, ни на монастырь, а черт те знает на что. Вероятно, дом строил чудаковатый купец по собственному проекту. Видимо, когда-то здесь были и кабинеты, и спальни, и танцевальные залы. Теперь же разместились две огромные коммунальные квартиры с комнатами, комнатушками, дощатыми перегородками и темным, длинным, как труба, коридором. Жильцы дома только недавно сбежали. На кухне плита была уставлена кастрюлями, и под ногами солдат металась ошалевшая кошка.

Основные свои силы с ручным пулеметом лейтенант сосредоточил на втором этаже. Оборону нижнего этажа и чердака он решил держать малыми силами. Сократилину с четырьмя бойцами достался чердак.

Чердак был захламлен и опутан веревками. На одной висели простыня, юбка и две детские рубашонки.

Обросший колючей щетиной красноармеец с остервенением рвал веревки и ругался. Вдруг он насторожился, поднял вверх палец. Сократилин щелкнул затвором.

— Дяденьки, не стреляйте, это я,— раздался за трубой детский голос.

— А ну выходи,— строго приказал Сократилин.

Из-за трубы вышел паренек с винтовкой. На нем была серая с пуговкой кепчонка и коричневая вельветовая курточка.

— Ты зачем здесь? Где взял винтовку? — грозно спрашивал Богдан Сократилин.

— У мертвого красноармейца взял.

— Зачем?

Паренек поднял на Сократилина глаза и так посмотрел, как будто сказал: «Сам знаешь. Зачем же спрашиваешь?» Сократилин крикнул и, придав голосу добродушный отеческий тон, сказал:

— Этим делом тебе, милый, еще рано заниматься. Уходи отсюда, да поскорее.

Парнишка побледнел, закусил губы и вдруг закричал высоким, звонким голоском:

— Не пойду! Я тоже умею стрелять. У меня — значок ворошиловского стрелка. Вот, посмотрите! — На груди его курточки Сократилин увидел новенький значок. — Разрешите остаться, дяденька командир?

— Этого я тебе не могу разрешить,— сказал Сократилин. — Пойдем к нашему командиру.

Лейтенант и слушать не стал. Он приказал отобрать у паренька винтовку и выпроводить из дому. Винтовку отобрали, а выпроводить не успели.

До этого по стенам дома лязгали шальные пули. Теперь немцы повели прицельный огонь. Звякнула под толчком люстра, и на пол посыпались подвески. Сократилин бросился на чердак.

С чердака отлично просматривался город и совершенно не видно было, что происходит рядом с домом. Сократилин следил за дорогой от рынка к кремлю. Немцы один за другим перебежали эту дорогу. Богдан посмотрел влево. Вдоль стен наискось стоявшего дома пробиралась цепочка автоматчиков. Сократилин указал цель и скомандовал: «Огонь!» Один упал, остальные уползли за угол. Пока на чердаке было довольно-таки спокойно. Пули сюда почти не залетали, и это давало возможность вести прицельную стрельбу.

— Зря не палите. Бейте наверняка. Немцы зря под пули не бросаются,— говорил Сократилин. Ему очень

нравился небритый боец. Своим хладнокровием он чем-то напоминал татарина Кугушева, но в отличие от того стрелял без промаха.

Сам же Сократилин стрелял хуже обычного. У него тряслись руки, и он ничего не мог с ними сделать. И тряслись не от страха, а отчего — он и сам не мог понять. Он злился, нервничал и делал промах за промахом.

Немцы увидели, откуда по ним бьют, и словно градом осыпали крышу. Ржавое, истлевшее железо пули пробивали, как фольгу, на чердаке светлело с каждой секундой. Справа от Сократилина закричал красноармеец, схватился за голову и упал. Больше оставаться на чердаке стало невозможно. Из окна противостоящего дома по ним непрерывно лупил пулемет.

— Ползком пробирайтесь на второй этаж! — крикнул Сократилин.

Уползти с чердака удалось лишь двоим — Сократилину и небритому красноармейцу. У третьего не выдержали нервы. В дверях он вскочил, чтоб броситься вниз по лестнице, и упал, пробитый пулеметной очередью.

То, что происходило на втором этаже, Сократилина повергло в ужас, и он понял, что не только часы, но и минуты их сочтены. Железный ливень хлестал беспрепятственно. Со стен, с потолка сыпалась штукатурка, пол усыпан обломками шкафов, стульев. От сгущавшихся сумерек, от дыма было темно; воздух был раскален, насыщен запахом пороха, и люди задыхались в дыму, в густой едкой пыли. У стены он заметил лейтенанта. Раненный в живот, он продолжал командовать, хотя никто его не слушал.

— Пить, пить! — услышал Богдан детский голосок. В углу корчился мальчик в вельветовой курточке.

— Ах вы сволочи, какие же вы сволочи! — простонал Сократилин, поднял мальчика и вынес из комнаты на лестничную площадку, положил там и сразу же вернулся и лег у окна с карабином.

С этой минуты Сократилиным овладело отчаяние. Он не допускал и мысли, что его так легко и просто могут убить. Сократилин видел, как немцы приволокли пушку, как суетился около нее расчет. И он стрелял по артиллеристам, насмехался над ними, обзывал их трусами, бандитами, убийцами. Кончились патроны. Сократилин вспомнил про убитого красноармейца на чердачной лестнице. «У него, наверное, остались патроны». И он уже пошел, и взял бы эти патроны, и продолжал бы

стрелять и убивать, но тут раздался истошный крик:
— Немцы в доме!

Они обошли дом с тыла, со стороны Волхова, взломали дверь и ворвались с черного хода. Внизу поднялся шум, стрельба, русская брань смешалась с немецкой. Снаряд влетел в окно, разорвался, из двери вместе с клубами удушливого дыма выкатились ошалевшие бойцы и ринулись вниз по лестнице, увлекая за собой Сократилина. Они камнем свалились на поднимавшихся немцев. И русские и немцы смешались и клубком покатались вниз по крутым ступеням. Карабин дулом зацепился за металлическую решетку перил, треснул, и в руках Сократилина остался приклад. Этим прикладом Богдан колотил кого-то по голове. Оружий клубок чело-веческих тел выкатился на улицу, и началась дикая свалка.

Сократилин напруг последние силы, разорвал кольцо рук, стиснувших горло, и тут же получил зубодробильный удар по челюсти. Боль на какую-то секунду отрезвила Сократилина. Он выкатился из кучи, вскочил на ноги и побежал. Увидел береговую полосу Волхова, в лицо пахло сыростью. Берег здесь был крутой, обрывистый. Сократилин прыгнул и вместе с песком заскользил к воде.

Гулко, как в барабан, ударил «шмайссер». Сократилину показалось, что по левой голени с маху ударили колом, зазвенело в ушах, из глаз покатались желтые кольца, на минуту он потерял сознание, а когда оно к нему вернулось, услышал шорох песка под сапогами. Он приподнял голову и сразу же уронил ее и закрыл глаза.

Два немца подходили к нему, выставив перед собой автоматы. Они приблизились вплотную, остановились и долго смотрели на грязного, измученного, беспомощного русского фельдфебеля. Сократилин слышал их дыхание, чувствовал запах табака и еще чего-то приторно-кислого. Потом один из них постучал носком сапога по подметке сократилинского сапога.

— Der Russe lebt. Er stellt sich nur an¹.

— Ihm sind die Beine gebrochen²,— сказал второй.

— Gib ihm den Gnadenschuss³.

— Warum. Jurgen? Wir sind doch keine SS⁴.

¹ — Русский жив, а притворяется мертвым.

² — У него ноги перебиты.

³ — Надо пристрелить.

⁴ — Зачем, Юрген? Мы же не эсэсовцы.

— In der SS sind aber Kerle. Wieviel sind heute gefallen?¹

— Lass die SS Verwundete abschiessen. Sie lieben sowas².

— Werde nur nicht philanthropisch, Schieman, — проворчал Юрген. — Wenn ich ihn kalt mache, desto besser für ihn³.

Сократилин, разумеется, не понимал их разговора, но интуитивно чувствовал, что все, конец! В одно мгновение пронеслась перед глазами вся его жизнь. И только сейчас он увидел, насколько она у него была короткой и серенькой. И так ему стало обидно за свою жизнь и так стало жаль себя, что горло сдавили спазмы и тяжелые, крупные слезы покатались по грязному, заросшему лицу.

— Er weint. Komm, nimm das nicht auf dein Gewissen⁴.

Юрген сухо рассмеялся:

— Für ein toten Bolschewiken vergibt mir der Führer alle Sünden⁵.

— Dann aber dalli. Mach schon⁶.

Сократилин не слышал, как щелкнул спусковой крючок и как затвор уткнулся в патронник. Зато отчетливо слышал, как немец выругался.

— Wird's bald?⁷ — спросил Шиман.

— Hab Sand in der MP⁸.

— Woher der Sand?⁹

— Ich habe es fallengelassen... Gut, komm. Lassen wir ihn den Himmlerdrüdern¹⁰.

— Natürlich. Ich sagte ja¹¹.

Сократилин слышал, как они уходили. Но все еще боялся пошевелиться, открыть глаза. Он понимал, что

¹ — Эсэсовцы — парни что надо. Сколько их полегло?

² — Ну вот пусть эсэсовцы и добивают раненых. Они это дело любят.

³ — Не разводи филантропию, Шиман. Если я его прикончу, ему же лучше будет.

⁴ — Он плачет. Пойдем. Не бери на душу лишнего греха.

⁵ — За одного убитого большевика мне спишет фюрер все грехи.

⁶ — Тогда не тяни. Кончай скорее.

⁷ — Ну что ты копаешься?

⁸ — Песок набился в автомат.

⁹ — Как же он туда попал?

¹⁰ — Да я его уронил... Ладно, пошли. Оставим его ребятам Гиммлера.

¹¹ — Конечно. Я же тебе говорил,

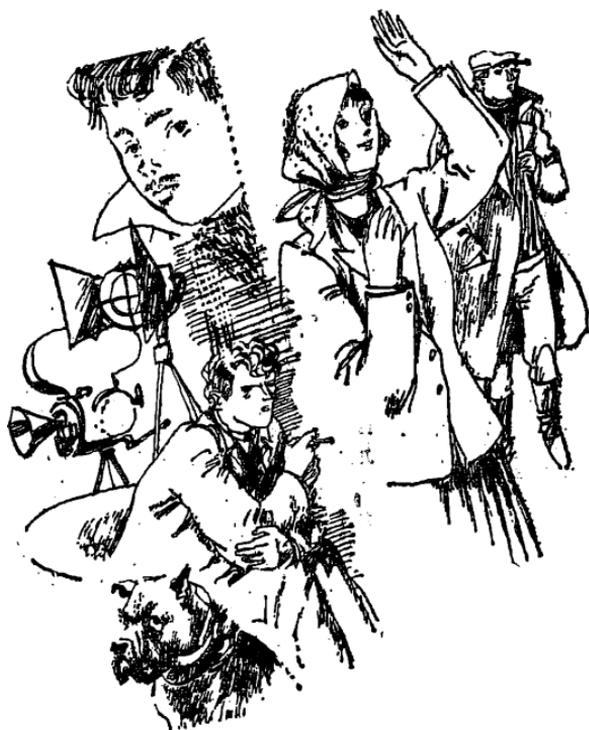
его пощадили. Но почему? Над этим думать не было ни сил, ни желания. Со смертью он смирился и принимал ее не только как неизбежность, но и как избавление от всех мук и страданий. И вот, когда он остался жить, ему вдруг стало страшно, у него затряслись ноги и тело покрылось густым и липким, как клей, потом.

Город горел. Отсветы пожара полоскались в Волхове, и вода казалась кровавой. По золоченым куполам Софии тоже как будто стекала кровь, а на розоватых стенах собора плясали уродливые тени.

Конец первой книги

1967.

УРОД
НАДЕНЬКА ИЗ АПАЛЁВА
СУДЬЯ СЕМЕН БУЗЫКИН



УРОД

Когда-то Фуражки были деревней, довольно-таки грязной и захудалой. Между городом и Фуражками лежала топкая низина, ровная, гладкая, без единого кустика. Весной она вовсю цвела и чавкала; жарким летом высыхала, становилась сивой и колючей, как стерня, а осенью опять зеленела и чавкала.

Итак, на одном конце низины прилепились Фуражки, на другом начинался город, сплошная стена домов, плоские крыши, над ними желтые купола, множество фабричных и заводских труб. В пасмурную погоду дым и облака сливались вместе, город тускнел и сжимался, словно ему было холодно. В погожий, ясный день он, развалиясь на огромной равнине, казалось, нежился, лениво покуривая из своих темных, длинных труб в белесое, как выцветший ситец, небо. Ночью город вырастал до невероятных размеров. Со всех сторон к нему тянулись бледные цепочки огней, ближе к центру они теряли стройность: рвались, путались, лезли вверх, нагромождаясь друг на друга. И город превращался в гигантскую холодную гору огней, над которой до утра стояло мутное зарево.

Потом по низине рядом с деревней проложили железную дорогу. Дома обитателей Фуражек уткнулись в высокую

песчаную насыпь, за которой были видны теперь только трубы, тонкие и ровные, как вязальные спицы. Город за насыпью продолжал расти и вширь и ввысь. А Фуражки как были, так и остались грязной, захудалой деревушкой.

Окраиной города Фуражки стали после того, как здесь построили кирпичный завод, дощатые бараки, баню, а при ней ларек «Пиво — воды». И старые Фуражки с темными, замшелыми крышами закачались, запыхтели, как на дрожжах, и вскоре развалились.

Новые Фуражки заложил Степан Степаныч Отелков — буфетчик ларька «Пиво — воды». На месте крошечного, как улей, домика он поставил кирпичный двухкомнатный особняк на каменном фундаменте. Усадьбу засадил яблонями с вишней, крыжовником, малиной и забрал со всех сторон кирпичной стеной. Снаружи перед окнами воткнул в землю три свежие палки тополя. Палки прижились, пустили корни, прижились и яблони с крыжовником, прижился и глубоко пустил корни здесь сам Степан Степаныч. Хоть и говорили, что дом Отелкова стоит на пивной пене, однако дом стоял твердо и, как хозяин, угрюмо молчал и темнел с каждым годом.

От Отелкова вправо и влево стали один за другим появляться дома с серыми черепичными крышами и кудрявыми тополями под окнами. Появились закоулки, переулки, вытягивались улицы. И самую длинную из них назвали проспектом.

Прошло всего десять — пятнадцать лет, и не узнать Фуражек — так они изменились. Низина осушена, и на ее месте — парк; карьеры, в которых брали глину, превратились в живописные пруды. Пенсионеры с утра до вечера удят здесь карасей, зимой ловят мотыля и бойко торгуют им у зоомагазинов.

Степан Степаныч Отелков умер, не дожив всего трех дней до последней денежной реформы. А дом стоит. Правда, выглядит он теперь старше и беднее своих соседей. Черепичная крыша в дырах, штукатурка почернела, а по карнизу совсем обвалилась. Сад густо зарос лебедой, крапивой, репейником, колючим чертополохом. Яблони только цветут, но не плодоносят, одичали и крыжовник с малиной. Дверцы калитки не открываются и не закрываются, а дорожка от нее до крыльца напоминает тропу в джунглях.

Ставни на окнах грязно-голубого цвета. Раз в сутки, а иногда и два раза, преимущественно вечером, желез-

ные засовы с ржавым звоном вываливаются из пазов, и ставни с грохотом распахиваются. Потом они опять со звоном и грохотом закрываются, как будто хозяин дома веселому солнечному свету предпочел скромные, уютные сумерки. На крыльце с перилами весь день, свернувшись, лежит покалеченный рыжий боксер. Можно спокойно войти в сад, полазить по кустам — боксер не залает и даже не пошевелится. Он слишком занят своими думами, чтобы обращать внимание на пустяки. От долгих дум, вероятно не очень веселых, морда у боксера сморщилась, как у дряхлого старика.

Иван Алексеевич после смерти дяди, Степана Степаныча Отелкова, стал по праву единственным и законным владельцем этого дома. Тот еще при жизни отписал свой дом племяннику. Степан Степаныч любил Ивана Алексеевича не за близкое родство, и не за мягкий характер, и, конечно, не за красивые глаза. Дядя ценил в племяннике, как он сам выражался, «интеллект». Степан Степаныч никогда не упускал случая похвастаться племянником. Подняв вверх палец, он произносил не без гордости: «Иван Алексеич Отелков — наивысший интеллект! — И добавлял как бы между прочим и небрежно: — Он киноартист!» К «наивысшим интеллектам» Степан Степаныч относил артистов, писателей и адвокатов; к средним — директоров, председателей и еще кое-каких начальников; к низшим — инженеров, учителей, бухгалтеров и всяких ревизоров.

Отношение племянника к дядюшке было переменное: он любил его и не любил, порой относился с почтением, порой презирал, иногда искренне жалел и так же искренне ненавидел — все зависело от настроения. Иван Алексеевич был современный человек — враг частной собственности и мещанства. А Степан Степаныч в Фуражках считался предводителем всех стяжателей и мещан. Однако, будучи нахлебником дядюшки, Иван Алексеевич открыто и решительно выступать против него боялся. Тем и объясняются столь неустойчивые отношения между племянником и Степаном Степанычем. Всех же остальных обывателей Фуражек Иван Алексеевич и за людей не считал, что, по его мнению, было выше презрения.

Обыватели относились к Ивану Алексеевичу с почтением, хотя и говорили, что артист Отелков в кино «изображает толпу».

Иван Алексеевич проснулся ровно в десять. Рано вставать Отелков считал дурной привычкой, а сегодня тем более. Дома он все равно не завтракал, нынче и завтракать было не на что. Вчера он ужинал в ресторане, правда, угощал приятель, артист Васенька Шляпоберский, и вот добираться до дому пришлось на свой последний рубль. Вспомнив об этом, Отелков сморщился, замотал головой.

Ничто так не возмущало Ивана Алексеевича, как безденежье. Деньги для него были одновременно и счастьем, и злом. Не потому, что он был жаден до них, наоборот, скорее он был слишком щедр; просто у Отелкова их почему-то всегда не хватало, хотя зарабатывал он если не больше, то по крайней мере не меньше Васеньки Шляпоберского, на аванс которого вчера пили коньяк с шампанским, тройной кофе с лимоном и угощали ананасами каких-то неизвестных дам.

В последний раз Иван Алексеевич неплохо заработал на дуближе заграничных картин. На эти деньги он собирался подремонтировать дом, «сделать» новое пальто и до отвала накормить боксера. Но деньги так быстро и бесследно исчезли, словно Иван Алексеевич положил их в дырявый карман.

— Фу ты черт возьми, какая непростительная глупость! — Он не договорил, в чем заключалась эта глупость, и, сжав голову руками, простонал: — Ужасно!

В углу на войлочной подстилке зашевелился вислужий боксер и, подняв унылую морду, посмотрел на Отелкова. Иван Алексеевич продолжал стонать и охать. Боксер, волоча задние ноги, приковылял к хозяину и положил на кровать лапу.

Иван Алексеевич подергал собаку за ухо и равнодушно спросил:

— Жрать, хочешь, Урод? А у меня ничего нету. Ни копейки.

Боксер благодарно полизал руку Отелкова. Иван Алексеевич, машинально поглаживая голову боксера, стал размышлять о жизни, о неудачах, о деньгах.

— Да, скучища без денег! Ужасно страшная скучища. И почему это их нам никогда не хватает, Урод?

Урод, склонив голову, смотрел на Отелкова, и его печальные, с лиловой пленкой глаза, казалось, выражали немой укор.

Ивану Алексеевичу вскоре надоело философствовать. Он сказал собаке: «Пошел прочь, на место» — и, повернувшись на спину, бессмысленно уставился в потолок,

грязно-серый, с черной, как борозда, трещиной. Пес отправился в свой угол.

Урод во всем оправдывал свою кличку. Задние лапы у него были так вывернуты, что походили на ласты. Когда Урод двигался, они громко шлепали.

Ставни не открывались со вчерашнего вечера, но вся комната была забрызгана солнцем — его лучи проникали в бесчисленные дыры и щели ставен.

Иван Алексеевич перевел глаза с потолка на стены. По обоям цвета болотной травы струились кривые ржавые ручьи; в трех местах обои вздулись подушкой, а над книжной полкой свисали лохмотьями.

— Фу, гадость, до чего я докатился,— простонал Иван Алексеевич, перевернулся на живот и уткнулся носом в подушку.

Отелкова грызла совесть, она всегда безжалостно мучила его по утрам. «Вот он, человек неглупый, образованный, с положением в обществе, а живет хуже, чем... и не придумаешь никакого сравнения»,— думал о себе Отелков в третьем лице.

Робко, как будто случайно кем-то задетый, протинькал в сенях звонок. Иван Алексеевич не обратил на него внимания и с головой закутался в одеяло. Звонок прудребезжал громче, Отелков не пошевелился.

Урод затряс ушами и беспокойно завертел головой. Звонок не переставая дребезжал и звякал. Урод совсем растерялся, он подполз к кровати, схватил зубами одеяло и потащил его с Отелкова.

Иван Алексеевич спустил ноги на пол, зевнул, поскреб волосатую грудь. Звонок теперь звонил протяжно и неприятно, как будильник.

— Видно, не отвяжется,— сказал Отелков, сунул ноги в шлепанцы, завернулся в халат, пошел открывать дверь и сразу же вернулся, сбросил халат и тяжело, как мешок с отрубями, свалился на кровать.

Приоткрылась дверь, и робко, бочком протиснулась женщина с кошелкой в руках. Оттого ли, что в комнате было сумрачно, или от чувства неловкости женщина долго стояла у порога, переступая с ноги на ногу. Отелков не шевелился, одним глазом наблюдая за ней, думал: «Уйдет или не уйдет?» Женщина, видимо, решила остаться. Поставила кошелку на пол и, не спуская глаз с Ивана Алексеевича, сняла плащ.

— Я ненадолго. Посижу и уйду...— сказала она и, помолчав, добавила: — Шла с рынка, мимо. Думаю: зайти или не зайти? Вот и зашла. А ты как будто и не

рад? — говорила женщина, усаживаясь на стул и расправляя на коленях платье.

Отелков сделал вид, что хочет встать.

— Лежи, лежи, я ненадолго. Посижу и уйду, — торопливо проговорила женщина и виновато улыбнулась.

Иван Алексеевич облегченно вздохнул и так потянулся, что затрещала кровать.

Урод давно уже вылез из своего угла и, нетерпеливо перебирая лапами, не отрываясь, смотрел на женщину. В глазах его было все: и преданность, и любовь, и надежда. Но женщина не замечала Урода, она смотрела на Ивана Алексеевича, и в глазах ее было то же, что и у собаки. Терпение Урода в конце концов лопнуло, и он вежливо подергал зубами подол платья. Женщина испуганно вздрогнула, но, увидев собаку, радостно всплеснула руками:

— Милый ты мой, Уродушка! Как же это я тебя забыла! — Женщина вскочила, покопалась в кошелке, вытащила газетный сверток и показала Уроду. Дрожа от нетерпения, боксер взвизгнул.

— Что это? — спросил Отелков.

— Кости...

— Отнеси на улицу. Пусть там жрет.

Женщина, спровадив Урода глотать кости, стала прибирать комнату. Ее крепкая фигура двигалась по комнате гибко и бесшумно.

И когда она, подметая пол, приблизилась к Ивану Алексеевичу, он тяжело опустил ей на затылок руку. Женщина присела и широко открытыми счастливыми глазами посмотрела на Ивана Алексеевича.

— Пришла?.. Молодец, что пришла.— Иван Алексеевич ласкал ее волосы, гладко зачесанные и собранные на затылке в узел. Нащупав шпильку, он ее вытащил, и волосы рассыпались по спине. Женщина, закрыв глаза, запрокинула голову. Рот у нее приоткрылся, обнажив плотную белую полоску зубов. Иван Алексеевич обнял женщину, стиснул, поцеловал в лоб, потом в открытые губы. Женщина, охнув, встала на колени и прошептала:

— Зачем же вдруг... сразу так... Дай хоть пол подмести.

Глаза у нее искрились от радости, она что-то торопливо, бессвязно говорила, но Отелков ее не слушал, он гладил ее и чувствовал, что его руки вместе с теплом тела ощущают какое-то другое тепло, от которого дрожит каждая жилка и кружится голова...

Потом Иван Алексеевич лежа курил и равнодушно наблюдал за ползущим по стене клопом.

Когда ему это наскучило, он скосил глаза на женщину, на ее голые плечи, на разбросанные по подушке волосы.

«Странно, как их у нее много,— подумал,— и как это она ухитряется их так гладко причесывать. Вероятно, волосы очень тонкие».

Голова у женщины была запрокинута, глаза закрыты, лицо маленькое, бледное, измученное, а губы сморщились, как увядший лепесток фуксии. Отелкову стало обидно за свое мужское достоинство: почему ему, здоровому, видному мужчине, приходится лежать с этой уже немолодой да и не слишком красивой бабой?

«Пора бы ей и честь знать»,— подумал он и толкнул женщину локтем. Она не ответила. Но по тому, как вздрогнули губы и шевельнулись ресницы, Иван Алексеевич понял, что она не спит. Отелков неуклюже повернулся к ней спиной.

Он задремал, а когда очнулся, женщина одевалась.

«А что, если у нее попросить хотя бы рублей пять?» Мысль пришла внезапно, и Отелков попытался за нее ухватиться. Женщина припудрилась, слегка подкрасилась, сняла с вешалки плащ.

«Вот сейчас она уйдет, и уйдут пять рублей»,— подумал Отелков, но попросить не хватило смелости.

Взяв сумку, она открыла дверь, на секунду остановилась и посмотрела на Отелкова.

«Вот сейчас подойдет, поцелует в лоб, и я у нее спрошу».

Но она не подошла и, тихо закрыв дверь, исчезла.

— Ушла... и даже пол не домела.— Иван Алексеевич выругался.— Все. Больше я ее на порог не пушу.

Подобные решения Отелков принимал часто, но еще чаще от них отказывался. Он и сам не мог понять, каким магнитом машинистка Серафима Анисимовна Недошекина его притягивала. Он ее не любил, да и особой страсти к ней не чувствовал. Но она была какая-то особенная. Одним словом, как ее определил Иван Алексеевич, уютная. А уюта-то как раз ему и не доставало. Однажды Серафима Анисимовна сказала Отелкову:

— Я одинокая, а ты одиночке меня. Ты такой одинокий, хуже, чем крот. Мне и тебя, и себя жалко. Потому я и хожу к тебе.

Крепко сжав ладонями виски, Отелков стал думать,

где бы раздобыть хоть рубля три. Думал долго и не заметил, как уснул.

Когда Иван Алексеевич проснулся, в доме было совсем темно. Он понял, что солнце сместилось и теперь светит не в ставни, а в глухую стену. Отелков встал, завернулся в халат, вытолкнул железный стержень за-сова, и ставни с грохотом распахнулись. Он открыл окно, лениво опустил на стул и стал смотреть на улицу.

Стоял безоблачный, душный июльский полдень. Из сада в комнату, как из раскаленной печки, втягивался плотный, горячий воздух. Иван Алексеевич отодвинул стул, закурил, облокотился на подоконник.

Все изнывало от жары. Тополя, бессильно опустив ветви, бросали на землю жидкие, короткие тени. Густой малинник вдоль забора вывернулся наизнанку, поседел и не шелохнется. Опустив хвосты, уныло бродили соседские куры. Под кустом крыжовника, положив на лапы голову, парился Урод. Мокрый язык вывалился из пасти и трепыхался, как тряпка. За забором, словно подмасленная сковорода, блестела асфальтовая дорога. Взгляд Отелкова уперся в железнодорожную насыпь с желтыми плешинами песка и мелкой ржавой травой.

Ничто так не раздражало Отелкова, как эта насыпь. Вот уже тринадцать лет она торчит перед его глазами и до того обрыдла, что даже в самые отрадные минуты жизни Иван Алексеевич старается не открывать ставни, чтобы не испортить себе настроения. Но и это мало помогает. Когда по ней с чугунным грохотом ползет тяжеловесный состав, дом трясется и звякает, как телега с кухонной посудой.

Настроение у Отелкова было хуже чем отвратительное. Давило не только безденежье, но и отсутствие каких-либо перспектив. Роль, на которую он рассчитывал, отдали другому, по мнению Ивана Алексеевича, совершенно бездарному артисту. Режиссер-постановщик, злой, желчный, весь утыканный остротами, как еж иглами, насмешливо сказал ему:

— Вы, Отелков, умеете играть только себя. А такой роли у меня в фильме нет. Подождите, напишут, тогда и поработаем.

— Играете только себя,— медленно, по складам повторил Отелков и горько усмехнулся: — Разве только я один! А эта дутая знаменитость Сомов — штатный исполнитель бюрократов? Антон Кондаков, положительный герой, первый любовник, заштампованный, как

больничный лист... Сыграл двадцать лет назад композитора, так с тех пор и валяет всех на одну колодку: и офицера, и инженера, и тракториста, и футболиста. А психопатки от него без ума: «Вы смотрели новый фильм? Там Кондаков. Прелесть, сплошное обаяние»...

Иван Алексеевич выругался и выплюнул окурочок под окно.

— Ивану Ляксеичу — мое почтение! — продребезжал у забора старческий голосок.

Отелков поднял глаза, прищурился. Над забором, как одуванчик, качалась седая головка Штукина по прозвищу Яй-бога.

— Степан Емельяныч, здравствуй, — стараясь быть ласковым, приветствовал его Отелков.

— Иду, мотрю, яй-бога, сидит наш Иван Ляксеич, отдыхает, природой наслаждается, так сказать, во-о-от, — протянул Степан Емельяныч и, сжав в кулаке бороденку, хихикнул.

Отелков хотел грустно улыбнуться, но вместо улыбки лицо брезгливо сморщилось. «Сейчас начнет расхваливать». Не успел Иван Алексеевич и подумать об этом, как старик заговорил торопливо, взхлеб:

— Мотрю вчера телевизор, а вы там, Иван Ляксеич, роль разыгрываете, яй-бога, хорошо. Кричу: «Баба, мотри, Иван Ляксеич роль разыгрывает». Правда, маловато, а хорошо, яй-бога, хорошо, аж слезу жмет! Горжусь тобой, виноват, вами, Иван Ляксеич, яй-бога, горжусь и всем говорю: «Иван Ляксеич — мой старый знакомый. Мы с ним эва с какого времени знаемся».

Отелков с трудом сдержал себя, чтобы не закричать: «Пшел прочь, старый идиот!» Степан Емельяныч, сам того не желая, нанес Отелкову удар, как говорят, в запрещенное место. Ничего не было оскорбительней для Отелкова, чем роль, которую так расхваливал Штукин. Для артиста это предел падения. Исполнять в театре шаги за сценой в сто раз почетнее, нежели роль, на которую согласился Иван Алексеевич. В короткометражке о мухах, отхожих местах и помойках он изображал санитарного начальника в белом халате, вся роль которого сводилась к тому, чтобы снять трубку телефона, набрать номер и сказать: «Алло». Степан Емельяныч, не ведая, что творится в душе Отелкова, продолжал всю восхищаться талантами Ивана Алексеевича:

— А еще вы играли этого... как его... в шляпе с бородой. Ну и хорошо же, яй-бога, смотришь не насмотришься. Важный такой, и походка и голос. Мотрю и

говору своей бабе: «Яй-бога, как есть вылятый наш Иван Ляксеич».

Отелков поморщился:

— Полно вам, Степан Емельяныч, хватит.

Какое там хватит! Штукин только разошелся.

— Уж очень вы важно, Иван Ляксеич, в кино представляетесь. Яй-бога, как министр. А где вы нонче-то играете?

— Пока снимаюсь. А как выйдет картина, сам лично приглашу. Билет бесплатный дам.

— Неужто со мной пойдешь? — И Степан Емельяныч чуть не задохнулся от радости.

Отелков, чтоб отвязаться от старика, солидно заверил, что обязательно пойдет с ним в кино.

Но и эта уловка ни к чему не привела. Степан Емельяныч зачастил и посыпал, как глухарь:

— А уж я-то, Иван Ляксеич, так вас люблю, так уважаю... Яй-бога, смотришь кино и радуешься.

К счастью, болтовню старика заглушил пронзительный женский голос:

— Ты чего это там стоишь-то? Куда я тебя послала-то? Опять словоблудишь-то?

Степан Емельяныч дернулся, как на шарнирах, и, сгорбясь, трусцой побежал вдоль забора.

Несмотря на то что Штукин был несносный говорун и к тому же врал бесподобный, Иван Алексеевич относился к нему милостиво и даже снисходил до того, что здоровался за руку. Старик же бескорыстно был ему предан и, как только мог, славил в Фуражках Отелкова. Нравилось ли это Ивану Алексеевичу или не нравилось, по крайней мере он не препятствовал.

Штукин не врал только в одном — что давно знает с Отелковым. Иван Алексеевич познакомился с ним, когда Штукин еще работал в бане кочегаром, а сам он учился в театральном институте.

...Как-то Степан Степаныч Отелков совершенно некстати заболел, да так, что не смог встать с дивана, чтобы пойти в баню, в свой ларек. А идти позарез надо было. Там стояли две полные бочки пива. Погода была жаркая, и пиво грозилось загулять и скиснуть. Иван Алексеевич не мог отказать дядюшке в просьбе — помочь ему распродать пиво.

— Когда тебе, Ванюшка, понадобится заряжать бочку, покличь кочегара Степку Штукина — Яй-богу. Он у ларька все время околачивается. Такой юркий, тощий и грязный, как навозный жук. За кружку пива он все,

что хошь, сделает,— наставлял Степан Степаныч племянника.

Когда Иван Алексеевич подходил к ларьку, там уже стояла толпа мужиков. Среди них он узнал и Штукина. Тот что-то кому-то доказывал. Все у него при этом болталось и двигалось, словно голова его, руки и ноги были пришиты к туловищу кое-как, на живую нитку.

Иван Алексеевич открыл ларек, и Штукин суетливо начал обшаривать свои карманы, высыпал в руку Ивана Алексеевича несколько медяков и виновато забормотал:

— Маленькую. Извините, там не хвата... занесу... яй-бога, занесу. Спроси у кого хошь, занесу. Твой дядюшка меня хорошо знает, яй-бога, меня тут все знают... Штукин я, кочегар...

Иван Алексеевич вместо маленькой налил ему большую. Впрочем, молодой буфетчик не скупился: кружки наполнял до краев, охотно верил в долг и даже сам навязывал: «Чего там маленькую. Дуй большую. Деньги после занесешь».

Небывалая щедрость продавца вдохновила фуражных пиволюбов. Хвост очереди со двора бани вывалился на улицу. Кочегар Штукин побежал в третий раз занимать очередь и вдруг остановился.

«Степан, а ведь это непорядок,— подумал он.— Раньше ты один мог задарма выпить кружку пива. А теперь все, кто хочет. Непорядок, Степан, яй-бога, непорядок! Тебя ни за что ни про что со всеми сравняли».

Штукин сначала растерялся, потом расстроился, наконец, возмутился и со всех ног бросился к Степану Отелкову.

Тот спокойно выслушал рассказ Штукина о художествах племянника и, вместо того чтобы отблагодарить его за столь важное сообщение, сказал довольно-таки оскорбительно:

— Колун ты, Яй-бога, тупой колун. Ведь он же готовит себя в артисты. А какой же это артист, если будет трястись над кружкой пива? У артиста должна быть душа широкая, с размахом.— Отелков перекрестился и, вытирая слезы, пробормотал: — Теперь я спокоен за племяша. Правильную дорогу выбрал. Артист из него получится что надо.

Штукин обалдело смотрел на Отелкова. Но восхищение перед широкой душой артиста невольно передалось и ему. С тех пор старик самозабвенно влюбился в Ивана Алексеевича...

Иван Алексеевич не любил копаться в прошлом: прошлое его было значительно лучше настоящего, а в будущее он и заглянуть страшился. Но думы о прошлом сами налетали, как осенние мухи, больно кусали, и было очень тоскливо.

Жара все больше сгущалась, давила ленью, сонной истомой. Над насыпью винтом крутился серый столб пыли. Иван Алексеевич стал наблюдать за ним. Столб, покружившись на одном месте, вдруг резко прыгнул влево, стремительно побежал по обочине насыпи, потом вильнул под откос и рассыпался.

«Вот так и я,— подумал Иван Алексеевич,— покручусь, попрыгаю туда-сюда и рассыплюсь, как эта пыль. И никто обо мне не вспомнит, что был артист Иван Отелков. Он многого хотел и ничего не получил. Но ведь для чего-то я родился, для чего-то люди рождаются!— заговорил он про себя чужими, еще в институте заученными фразами.— Уф какая жарыща, и в голову лезет черт знает что... А без трех рублей не обойтись. Где их достать?»

Отелков уставился поверх насыпи на подъемный кран, который плавно и легко нес по воздуху крохотную, похожую на вафлю плитку. Плитка опустилась на серую, с бесчисленными дырами коробку.

Рядом тоже строился такой же дом, и над ним подъемный кран вытягивал темную тонкую шею. Ближе к насыпи закладывали фундамент сразу под три дома. А у самой насыпи рыли котлован. Отелков не видел, как рыли, он догадался, что рыли, по тому, как под насыпью то поднимались, то опускались блестящие челюсти экскаватора.

С левой стороны перпендикулярно насыпи тянулись ровные шеренги домов, сливаясь с городом. И все блестело на солнце, резало глаза.

Иван Алексеевич рассеянно смотрел на это, а в голове неуклюже, как камни, перекатывались неприятные мысли: «Давно ли здесь, в низине, скрипели кулики. А теперь вот город. Новый, незнакомый город. Когда он успел появиться? Вчера как будто его и не было. А сегодня стоит. Что со мной происходит? Я ничего не вижу, не слышу, даже что под боком творится. Неужели старею? Но ведь мне не так уж и много. Всего лишь сорок три. Сорок три, сорок три,— несколько раз повторил Отелков и покачал головой: — Сорок три — тоже срок немалый. В эти годы порядочный человек все имеет: и семью, и достаток... А у меня что? Ничего. Даже друга

нет, которому я бы мог поплакаться в жилетку или, не стыдясь, занять у него три рубля».

Мимо дома чинно просеменила модница. Она была так плотно втиснута в ярко-желтую тафту, что все формы ее обозначались соблазнительно и крикливо.

«Вот бы у нее занять три рубля». В ту же секунду модная девица, словно решив поймать Отелкова на этой дикой мысли, оглянулась. Иван Алексеевич неожиданно смутился, покраснел, опустил голову.

Отелков глянул на часы: было уже около двух. Он закрыл окно, сбросил халат и пошел мыться.

Внешности Иван Алексеевич придавал значение не меньше, чем женщина, и дорожил своей наружностью, как певец голосом. Он был достаточно умен и отлично понимал, что при его игре это единственный козырь. А на студии внешность Ивана Алексеевича расценивали еще выше и решительно утверждали, что у Отелкова фактура содержательней натуры.

От артиста Отелкова, как холодом, веяло невероятной серьезностью. Все в нем было внушительно, солидно и прочно. Высокого роста, правильного телосложения, Иван Алексеевич был на зависть сильный и здоровый мужчина. На великолепной, словно точеной, шее уверенно сидела тяжелая голова. Темные волосы с оловянной прядью посредине придавали лицу выражение умное и благородное. Глаза с мутной синевой и огромными чистыми белками, казалось, не умели ни возмущаться, ни восхищаться, серьезно смотрели, и только. Говорил Отелков лениво, мягким баритоном, который вытекал из его широкой груди медленно и вязко, как мед из бутылки. Особенно примечательны были руки Ивана Алексеевича — длинные, мягкие и гибкие, словно без костей.

Иван Алексеевич мылся долго, а потом долго и крепко растирал мохнатым полотенцем белую, гладкую кожу. Брился Отелков ежедневно и очень тщательно. После бритья смазывал лицо кремом и втирал его в кожу до тех пор, пока она не становилась эластичной, без единой морщинки, словно отглаженная утюгом. После этого он чистил и подпиливал ногти. Рубахи Иван Алексеевич признавал только белые, с твердыми воротничками и манжетами.

Отелков распахнул дверцы шкафа. Там висели три отличных костюма: светло-серый, коричневый с белой, чуть заметной полоской и черный. Он на минуту задумался и решительно снял серый костюм.

Иван Алексеевич предпочитал все солидное и поэто-

му носил галстуки однотонные — или абсолютно черные, или абсолютно белые.

Отелков повязал черный галстук, посмотрелся в зеркало и остался недоволен своим видом. Ему показалось, что он излишне строг. Иван Алексеевич примерил белый галстук и опять себе не понравился. Тогда он отверг галстуки и стал примерять бабочки. С белой бабочкой Иван Алексеевич выглядел как надо — и солидно и элегантно. Но тут Отелков вспомнил, что у него нет денег даже на трамвай и единственно, на что он может рассчитывать, так это на выручку от двух пустых бутылок.

«Зачем этот маскарад, для смеху, что ли?» — с досадой подумал Иван Алексеевич и наотрез отказался от галстуков. Он расстегнул верхнюю пуговку и посмотрел на себя в зеркало. Теперь он выглядел и просто и молодо.

Сдавать пустые бутылки было так же унижительно для Отелкова, как ходить в баню с веником под мышкой. Иван Алексеевич уважал баню с березовым веником, париться любил жестоко и славился в Фуражках как второй парильщик после начальника почты Романа Золотарева, который парился сухим веником в шапке с ушами и в брезентовых рукавицах. Хотя Отелков и сознавал, что шапка с рукавицами очень удобны для этого дела, но сам бы никогда их не надел. Не потому, что Иван Алексеевич был аристократ, а просто он выработал для себя строгое правило: не делай того, чего можно не делать, и не повторяй других в мелочах. А если Отелкову и случалось повторять, то он оправдывал себя тем, что это было вызвано крайней необходимостью.

Иван Алексеевич разыскал две бутылки из-под коньяка и задумался: «Как их нести по улице?» Карманы не годились: костюм слишком шикарен. Студенческий портфель слишком стар и потрепан. Нашлась коробка из-под туфель. Иван Алексеевич ухватился было за эту коробку, но, поразмыслив, отверг ее: «Подумают, понес на рынок ботинки». Ивану Алексеевичу почему-то казалось: весь, мол, город догадается, и что у него за душой ни копейки, и все только и будут стараться уличить его в постыдном безденежье.

Ничего не оставалось другого, как завернуть бутылки в газету. Пакет получился аккуратный. Иван Алексеевич перевязал его шнурком, нацепил на палец и, сняв с гвоздя прозрачный плащ-дождевик, вышел из дому.

На крыльце Отелкова встретил Урод. Не спуская

глаз с хозяина, он весь дрожал и мигал так, словно нанюхался луку.

— В дом не пущу,— резко сказал Отелков.

Урод заскулил, замотал головой и затряс ушами.

— Боишься, что украдут тебя? Зря боишься. Такая образина никому не нужна,— заверил Иван Алексеевич собаку и посмотрел на часы.

Урод обиженно залаял.

— Молчать! — прикрикнул на него Отелков.— На мыло захотел? Ладно, дай срок, спроважу тебя с большим удовольствием,— пригрозил Иван Алексеевич и серьезно подумал: «И в самом деле, зачем он мне?.. Была бы собака, а то черт знает что».

Иван Алексеевич явно пугал Урода... Даже если бы он и решил спровадить его на мыло, все равно не спровадил бы: во-первых, он привязался к собаке, во-вторых, ему на это не хватило бы времени, как не хватало времени обкосить дорожку от крыльца до калитки. Чтобы не испачкать костюм, Отелкову каждый раз приходилось пробираться по ней, как акробату по веревке.

Наконец Отелков вышел на улицу, посмотрел сначала вправо, потом влево, потом прямо перед собой и, не увидев никого, нагнулся, торопливо обмахнул носовым платком манжеты брюк и ботинки и зашагал к переезду под железной дорогой. Люди, встречая Отелкова, кланялись, хвалили сегодняшний день и, глядя, как он гордо несет откинутую назад голову и небрежно помахивает бумажным свертком, думали, что Иван Алексеевич идет с подарком на свадьбу. Может быть, они так и не думали, может быть, они вообще ничего не думали. Но Ивану Алексеевичу казалось, что именно так они думают, и он был доволен, что так ловко их провел.

Иван Алексеевич благополучно прошагал три остановки, благополучно сдал бутылки, благополучно сел в скоростной автобус и приехал на студию, которая находилась на другом конце города.

Урод, проводив Отелкова до калитки, долго и равнодушно смотрел ему в спину. А когда хозяин скрылся за поворотом, Урод, широко разинув пасть и закрыв глаза, так сладко зевнул, словно бы только что вкусно и до отвала пообедал. Бесцельно прогуливаясь вдоль забора, Урод набрел на курицу, которая, нахохлясь и растопыря крылья, сидела в пыльной ямке. Урод прогнал курицу и

лег в ямку сам, перевернувшись на спину, малость пока-тался, а потом долго отряхивался и выкусывал блох. Закончив туалет, Урод еще раз зевнул, но уже не от удовольствия, а скорее от скуки, и, положив голову на лапы, задумался. Невеселые думы бродили в его крепколобой, вислоухой голове. И все они в конце концов сливались в одну безысходно тоскливую: «Лучше бы и не появляться на этот свет». После глубокого и всестороннего анализа своего двухлетнего существования Урод пришел к выводу, что жизнь его представляет сплошную цепь невзгод и лишений.

Сначала все шло как надо. Щенком его любили, баловали, и ел он каждый день, как говорится, вкусную и здоровую пищу. Потом случилось несчастье. Виной всему были его глупая собачья молодость и еще белоухий котенок, который и вовсе был дурак.

Котенок первым начал драку, поцарапал щенку нос и, спасаясь бегством, выскочил со двора на улицу. Щенок бросился за ним и сразу же попал под колесо телеги, на которой какой-то застройщик перевозил кирпич. Невозможно представить себе боль, которую испытал в ту минуту несчастный щенок. Колесо раздробило ему таз и переломало задние ноги. Но еще больнее было от человеческого равнодушия. Правда, вначале все закричали: «Ай-я-яй!» — и принялись нещадно поносить застройщика всевозможными крепкими словами. Накричавшись, брезгливо посмотрели на изуродованного щенка, сказали: «Погибла породистая собака» — и кто-то посоветовал прикончить беднягу, чтоб не мучился. Но его сразу не прикончили и оставили мучиться весь день и ночь. А рано утром положили в корзинку, снесли в парк и бросили в затхлый, вонючий пруд. Однако щенку умирать совсем не хотелось. Он кое-как выкарабкался из пруда, забился под куст и пролежал там трое суток, не вылезая.

Поначалу щенка безжалостно мучили боль и обида. Потом боль притупилась, обида стала забываться, и на смену им пришел голод. Щенок глотал жучков, разных козявок, которых было множество под кустом бузины, ночью охотился за червяками-выползками. Жевать их было неприятно. Они были такие же холодные и пресные, как земля. Один раз ему посчастливилось накрыть лапой крошечного лягушонка. Вообще жить под кустом было не так уж и плохо... Солнце не жгло, ветер не продувал, дожди пока что не выпадали. Правда, по утрам, когда пруд дымился, как лохань с пареными с-

рубями, собачонка дрожала от сырости и холода. Но все это были мелочи по сравнению с голодом, и на четвертый день он выгнал щенка на дорогу.

Пруд находился в глухом, безлюдном углу парка, как раз на границе с мусорной свалкой. Ночью сюда ходить боялись. Щенок вылез из-под куста, когда уже стемнело. Добравшись до дороги, он пополз по ней, сам не зная куда. Впрочем, двигался он в нужном направлении, туда, где были слышны голоса людей. Полз медленно, очень долго, и никто не попадался ему навстречу. Щенок недоумевал и спрашивал себя, куда это все люди подевались. Раньше их было так много, что он не знал, куда от них спрятаться. Щенок выбился из сил и, встретив на пути скамейку, решил отдохнуть, забрался под скамейку и стал ждать. Он знал, что на скамейку обязательно кто-нибудь сядет, на то она и существует, чтоб на ней сидели. Трудно сказать, сколько прождал он — может, час, может, два, а может быть, и больше. Никто не знает. Часов у него не было, да и считать щенок тогда совсем не умел.

Щенок задрожал и сжался в комок, когда отчетливо услышал шарканье подошв по песку. К скамейке подошел человек, высокий, грузный и, видимо, очень расстроенный, потому что, прежде чем сесть, человек крепко выругался, а потом долго и сердито обмахивал носовым платком скамейку.

«Такому, пожалуй, не стоит и на глаза показываться», — и подалше отодвинулся от тuffель, которые так резко пахли гуталином, что он чуть-чуть не расчихался. Однако человек сидел очень тихо и все время вздыхал. «Наверное, ему тоже несладко живется», — сообразил бедняга и решил во что бы то ни стало познакомиться с человеком. Он чутьем понимал, что все равно хуже не будет.

Щенок подполз к свисающему карману пиджака и понюхал. От кармана, как от пепельницы, разлило табаком. «Фу, фу, мерзость!» — поморщился он и в ту же минуту отчаянно взвизгнул. Нога человека наступила ему на больную лапу. Человек нагнулся, сгреб щенка за шиворот.

— Ты кто? — И сам же ответил: — Кажется, из благородных.

Он опустил щенка на скамейку рядом с собой. Тот растянулся на скамейке, как лягушка: задние лапы у него торчали в разные стороны. Человек пристально посмотрел на щенка и удивленно протянул:

— Э, да ты, никак, урод? — и легонько дотронулся до зада.

Щенок взвизгнул.

— Бедняга, как тебя искалечили!

Урод — именно с этой минуты щенок получил свое имя — жалобно заскулил, затряс ушами.

— Жрать хочешь? — Человек пошарил по карманам и, не найдя ничего, раздраженно сказал: — И что за люди! Не люди, а свиньи. Изуродовали щенка и бросили подышать голодной смертью.

Урод осмелился полизать руку человека. Тот на ласку не обратил внимания: он задумчиво разговаривал сам с собой:

— Что же мне с ним делать? Прибить, что ли?

Глаза щенка смотрели на человека выжидающе и доверчиво. От этого взгляда человеку стало неприятно и больно.

— Черт знает что! И так в жизни не везет. Теперь изволь о каком-то бездомном щенке думать. А что о нем думать? Стукнуть головой о скамейку — и конец его мучениям.

Однако выполнить столь благоразумное решение у человека не хватило жестокости, и он решил потихоньку и трусливо сбежать.

Отелков (нетрудно догадаться, что это был именно он) шел быстро, стараясь не оглядываться и не думать о щенке. Но ни о чем больше не думалось, как только о нем.

Отелков сначала замедлил шаг, а потом и совсем остановился.

— Заберу-ка я его домой. Накормлю, а завтра всучу щенка кочегару Штукину. Он, кажется, любит собак. Впрочем, наплевать, любит он их или не любит. Пусть что хочет с ним делает. А взять от меня щенка не откажется, из уважения возьмет, — рассудил Иван Алексеевич и пошел назад к скамейке. Он завернул Урода в газету, понес домой и скормил ему свой ужин.

Утром Отелков не отдал Урода кочегару. Он даже не вспомнил о щенке. Урод же постеснялся о себе напомнить. Он забился под кровать и не вылезал до тех пор, пока Отелков не ушел из дому. На другой день и во все последующие Ивану Алексеевичу не удалось сбыть щенка. Так он и остался.

Когда Ивану Алексеевичу было очень скучно или совершенно незачем идти на студию, он занимался с Уродом. Обучал его кое-каким собачьим премудростям.

Урод довольно-таки быстро научился по приказу лаять до трех, подавать Отелкову по утрам стоптанные шлепанцы, зажигать и гасить у кровати торшер. Когда у Отелкова собирались гости, Урод с удовольствием демонстрировал свои таланты. Гости хохотали до слез и кричали: «Браво!.. Молодец!.. Ай да сукин сын!» — и прочие приятные слова, кормили колбасой, ветчиной, сыром — всем, что им бог посылал на стол.

Урод очень любил гостей и всегда ждал их с нетерпением, а когда они появлялись, да к тому же если были пьяненькие, выражал неистовый собачий восторг. К пьяницам Урод питал слабость и считал их единственно стоящими людьми. Любую попойку в доме Урод расценивал как большой праздник. Визиты Серафимы Анисимовны не были столь праздничны, скорее они походили на воскресенье. Урод разговлялся чем-нибудь мясным: или костью, или залежалой печенкой, или студнем с требухой. Но чаще всего Урод постился, так как хозяин, случалось, не ночевал дома или забывал о собаке. Но когда Иван Алексеевич был при деньгах, то оба питались с одного стола, и питались очень неплохо.

Размышляя о своей собачьей жизни, Урод зорко одним глазом следил за курицей. Она, весело распевая, приближалась к кусту крыжовника.

«Ух ты, какая жирная! Вот бы накрыть. И пообедал бы, и на ужин бы осталось. Сейчас бы я сразу половину съел, а другую половину можно стащить под крыльцо и закопать в землю.— Голова у собаки кружилась, с языка текли слюни, и вся она дрожала от нетерпения и страха.— Спокойнее, спокойнее. Что это со мной? Надо взять себя в руки».

Урод затаил дыхание, приготовился к прыжку. Но курица, не дойдя до куста самую малость, словно почувяв опасность, резко повернула и побежала назад, тряся отвисшим грязным хвостом.

— Фу, противная неряха! — проворчал Урод и озлобленно лязгнул зубами.

Урод принял свою обычную позу, то есть положил морду на лапы, и стал размышлять о том, удастся ли ему сегодня хотя бы малость перекусить. На Отелкова он совершенно не рассчитывал. «Он и сам-то, кажется, не жравши ходит. Бедняга!» — пожалел Урод хозяина.

«Эх, супчику бы котелок! — мечтательно подумал Урод и с удовольствием потянулся. Но тут он вспомнил о своем соседе Катоне, жадной и злой немецкой овчарке: — Катон, наверное, сейчас этот супишко так жрет,

что за ушами трещит. Кормят его в три горла. А за что? Абсолютно не за что. За то, что весь день тьякает, как заведенный. Идет человек по своим делам — Катон гавкает, бежит кошка — гавкает, на петуха тоже гавкает. Загремел гром — опять горло дерет. Даже на луну тьякает, словно бы она ему мешает. — Урод вздохнул и сам себе сказал: — Я бы, пожалуй, тоже гавкал, если б меня так кормили. Интересно, чем он сейчас занимается? Наверное, опять жрет. Раз не гавкает, — значит, наверняка жрет или спит. Пойти, что ли, посмотреть... так, для интереса».

Урод продрался сквозь густые заросли чертополоха, разыскал под забором дыру, которую сам прорыл. Огромная, с молодого теленка, овчарка, как и предполагал Урод, обедала. Сунув голову в кормушку, она ела с таким аппетитным хрустом и чавканьем, что у боксера задрожали ноги, горло сдавили спазмы, и он против своей воли трусливо, как подхалим, тьякнул:

— Здравствуйте, товарищ Катон.

Катон в знак приветствия небрежно помахал хвостом. Урод хотел было обидеться, но не обиделся и тем же подхалимским тоном сказал:

— Приятного аппетита, товарищ Катон!

Катон на минуту оторвался от кормушки и, насмешливо скаля зубы, посмотрел на Урода:

— А, это ты, калека?

Урод от обиды поморщился, но обострять отношения не стал.

— Ошибаетесь, сосед, не калека. Уродом меня кличут, — вежливо заметил он Катону.

— Это все равно, — буркнул Катон и с маху сунул морду в горшок, стоявший рядом с кормушкой. Горшок плотно сел ему на голову. Катон отчаянно и злобно замотал головой, но горшок сидел на морде прочно и не хотел сниматься.

«Так тебе и надо, обжоре!» — злорадно усмехнулся Урод и ехидно посоветовал:

— Вы его, товарищ Катон, об камушек стукните.

Катон с маху хватил горшок о камень, взвыл от боли и, грохоча цепью, бросился на Урода. Цепь отбросила Катона назад.

— Эх ты, тупица. Сколько лет сидишь на этой цепи и все никак понять не можешь, что она короткая.

— Ну и радуйся, что короткая. А то бы я с тебя в один миг стащил шубу, — проворчал Катон и стал обливаться.

— Как это стащил бы? Ты? — удивленно спросил Урод и, покачав головой, добавил: — Ничтожество.

Оскорбление Катон пропустил мимо ушей. Он хорошо поел, на него снизошло благодущие, и ругаться ему было лень. Урод же был голоден, зол, и ему хотелось вывести Катона из себя.

— Эй, ты, слышишь, за забором человек идет. Чего же не лаешь?

Катон перестал выискивать блох и равнодушно ответил:

— Зачем? Хозяина все равно дома нет.

— А ты что, лаешь только при хозяине?

— Конечно.

— Почему так?

— Да потому, что не будешь лаять — хозяин палкой огреет.

— Ну-у?! — изумился Урод. — И тебя часто бьют?

— А почти каждый день.

— И сегодня будут бить?

— Обязательно, — уверенно заявил Катон.

— За что?

— А вот видишь. — Катон повернул морду и показал на разбитый горшок, потом лениво зевнул и спросил сам: — А что ты так удивляешься? Словно тебя самого не лупят.

Урод, чтобы разжалобить Катона, понес на хозяина напраслину. Лупит, ругается, грозит сдать на мыло и почти не кормит.

Катон возмущенно взвыл:

— Какая бессовестная свинья твой хозяин! Морить собаку голодом! Ты и сейчас жрать хочешь?

— Ужасно, — прошептал Урод и наклонил голову, чтоб скрыть слезы.

— А я как раз все слопал. Что же ты мне раньше не сказал? Я бы тебе, может быть, что-нибудь оставил, — недовольно проворчал Катон и почесал лапой ухо.

Урод, униженно изгибаясь и принося тысячу извинений, попросил товарища Катона разрешить ему полизать его кормушку. Катон смилостивился, разрешил Уроду полизать кормушку и насовсем подарил ему здоровенную кость телячьей ноги. Но кость была такая гладкая и чистая, что Урод вынужден был вежливо от нее отказаться.

Простившись с Катоном, Урод отправился в сад другого соседа, у которого был поросенок и неплохая по-

мойная яма. Кормушку поросенка он так старательно вычистил, что ему бы позавидовала самая чистоплотная хозяйка. Помойка тоже его не порадовала. Он целый час в ней рылся и нашел всего лишь полкартофелины, изжеванную селедочную голову и две тощие колбасные шкурки.

Когда уже совсем стемнело, Урод вернулся домой на крыльцо и свернулся под дверью клубком.

На киностудию Отелков приехал во второй половине дня, когда гвалт, беготня по коридорам и хлопанье дверями достигли своего предела. К этому времени заканчивались заседания, совещания, худсоветы, редсоветы, техсоветы и прочие советы. Люди, ручьями вытекая из бесчисленных кабинетов и залов, заполняли длинные коридоры студии, сновали по ним туда и обратно, собирались кучками, как пчелы на сотах.

Иван Алексеевич, пожимая на ходу руки, пробрался на широкую лестничную площадку, соединявшую служебную часть студии с деловой, то есть съемочной. Эту лестничную площадку называли «Аглицким клубом». Здесь всегда толпились обиженные, обойденные и отвергнутые, сюда приходили и те, кому совершенно нечего было делать, и те, кому всегда было некогда. Сюда тащили все: радость и горе, последнюю новость, новейший анекдот, очередную сплетню.

Иван Алексеевич презирал «Аглицкий клуб» и бывал там от случая к случаю. Сегодня же он направился туда с единственной целью поймать непременно завсегда-тая «клоба» Васеньку Шляпоберского и перехватить у него хотя бы пять рублей. К удивлению Отелкова, площадка на этот раз пустовала, если не считать молодого режиссера Виктора Изварина и молодого сценариста Гудериана-Акиншина. Они стояли облокотясь на перила и лениво перекидывались словами. По их хмурым лицам Иван Алексеевич догадался, что вряд ли они обмениваются любезностями. Отелков тоже привалился к перилам, закурил и стал ждать. Этим не замедлил воспользоваться сценарист.

Про Гудериана-Акиншина на студии говорили, что это человек железной воли, самостоятельно решает вопросы мирового значения и читает труды генерала Гудериана. Поэтому-то к его заурядной фамилии и добавили кличку Гудериан. Сценарист был помешан на военной тематике. Да он и сам этого не отрицал и при разговоре

любил вернуть словечко или целую фразу из военной терминологии.

— Слушай, Отелков, как тебе нравится название картины — «Броневой колпак»? — заговорил сценарист, размахивая тоненькой, как сухая ветка, рукой.

Иван Алексеевич пожал плечами:

— Ничего.

— А если назвать «Теплая рукоять»? Звучит?

Отелкову очень хотелось сказать сценаристу: «Отстань, дурак!» — но не сказал и опять, пожав плечами, согласился, что «Теплая рукоять» тоже звучит. Гудериан-Акиншин придумал еще пять названий, и все они, по мнению Ивана Алексеевича, неплохо звучали.

Виктор Изварин, считавшийся на студии очень талантливым режиссером, вероятно, потому, что еще не отснял ни одного метра пленки, презрительно усмехнулся. Гудериан-Акиншин давно предлагал ему соавторство, еще когда его сценарий назывался просто «Боевая диагональ».

Режиссер Изварин равнодушно заметил:

— Все равно ни черта не получается у тебя, Гудериан.

Сценарист покосился на Изварина:

— Посмотрим. Сражение еще не кончилось.— И схватил Отелкова за рукав: — Иван Алексеевич, ради бога, послушайте хоть одну страницу... Это же настоящее искусство!

Делать Отелкову все равно было нечего, и он милостиво согласился послушать настоящее искусство. Гудериан-Акиншин трясущимися руками вытащил из рыжей папки сценарий, отыскал нужную страницу и, как рыба, хватая ртом воздух, начал:

— Блиндаж в пять накатов. Полковник Вильгельм Вейс спит на железной койке под черным одеялом...

Виктор Изварин, выставив шикарный остроносый ботинок и покачивая им, удивленно спросил:

— Что? Полковник спит под черным одеялом? Да разве так пишут?!

Сценарист побледнел.

— Тебе не нравится «под черным одеялом»? Хорошо. Я напишу — «под серым». Какое это имеет значение?

Гудериан-Акиншин выхватил из кармана перо, торпливо перекрасил черное одеяло в серое и хотел было читать дальше, но режиссер опять перебил:

— Охота тебе его слушать, Отелков! Я же как пять пальцев знаю этот сценарий...

Сценарист дернулся, словно его ударили по затылку

— Это называется предательский выстрел в спину.

— Ну-ну, скажи еще что-нибудь про косоприцельный огонь,— засмеялся Изварин и, одернув пиджак, пошел навстречу кудрявому блондину в ярком галстуке

— Как проба, Вадим?

— Утвердили,— небрежно ответил Вадим и, не сдержав радости, растянул рот в широченной улыбке.

Отелков отвернулся. Вся кровь бросилась ему в лицо, и стало так жарко и больно, словно его ошпарили. Вадим Хицкалов был тот самый артист, которому отдали роль Ивана Алексеевича. Хицкалов, увидев Отелкова, мгновенно погасил улыбку и, подойдя, протянул руку:

— Здравствуй, Ваня.

Отелков, не глядя, сунул Вадиму руку и, мучительно выдавливая улыбку, сказал:

— Слыхал. Тебя можно поздравить?

— Кажется,— пожимая плечами, ответил Хицкалов и, вынув портсигар, предложил Ивану Алексеевичу папиросу. Они закурили и уже больше не сказали друг другу ни слова. Вадим, чтобы скрыть радость, нарочито хмурился, морщил лоб, кусал губы. Иван Алексеевич думал, что сейчас самый подходящий момент занять у Вадима пятерку: если у него есть, наверняка не откажет.

На площадку выкатился из коридора поэт Саша Вызималов. Был он непомерно толстый и круглый. Вытирая платком красное мокрое лицо, он выпалил:

— Пошли!.. Писал текст для песни. Двадцать раз переделывал, наконец-то пошли!..

Сообщение Саши никого не обрадовало, но это его не смутило. Он схватил за рукав Гудериана-Акиншина, отвел в угол и стал читать ему свои стихи. Сценарист слушал рассеянно и все пытался вырваться. Но Саша своим животом опять загонял тощего сценариста в угол.

Громко беседуя, ввалилась компания молодых артистов. Один из них сообщил, что последнюю работу грозного режиссера Гостилицына положили на полку. Директор с начальником сценарного отдела умоляют Гостилицына переделать, а он наотрез отказывается. Другой артист в связи с этим событием высказал ряд пространственных и непонятных умозаключений. Третий рассказал два свежих анекдота.

«Клоб» заполнялся. На площадке становилось тесно и шумно. Теперь говорили все, даже те, кто вообще ничего не знал. Но «Аглицкий клоб» тем и отличался, что

здесь можно было ничего не знать, зато все, что хочешь, сказать.

Словесная трескотня действовала на нервы Ивана Алексеевича угнетающе. Он отлично видел, что все здесь в основном бездельники, совершенно ненужные искусству люди. И он должен был терпеть их, толкаться тут и вместе с ними тонуть... Трясина все глубже и глубже засасывала Отелкова, и он не питал никакой надежды вырваться из нее, да и не знал, куда вырваться.

Все они давно опротивели ему до тошноты. И просить в долг денег здесь, на площадке, в этой толпе, уже не хотелось. — Да и у кого просить?

При выходе на улицу Отелкова облапил Васенька Шляпоберский. Был он неестественно красен, неестественно возбужден, и от него пахло лимоном.

— Отёлло, дружище, я ж тебя ищу весь день. Во как нужен! — Васенька чиркнул пальцем по горлу, что означало, как ему нужен Отелков. — Где ты шляешься? Я весь город обегал, даже шапка взмокла. Два раза домой к тебе ездил!

— Неужели два? — усомнился Иван Алексеевич.

— Ну не два, а один раз точно, — заверил Васенька. — Да вот мы с ним... — проговорил он, указывая на бледного, тщедушного паренька в коричневом берете с хвостиком. — Знакомьтесь. Денис Сроков, очень талантливый писатель.

Иван Алексеевич пожал руку очень талантливому писателю и честно признался, что даже не слышал такой фамилии.

— Ты не знаешь Срокова! — возмущенно воскликнул Шляпоберский. — Не может быть! Ты просто забыл. Его же все знают. Везде знают. Даже за границей знают. Денис, тебя на какой язык перевели? На английский?

— На польский, — смущенно буркнул Денис и густо покраснел. Ему было ужасно совестно и от непомерных похвал Васеньки Шляпоберского, и оттого, что его не перевели на английский язык. Васенька обнял Дениса за шею, помял, как грушу, и восхищенно сказал:

— Ух ты, талантище! Толстой! Люблю тебя и сам не знаю как! Помнишь, Дениска, как мы с тобой поступали в театральную студию в драмкомедию? Слышь, мы с ним пятнадцать лет назад поступали в театральную студию. Меня приняли, а он не прошел по конкурсу. Тогда Дениска плюнул на театр и стал писать. Так было, Денис? Сказал ты: «Начхать мне на театр, стану писать?»

— Кажется, сказал... впрочем, не помню,— пробормотал очень талантливый писатель.

Он не знал, куда деваться от стыда. Лицо сморщилось, а глаза с такой тоской смотрели на Васеньку, словно говорили: «Когда же ты меня наконец кончишь срамить!» Но не таков был Васенька Шляпоберский, чтоб так быстро отвязаться от своей приятной жертвы.

— Ты думаешь, он только рассказы пишет? Он еще и драмодел. Написал гениальную пьесу. Как она называется, Денис?

Денис сообщил, как называется его пьеса.

— А в каких театрах идет?

Денис перечислил и театры, в которых идет его гениальная пьеса. Иван Алексеевич краем уха слышал об этом спектакле самые разноречивые отзывы. Но он промолчал, уже с любопытством посмотрел на писателя и отметил, что для своего ремесла тот выглядит слишком мелковато. Зато глаза поразили Отелкова. От них, казалось, исходил свет, мягкий, чистый, теплый, и освещал болезненное, невыразительное лицо. У Ивана Алексеевича на секунду мелькнула мыслишка: «Если у писателя попросить в долг даже десятку, наверняка не откажет. Такие глаза не умеют отказывать».

Васенька Шляпоберский продолжал расхваливать, и расхваливал так, словно ему надо было продать писателя, продать немедленно и подороже. Денис Сроков все больше и больше мрачнел и наконец резко оборвал Шляпоберского:

— Хватит! Давай о деле.

— Ах ты, черт возьми, совсем забыл о главном.— Васенька взмахнул руками.— Это и тебя касается, Отелло. Денис сдал новый сценарий о полете наших космонавтов на Луну.

— На Марс,— поправил его Денис.

— В общем, на Марс, на Венеру и прочее. Сценарий принят. И ты знаешь, кто будет делать? Сам Гостилицын.

— А я тут при чем? — равнодушно спросил Отелков.

— Как — при чем?! От тебя теперь все зависит!

Иван Алексеевич удивленно смотрел в рот Васеньке. Но тут на помощь Шляпоберскому, который тащился к главному длинными окольными путями, поспешил сам писатель и прямо спросил Отелкова:

— Говорят, у вас есть собака Урод. Она действительно урод или просто так называется?

Но Васенька не дал ответить Отелкову.

— И называется так, и по своей комплекции сущий урод. В общем, фотогеничнейшая образина. Пальчики оближешь,— заверил Васенька и для чего-то подмигнул.

Ивану Алексеевичу ничего не оставалось, как подтвердить, что у собаки раздроблен таз и вывернуты задние ноги.

Глаза Дениса засияли ярче.

— А можно ее посмотреть?

Иван Алексеевич равнодушно пожал плечами. Этот жест писатель расценил как отказ. Он стал горячо убеждать Ивана Алексеевича, что именно такая собака ему и нужна, что именно такую он видел мысленно, когда писал сценарий. Отелков смекнул, что дело, видимо, стоящее, может, и для него что-нибудь выгорит. Он согласился хоть сейчас показать своего Урода. Васенька Шляпоберский схватил писателя и стал его душить.

— Чей коньяк, Дениска, черт?! Как только ты мне сказал: «Нужна необыкновенная собака» — я сразу подумал об Уроде. И что я тебе тогда сказал? Я сказал: «Будет тебе собака!» Скажи, не так?

— Так, так,— сдавленно бормотал Денис, стараясь вырваться из лап Васеньки.

— Чей коньяк?

— Твой, твой!

— Ух ты, талантище мой милый!— Васенька поцеловал Дениса в обе щеки и так сжал напоследок писателя, что тот только жалобно пискнул.

Решили ехать смотреть Урода немедленно. Васенька бросился ловить такси, но его остановил Сроков.

— Надо взять с собой Гостилицына,— сказал он.

Васенька поморщился:

— Ну зачем?.. Это же такая доука. Хоть он и гений, но скучнее не найти во всем городе.

— Вряд ли поедет,— заметил Иван Алексеевич.

— Ни за что не поедет! Убейте меня на месте — не поедет,— так авторитетно заявил Васенька, словно он сам и был Гостилицын.

Но Денис отверг все доводы Васеньки и убедительно доказывал, что смотреть собаку без режиссера не имеет смысла.

Денис попросил Отелкова подождать на улице, а сам пошел искать Гостилицына. За ним увязался Васенька Шляпоберский: он боялся, как бы писатель не сбежал от него.

Они вернулись неожиданно быстро. С левого бока

Дениса Срокова катился, подпрыгивая, поэт Саша Вызымалов, с правого, как журавль, вышагивал длинный и тонкий Гудериан-Акиншин.

— Гостилицын куда-то смылся. Одни едем,— радостно объявил Шляпоберский.

Однако не так-то легко оказалось уехать. Васенька напомнил Денису про выигранную бутылку коньяку и потребовал немедленно ее уничтожить. Шляпоберский с поэтом Сашей Вызымаловым подхватили писателя под руки, как барышню, повели в винницу. За ними, не отставая ни на шаг, закачался Акиншин. Уважая свой солидный возраст, Иван Алексеевич, поотстав, шел один, делая вид, что он к этой компании никакого отношения не имеет.

В подвальчик по трем ступенькам спустились гуськом, при этом каждый думал, что одна бутылка на пятерых все равно что слону дробина; примерно так же думал и писатель Сроков. Гудериан с поэтом думали, что если их и обнесут, то они все равно ничего не потеряют. Иван Алексеевич размышлял о слабых характеристиках ясноглазого Дениса, о простодушной наглости Васеньки Шляпоберского, о поэте с Гудерианом, которых понесло на запах вина, как лошадей на овсяное поле. Однако думал о них Отелков без злости, так как в душе он был человек добрый. Да и на кого, в сущности, злиться? Гудериан с поэтом были настолько несчастны, что ничего, кроме жалости, не вызывали. На Васеньку Шляпоберского сердиться было просто невозможно: на редкость обаятельный бездельник. Обаяние Васеньки способно расплавить даже каменное сердце. Благодаря обаянию он поступил в театральную студию, стал артистом и теперь весьма удачно здравствует на ухаживаемой стезе искусства.

В подвальчик они нырнули, как рыбы на дно. Ничего там не изменилось со вчерашнего дня. Стоял все тот же приглушенный уютный шумок, витали родные запахи, и тянулась длинная очередь к прилавку. Васенька Шляпоберский для приличия спросил:

— Кто что будет?

Саша Вызымалов стал длинно и нудно объяснять, что он от этого дела лечился у знаменитого психиатра.

— Я тоже у него лечился,— заявил Васенька.

— Да-а? — разочарованно протянул поэт и махнул рукой, как бы говоря: «Ну, тогда давай!»

Иван Алексеевич сказал, что он не хочет, но отказ его прозвучал тихо и неуверенно. Денис Сроков попр-

сил для себя сто граммов рислинга. Гудериан-Акиншин заявил твердо и решительно:

— Я солдат.

Васенька нажал на свое обаяние. Не прошло и пяти минут, как у каждого было по стакану коньяку с шампанским и по дольке лимона. Чокнулись, выпили и сразу же заговорили о литературе, об искусстве, о журналах, о театрах. Сначала все ругали и охаивали, после второго бокала стали усиленно расхваливать друг друга. Дениса Срокова с головой завалили эпитетами: «талантливый», «плодовитый», «художник», «мастер» и т. д. и т. п. Теперь он уже не морщился, не говорил: «Ну хватит вам», а принимал лесть, как пряник. Саша Вызымалов все время величал Дениса «стариком» и призывал его идти куда-то вперед и дальше.

Васенька Шляпоберский намекнул, что не худо бы пропустить еще по стаканчику. Иван Алексеевич наотрез отказался, заявив, что пора уже ехать.

— Куда? — в один голос спросили поэт с Гудерианом.

Денис охотно сообщил, куда и зачем они едут. И Саше с Гудерианом тоже захотелось посмотреть на Урода.

— Ну, так едем! — обрадованно воскликнул Сроков.

Иван Алексеевич мрачно посмотрел на модные красные носки Гудериана, из которых вызывающе выглядывали пятки, и с досадой сказал:

— Ладно, поехали.

— Неплохо бы затариться, — заметил Васенька.

Его дружно поддержали. Отелков тоже не возражал. Сроков торопливо вытащил из кармана две красненькие, сунул в руку Шляпоберского и сказал:

— На все.

— Не забудь Уроду студня купить, — напомнил Иван Алексеевич.

Васенька с поэтом и Гудерианом побежали в магазин «затариваться». Отелков с Денисом пошли ловить такси.

«Сейчас, пожалуй, самый удобный момент попросить займы десятку, — подумал Иван Алексеевич. — Но как? Займы даже у друзей унизительны. А тут новый, совершенно незнакомый человек, писатель. Черт знает что еще подумает обо мне, а то и вовсе откажет». Отказа Отелков боялся пуще всего и решил привлечь в качестве посредника Васеньку Шляпоберского, который считался на студии гением по долгам.

Когда к дому подкатило такси, Урод дремал. Машина остановилась. Урод мгновенно наострил уши и унюхал запах колбасы, сыра. Пес понял, что хозяин приехал домой в хорошем настроении и с настоящими людьми. Он дрожал от возбуждения и радости, но лаять боялся. Ему еще не совсем верилось в счастье. Но когда в саду зашуршала и закачалась лебеда, когда слышались голоса и среди них голос хозяина, Урод понял, что это не сон, не мираж, и залился таким оглушительным радостным лаем, что шедший впереди Васенька Шляпоберский попятился, а Денис Сроков шепотом спросил:

— Это он?

— Он самый,— не без гордости ответил Отелков и с грубоватой лаской позвал: — Урод, ты чего это развоевался? Ух ты, бродяга рыжий!

Урод бросился к Отелкову. Иван Алексеевич, спасая костюм, ловко увернулся и сердито крикнул: «На место!» Но Урод и ухом не повел. Он завизжал, бросился на Васеньку и, приветствуя его, лизнул прямо в губы. Васенька плюнул и сказал, что только этого ему не хватало. Зато поэт с Денисом выразили почти такой же восторг, как и собака. В благодарность Урод облизал их с головы до пят. С Гудерианом-Акиншиным он поздоровался сдержанно и вежливо — приветливо оскалил зубы.

В общем, Урод сумел показать себя с наилучшей стороны и всем очень понравился. Когда же он по приказанию Ивана Алексеевича стал показывать фокусы и проделал их на этот раз с особым усердием, все пришли в восторг, а писатель восхищенно воскликнул:

— Невероятный пес и по уму и по уродству!

— И зубы у него как надолбы,— добавил Гудериан-Акиншин.

Васенька Шляпоберский навалился на Дениса и прижал его к стулу:

— Ну как? Берешь, Дениска, собаку?

— Конечно! Пес превзошел все мои ожидания.

— Тогда это дело надо замочить,— сказал Васенька и направился к столу.

Уроду выдали килограмм студня и выпроводили на улицу. Началась попойка — обычная, рядовая, скучная.

Иван Алексеевич много не пил. Однако от компании не отказывался. За столом он обычно молчал, в споры тоже никогда не ввязывался, а если назревал скандал, вовремя уходил. Ему просто нравилось смотреть на

пьяных, слушать их болтовню, делать свои умозаключения.

В час ночи гости стали разъезжаться. Последними отбыли Гудериан с поэтом. Закрыв за ними дверь на массивный железный крюк, Иван Алексеевич облегченно вздохнул и дал себе слово подобных гостей и попок избегать.

В комнате висел густой запах вина, колбасы и табака. Иван Алексеевич распахнул окно, погасил свет и вышел на крыльцо. При появлении хозяина Урод поднялся и сполз на землю. Иван Алексеевич сел на ступеньку и, чиркнув спичкой, закурил. Урод догадался, что хозяин в таком настроении, когда можно и поласкаться. Он взобрался на крыльцо и уткнул морду в колени Отелкова. Иван Алексеевич положил руку на голову собаки и почесал за ушами. Урод задрожал, как от озноба, благодарно лизнул руку и тотчас сжался от страха: он вспомнил, что хозяин терпеть не мог слюнявого подхалимажа. Но оплеухи не последовало. Рука продолжала гладить его спину, правда машинально, безразлично, и все-таки Уроду было очень приятно.

Их окутала теплая душная августовская ночь. Воздух чуть-чуть пах серой, как перед дождем. Железнодорожная насыпь почти вплотную придвинулась к забору. За ней светились кое-где желтые квадраты окон. Над дорогой, словно впаянная в темноту, тускло горела лампочка. С грохотом и лязгом пронеслась электричка. Свет от нее бежал по обочине насыпи, выхватывая из темноты телеграфные столбы, глянцевиные листья тополей, серые углы домов и жирный асфальт дороги. Внезапно пошел дождь, до странности тягучий и ленивый. Казалось, он не падал, а вязкими длинными струями, не отрываясь от тучи, бесшумно стекал на землю. О том, что все-таки дождь идет, можно было судить только по сырости воздуха, по плеску воды, бежавшей с крыш по трубам, и по сердитому шипению автомобильных шин.

Сырость проникала внутрь тела, не вызывая холодного уныния, как это обычно бывает осенью. Вспомнилось детство, такой же отрадный августовский вечер. Тогда он впервые провожал домой девушку. Дождь был такой же тихий, мягкий, и Отелков его не чувствовал. Он шел рядом с девушкой, легонько поддерживая ее за локоток. На ней было ситцевое платье, оно промокло до нитки, и ему казалось, что на девушке ничего нет. Возле дома, стоя друг против друга, они долго говорили о

пустыках, и у обоих морщились губы от сдержанной радости.

«Почему я тогда ее не поцеловал? — спросил себя Иван Алексеевич и, вздохнув, ответил: — Потому что тогда я был, вероятно, слишком в нее влюблен».

И вдруг ему нестерпимо захотелось в деревню, на родину, в поле, в лес, на речку Иньву половить красноперых голавлей, побродить по лесу, упасть в траву и, раскинув руки, лежать на спине, неотрывно глядеть в бездонно-синее небо и вдыхать милый, сладкий запах клевера.

«Манят меня к себе и сосны вековые, и ели темные, и светлые березы, и тонкие осинки, сбегаящие с отлогих бугорков. Мне мил и мягкий мох, и скромный папоротник, и копытник. Там, в лесу, и сердце бьется ровно, и дышится легко, и мысль спокойна и чиста.

Там нет границ и меж: селится всякий вольно, где можно жить, где счастье есть. Суда там нет. Законы матери-природы для всех равны, правдивы и ясны. Курмиров там нет тоже. Там славят не словами. Там слов нет, нет лжи и клеветы.

И там любовь — могучая, великая, поющая любовь! Там брака нет, а постоянства и верности так много!

Греха там нет, и стыд не нужен, не нужно золото и ткани дорогие. Скрывать и красить там ничто не надо.

И там борьба — борьба без сожалений, без упреков, борьба за право жить.

Туда, в леса, — вздохнуть свободно, поучиться жить, бороться, побеждать!»

Этот поэтический этюд Иван Алексеевич читал в институте на приемных экзаменах. Он и сейчас его помнил, но автора забыл. И сколько ни вспоминал, так и не мог вспомнить.

«Впрочем, — уже прозаически подумал Отелков, — в деревне обязательно надо побывать. Отдохнуть там телом и душой».

Отелков каждый год ездил на побережье Черного моря, не потому что любил море — к нему он был совершенно равнодушен, — а просто так: все туда ездили.

Дождь лил не переставая. Колени у Отелкова отсырели, сырость чувствовалась на спине около лопаток. Брызги падающих с крыши капель залетали на крыльцо, на волосы и за воротник.

Отелков с Уродом вернулись в комнату.

Иван Алексеевич разделся, завернулся с головой в одеяло и долго не мог уснуть.

Отелков не ожидал, что уродство его боксера вызовет столько приятных событий в жизни и вынесет его, как говорят, на гребень волны.

Первым событием было появление собаки на студии. Режиссер-постановщик Герман Гостилицын прямо заявил, что собака — редчайшая находка. Даже оператор Начаркин, человек, редко с чем-то соглашавшийся, на этот раз сказал, что подобных артистов он не встречал за всю свою сорокалетнюю операторскую деятельность. В общем, все они были восхищены уродливостью пса.

Сам же Урод первое время чувствовал себя неудобно. Такие громкие слова, как «прелесть», «блестящий урод», «изумительный феномен», он воспринимал с подозрительной осторожностью. Опустив тупоносую морду, размышлял: «А что потом? Накормят или станут бить?» Однако по улыбкам и довольным лицам он сообразил, что, пожалуй, бить не будут. А когда кто-то осторожно погладил его, Урод весь задрожал от страха и вопросительно посмотрел на хозяина: «Что делать? Рвать всех на части или терпеть?» Иван Алексеевич подал ему знак, что надо терпеть. Урода гладили, трепали за уши, щелкали по носу, при этом называя его «умником», «красавчиком», «душкой» и прочими пошлыми словами, и он все это мужественно терпел. Потом собаке был устроен экзамен. Урод любил подобные экзамены и продемонстрировал свои таланты с усердием. Когда под возгласы «браво» он закончил свою программу, а ему никто ничего не дал, Урод презрительно оскалил зубы и громко по-собачьи выругался.

— Чем он недоволен? — спросил режиссер Гостилицын.

— Аплодисментами. Он к ним совершенно равнодушен, слава его не волнует. Короче говоря, собака жрать хочет, — пояснил Васенька Шляпоберский.

Урода повели в столовую. Отелков с режиссером начали переговоры. Гостилицын еще раз подтвердил, что Урод ему нравится и он берет его с весьма приличным для собаки окладом. Иван Алексеевич сделал вид, что это его совершенно не интересует.

— Вас это не устраивает? — прямо спросил Гостилицын.

— Напротив. Даже очень, но... — Иван Алексеевич так длинно растянул «но», словно понукал лошадь.

Герман Гостилицын, крупноголовый, с широченным торсом, сидевшим копной на длинных жилистых ногах,

стоял перед Отелковым, покачиваясь с носков на пятки. Иван Алексеевич отметил, что зеленые узкие брюки и куцый пиджак в клетку как нельзя лучше подчеркивают сходство Гостилицына с жирафом. Сравнение понравилось Ивану Алексеевичу, и он улыбнулся. Улыбка Отелкова покорила режиссера. Он тоже подумал об Отелкове не очень-то лестно.

Гостилицын славился на студии своей прямою и резкостью. Особенно от него доставалось посредственным артистам и дебютантам. Девушки от него плакали. Однако жаловаться и критиковать Гостилицына никто не решался. Слава и авторитет режиссера Гостилицына стояли на чугунных столбах. И нужно отдать должное: авторитет и слава его не были случайны. Он добыл их упорным трудом, работая с энергией тигра и с выносливостью крестьянской клячи.

Гостилицын, тяжело ступая, ходил по кабинету. Иван Алексеевич ждал как натянутая пружина.

Гостилицыну надоело вышагивать, он остановился напротив Отелкова и, вынув пачку папирос, бросил на стол:

— Курите.

Они закурили. Колени Гостилицына возвышались над столом, и он, положив на них локти, обеими руками держал папиросу, пуская из ноздрей дым прямо в лицо Ивану Алексеевичу.

— Небось тоже роль хотите? — усмехнулся Гостилицын.— Так ведь?

— Я должен ее получить,— с трудом выдавил Иван Алексеевич и почувствовал, что его колотит мелкой, противной дрожью.

Гостилицын не удивился, как будто и не ожидал другого ответа.

— Итак, по существу,— сказал он.— Какую бы роль вы хотели? Простаков-то вы не очень уважаете. Вам все Гамлетов подавай.

— Вам лучше видно, что я могу,— скромно заметил Иван Алексеевич.

— Спасибо, милый, за доверие.— Гостилицын поднялся.— Разговор у нас был очень важный, содержательный. Я подумаю.

Отелков вспыхнул и резко ответил:

— Как хотите, так и думайте! Только Урод без меня...— Он хотел сказать «не будет сниматься», но против желания поправился и сказал, что собаке сниматься без него невозможно.

— Вот как? Почему же?— серьезно спросил Гостилицын.

— Вы, Герман Андреевич, совсем не учитываете характер Урода и его привязанность ко мне. А поводырем собаки я, извините, не буду.

Отелков встал и пошел к двери. Но прежде чем толкнуть дверь, помедлил: он ждал, не остановит ли его режиссер. Гостилицын не остановил.

Угроза Отелкова была настолько нелепой, что в первую минуту Гостилицын растерялся. Потом он грустно усмехнулся, потом задумался. Он понимал, что только отчаяние могло толкнуть Отелкова на столь абсурдное заявление, и ему стало жаль Ивана Алексеевича.

«Да так ли бездарен Отелков, как о нем говорят? И кто оценил его способности? Ведь его не проверяли на серьезной роли»,— подумал Гостилицын.

Вспомнил Герман Андреевич, как он и сам доходил до отчаяния в первые годы работы в театре. Главный режиссер пять лет держал его при себе: год на побегушках, год ассистентом и три года помощником. На бесчисленные просьбы Гостилицына о самостоятельной работе шеф неизменно отвечал: «Успеешь».

И вот наконец ему доверили ставить спектакль. Сколько было мук только над первой картиной! Все пришлось вместе с автором переписывать заново. Полмесяца изнурительных репетиций, полмесяца бессонных ночей — и картина, кажется, готова. Гостилицын идет к главному режиссеру и просит его посмотреть.

— А как ты сам считаешь, хорошая получается картина? — спрашивает главреж.

— Мне кажется, еще плоховата, — чистосердечно сознается Герман Андреевич.

— И смотреть не буду, — говорит шеф и поворачивается спиной.

Опять две недели утомительной работы, и опять тот же вопрос главрежа:

— А как ты сам считаешь?

— Не знаю, — ответил Гостилицын.

— Если уж ты сам не знаешь, то как же я могу знать! — говорит шеф и опять поворачивается спиной.

Гостилицына охватывает отчаяние, душит злоба, всю ночь он кусает угол подушки, а с утра опять принимается перелопачивать проклятую картину. Сделано все: больше из автора, из артистов, из себя выжать нечего.

Он идет к шефу и докладывает, что теперь картина звучит неплохо.

— Неплохо — понятие туманное и растяжимое, — говорит шеф и поворачивается спиной.

Гостилицын сжимает кулаки и с трудом удерживает себя от уголовного преступления.

Еще две недели, и он решительно заявляет:

— Я сделал все, что мог. Пусть другой сделает лучше.

Шеф идет смотреть, а потом доказывает Гостилицыну, что все-таки можно сделать лучше.

«Какой был безжалостный тиран! Какой был художник! Это он внушил мне, что в искусстве без труда ничего не сделаешь. Если у меня и были кое-какие успехи, если кое-что удалось сделать значительное и нужное, то это случилось потому, что работал как вол и был болезненно требователен в первую очередь к самому себе».

Гостилицын вздохнул и вышел из кабинета.

Проходя длинным коридором студии, Герман Андреевич машинально свернул в сценарный отдел. Начальник отдела читал сценарий и, видимо, читал без удовольствия: лицо у него было грозное, и карандаш безжалостно жирными бороздами распахивал рукопись. Оторвавшись от сценария, он посмотрел на Гостилицына и пожаловался на автора, который пять раз переделывал сценарий и теперь до того его довел, что хоть на помойку выбрасывай.

— Ну а как у вас дела? Слышал, что вы заново переписываете принятый сценарий, — сказал начальник отдела.

— Кое-что переделываю. Но больше восстанавливаю выкинутое вашими редакторами.

Начальник поморщился:

— Кажется, автор способный малый?

— Весьма способный, — подтвердил Гостилицын. — Кстати, Петр Александрович, что вы можете сказать об Отелкове?

Петр Александрович снял очки и опять их надел.

— Это про какого же Отелкова? Актера? Да что про него сказать? Говорят, бездарен. Кажется, с ним работал Бениваленский.

Гостилицын не любил откладывать дела на завтра. То, что его задевало, решал быстро и безапелляционно.

В актерском отделе ему дали личное дело Ивана Алексеевича Отелкова. Оно было очень тощее и очень

скромное. И в какой-то мере скрашивала его только копия диплома с отличием.

«Так и есть: ни одной серьезной пробы!» — подумал Гостилицын и бросил папку на стол.

Режиссер Бениваленский снимал колхозную кинокомедию. Путь из актерского отдела в съемочные павильоны пролегал через «Аглицкий клуб». Когда показался Гостилицын, его завсегдатаи примолкли и вытянулись. Они очень уважали его и очень боялись. Среди них были случайные, ненужные искусству люди, были и безусловно одаренные. Как тех, так и других Гостилицын одинаково презирал. Первых — за то, что взялись не за свое дело, вторых — за лень, хвастовство, богемные нравы.

Съемочные павильоны находились во внутреннем дворе студии в огромных кирпичных сараях.

В первом павильоне, куда зашел Гостилицын, подошла к концу работа над кинофильмом о войне. Снимали сцену в блиндаже. Около железной печки сидели «немецкие» солдаты, вытянув грязные руки. Режиссер-постановщик что-то горячо доказывал оператору, а тот ему так же горячо возражал. В другом павильоне готовили к съемке сцену в богатой купеческой квартире. Рабочие под руководством художника-декоратора перетаскивали с места на место старинный, громоздкий буфет.

Из распахнутых дверей третьего сарая валил густой дым. Здесь работал Бениваленский. Снимали эпизод в ночном лесу у костра. Пять срубленных елок изображали глухой бор. Полыхал настоящий костер, и сидели две влюбленные парочки. Сцена не шла, и ее, видимо, уже снимали не раз. Обычно очень тактичный и спокойный, Бениваленский горячился. К нему со всех сторон приставали актеры:

— Иван Михалыч, а если попробовать так...

— Иван Михалыч, а если...

— Иван Михалыч, давайте еще раз...

Иван Михайлович отмахивался от советчиков, как от слепней, обеими руками.

«Зачем это я как неприкаянный таскаюсь по студии и мешаю другим работать? — с возмущением спросил себя Гостилицын. — Что я нынче, с ума сошел?»

Когда он возвращался назад, лестничная площадка заметно опустела. Торчали три незнакомые невзрачные фигуры, и сияла вечно жизнерадостная физиономия Васеньки Шляпоберского.

— Пойдем со мной,— коротко приказал ему Гостилицын.

Васенька покорно зашагал за Гостилицыным, гадая, зачем это он понадобился сердитому режиссеру.

Вернувшись в свой кабинет, Гостилицын достал экземпляр сценария и на углу его размашисто написал: «Роль профессора Дубасова — Отелкову».

— Вы, кажется, с ним друзья? — спросил он Васеньку.

Тот пожал плечами:

— У меня все друзья, Герман Андреевич.

— Это очень плохо, брат Шляпоберский,— серьезно заметил Гостилицын.

— Почему? — изумился Васенька.

— Потому что друзья — безжалостные воры. Они воруют время.

Васенька беззаботно махнул рукой:

— Мне его все равно девать некуда.

Наивная обаятельность его позабавила Гостилицына. Васенька вообще чем-то ему нравился. Вероятно, тем, что из всех стойков «Аглицкого клоба» он был наиболее ярким.

— А твое мнение об Отелкове как об артисте?

— Нераскрывшийся Кин! Жан Маре в квадрате! — воскликнул Васенька.

Гостилицын вручил Васеньке сценарий:

— Будь любезен, передай ему сегодня же.

Васенька взял сценарий, повертел, вздохнул и уставился на режиссера.

— Ну что? — спросил Гостилицын.

— Герман Андреевич, а вы еще не сняли меня с роли?

— С какой это?

— Жениха. Вот такой крохотной! — И Васенька показал мизинцем, какую роль отвели ему в этом фильме.

— Пока еще нет.

Обрадованный Васенька выскочил из кабинета и побежал искать рубль на такси.

Во второй половине дня Отелков с Уродом вернулись домой. Времени было девать некуда. Иван Алексеевич хотел было навести в квартире кое-какой порядок. Однако дурное настроение выбило его из колеи. Из головы ни на минуту не выходил разговор с Гостилицыным. И ничего приятного он не сулил Отелкову.

После этого разговора Иван Алексеевич мог рассчитывать только на роль поводыря собаки. Утром привозить ее на студию, а после съемок отвозить домой. Отелков задрожал от обиды. Перетирая тарелки, он как попало швырял их на стол и, стиснув зубы, шипел:

— Нет, этого не будет! Или я и собака, или никто!

Когда тарелка выскользнула из рук, Иван Алексеевич выругался и, расшвыряв ногой черепки, повалился на кровать.

— Боже мой! Как не везет в жизни! Как не везет!

Отелков приподнялся и, тупо уставясь в угол, неизвестно кого спросил: «Зачем?» В голове, как вьюны, завертелись вопросы: «Зачем вы меня мучаете?», «Почему вы мне не верите?», «Чем лучше меня Сомов?», «Чем я хуже Хицкалова?». И вдруг из самого дальнего, тайного уголка мозга, как черный удав, выполз главный вопрос: «Зачем я стал артистом?» — и задавил все остальное. Этот страшный вопрос теперь все чаще и чаще навещал Отелкова. Иван Алексеевич пытался искать защиты от него, но понимал, что это все равно бесполезно, что он с каждым годом слабеет и недалек тот день, когда это «зачем» прикончит его.

Сегодня же Иван Алексеевич не пытался сопротивляться. Он лежал, глядя в потолок, и думал: «Зачем я стал артистом? Зачем взялся за такое дело? Поэтому-то у меня ничего и нет. Ни настоящего, ни будущего... Ничего... Лучшие свои годы прожил, словно в тупике, в пустом, заброшенном вагоне. И все ждал, когда подойдет паровоз, подцепит и повезет. Куда? А не все ли равно, лишь бы ехать!..» Иван Алексеевич вздохнул. «И мелькнула мечта, как гривенник в океане», — вспомнил он любимую поговорку Васеньки Шляпоберского.

Уже начинало темнеть, когда задребезжал и задергался звонок. Иван Алексеевич даже не сделал попытки подняться. «И так войдет — дверь не закрыта», — подумал он.

В комнату не вошел, а ворвался Васенька Шляпоберский с картонной папкой под мышкой.

— Эврика! — завопил Васенька и, размахнувшись, швырнул папку в Отелкова. Не долетев до кровати, она шлепнулась на пол. Васенька встал в позу, скрестил на груди руки.

— Подыми ее, Отёлло! И ты найдешь то, о чем мечтал! — Васенька замычал, зачмокал, подбирая нужное слово, и, не найдя его, ляпнул ни к селу ни к городу: — С незапамятных времен!

Внутри у Ивана Алексеевича что-то екнуло, потом ему стало жарко, в лицо бросилась кровь. Подавив радостное предчувствие, Отелков лениво спросил:

— Чего же я желал с незапамятных времен?

— Роль, чучело! Роль! Да еще какая! Главная! Эх ты, дуб маринованный, колода осиновая! Лежит тут, а я за него бегай, хлопочи! Если б не я, шиш бы ты ее получил. На-ка вот, держи карман шире! — Васенька оттопырил карман, в котором жалобно звякнули медаки.

— Ну уж так-то ты и бегал,— добродушно проворчал Иван Алексеевич.

— И ты не веришь? — неподдельно изумился Васенька.— Пойдем сейчас же на студию и спросим, у кого хочешь спросим, что сказал Шляпоберский, когда Гостилицын спросил: «А не дать ли эту роль Отелкову?» Я сказал: «Дать эту роль Отелкову, и больше никому!» Вот как я сказал!

Иван Алексеевич не знал, чему удивляться — счастьем или Васенькиной брехне. Ему вдруг стало так хорошо и весело, что он от души расхохотался.

— Ты все еще не веришь! — возмущенно закричал Васенька.— Идем, идем, спросим всех, первого встречного! — Он схватил Отелкова за ногу и потащил с кровати, но стащить Отелкова было не так-то легко, и Васенька безнадежно махнул рукой:

— Черт с тобой, лежи. Адью!

— Постой, куда же ты?

Васенька поднял палец и напыщенно изрек:

— Путь искусства длинен, а жизнь коротка.

— Как это понимать? — спросил Иван Алексеевич.

— Бегу на именины,— пояснил Васенька и как бы между прочим добавил:— Мне тоже ролишку подкинули.

Васенька мгновенно исчез, будто его и не было, будто все это приснилось Отелкову. В руках Иван Алексеевич держал рыжую папку, на которой размашистым почерком было написано: «Роль профессора Дубасова — Отелкову». Иван Алексеевич открыл папку: профессор Дубасов в списке действующих лиц стоял первым.

— Отелкову!..— прошептал Иван Алексеевич.

Сколько лет он ждал этой минуты! Сколько за это время он вынес стыда, оскорблений и обид! Он, как нищий, униженно выпрашивал эпизодические роли, ему, морщась, иногда давали, причем самые мизерные. И вот

наконец свершилось. Ему предложили центральную роль и даже принесли ее на дом. В эту минуту Иван Алексеевич не только забыл неприятный разговор с режиссером, но даже не вспомнил о существовании Урода. Все это он приписал неожиданному повороту в своей жизни, которого так давно ждал.

— Я им докажу, на что способен Иван Отелков! Они увидят!..

Кого под словом «они» имел в виду Иван Алексеевич, он и сам бы, наверное, не ответил.

Отелков блаженно закрыл глаза и отчетливо, совсем близко увидел свой счастливый берег, как тогда в юности, когда, не перекрестясь, бросился в воду и поплыл к нему.

Когда Иван Алексеевич очнулся от грез, в комнате было совсем темно. На крыльце скулил Урод и когтями драл дверь.

Отелков впустил собаку, закрыл дверь на крюк, задраил ставни, застелил кровать чистыми простынями, разделся и лег читать сценарий. Он всегда читал лежа. И даже писал в кровати, хотя и редко. Не потому, что так было удобно, просто он не любил писать, да и нужды в том не было.

Все понравилось ему в сценарии: и профессор Дубасов, и пес космонавтов, который, по фантазии автора, совершал такие дела, что и человеку не по силам. Ролью Отелков остался очень доволен. Она была серьезная, солидная, словно бы специально писалась для него. В общем, все пока складывалось как нельзя лучше.

Около часа ночи робко продзинькал звонок. Урод с радостным визгом бросился на дверь. Иван Алексеевич догадался, что это Серафима Анисимовна, и сначала не хотел впускать ее, но потом раздумал, упрекнул себя в черствости, открыл дверь. Серафима Анисимовна сразу учуяла, что в жизни Отелкова произошло что-то большое, важное и радостное и что настроение у него сегодня отменное. Она постаралась еще больше улучшить его настроение...

Потом Иван Алексеевич читал ей сценарий. Она пыталась слушать внимательно и не могла. Слушать и понимать ей мешала радость. По лицу Серафимы Анисимовны текли слезы, и она украдкой смахивала их ладошкой. Когда Отелков спросил, с чего это она так раскисла, Серафима Анисимовна, прижавшись ртом к его плечу, пролепетала:

— Так. Пьеса очень жалостливая.

Отелков возмутился:

— Во-первых, это не пьеса, а сценарий, во-вторых... здесь нет ничего такого, чтобы распускать нюни.— Он хотел сказать грубость, но, взглянув на виноватое лицо, удержался и сказал, что она ничего не понимает.

— Ну и пусть ничего не понимаю, зато мне хорошо.

Иван Алексеевич собрал в кулак ее волосы и, приподняв голову, усмехнувшись, спросил:

— Домой-то ты собираешься?

— А я и так дома! — озорно ответила Серафима Анисимовна.

Пробы прошли удачно, Иван Алексеевич и Урод были утверждены на главные роли в картине «Земные боги». Кроме Урода был взят во всех отношениях полноценный боксер, такой же рыжей масти и с такой же недовольной старческой физиономией. Он должен изображать Урода до полета в космос.

По замыслу автора Урод становится уродом в середине картины, когда экспедиция космонавтов, заблудившись, попадает на неизвестную планету. Во время посадки корабль разбивается и почти вся экспедиция погибает, за исключением профессора Дубасова, его дочери Марины и собаки. Профессор Дубасов вскоре умирает. Боксер остается с искалеченной Мариной. Она не может двигаться, поэтому все время лежит и командует собакой. Урод кормит и лечит Марину и передает сигналы бедствия на Землю. С Земли прилетает самой последней конструкции космический корабль, снимает Марину с Уродом с планеты и привозит их домой. Марину встречает перепуганный насмерть жених, обаятельный молодой человек, играть которого поручили Васеньке Шляпоберскому. Картина заканчивается свадьбой, на которой присутствуют все знатные люди страны.

Весь месяц прошел в беготне и хлопотах. Гостилицын своим авторитетом узурпаторски давил и уничтожал все, что стояло на его дороге. Свои приказы и распоряжения Гостилицын изменял ежедневно, ежечасно и даже ежеминутно. Артисты находились в постоянном страхе. Кроме Урода, никто не надеялся дотянуть свою роль хотя бы до начала съемок. Режиссер менял артистов, как цыган лошадей.

Весь месяц Иван Алексеевич находился в чудовищном напряжении и при встречах с Гостилицыным немел от страха. Васенька Шляпоберский старался не показываться на глаза режиссеру.

— Ты, Отёлло, не ходи на студию, не мозоль глаза! Он и забудет о тебе. А когда начнутся съемки, тогда уже поздно менять. Это я хорошо по собственному опыту знаю,— поучал Васенька Ивана Алексеевича.

Но Гостилицын ничего не забывал...

Хуже всех в это время было Денису Срокову. Хотя литературный и режиссерский сценарий давно были утверждены художественным советом студии, он по приказанию Гостилицына перedelывал все заново. Денис писал и дни и ночи до золотых колец в глазах, до тошноты, а Гостилицыну все не нравилось.

Прочитав пятый раз подряд переделанную сцену, Гостилицын, качая головой и издевательски растягивая слова, рычит:

— Ну и сочинил!.. Профессор, умирая, треплется, как пьяный управхоз на поминках... Бред сивой кобылы! Он так говорить не может! Так говорят плохие сценаристы!

— А что же, по-вашему, он должен говорить? — вспыхивает сценарист.

Гостилицын багровеет.

— А мне какое дело? Ты писатель. Получил по договору. За эти деньги можно было бы своих героев хотя бы заставить говорить-то по-человечески.

— Хватит меня попрекать деньгами! — кричит Сроков.

— Это деньги слесаря, колхозника, труженика — рядового работяги. И ты его за его же деньги хочешь дерьмом кормить? Не выйдет, товарищ автор! Не позволю!

Голос режиссера отдается эхом в длинных, гулких коридорах студии. У открытой двери — толпа зевак. Денис не знает, куда со стыда деваться, он готов в эту минуту на все — даже умереть.

— Я больше не могу... Я не знаю... Я... — бессвязно бормочет Сроков.

— Чего ты не знаешь?

Денис с вымученной улыбкой чистосердечно признается:

— Не знаю, что должен говорить профессор. Может быть, он вообще ничего не говорит.

— Может быть. Так даже лучше. Ближе к правде, — соглашается режиссер. — Известная истина: когда нечего говорить, лучше молчи, а если есть что сказать, скажи, но не ври.

Гостилицын надолго задумывается, скребет затылок, ерошит волосы, вздыхает. Все молча ждут, что он скажет. И все знают: Гостилицын скажет то, что надо. Знает это и Сроков. Он ждет, не спуская глаз с режиссера. Наконец тот говорит, обращаясь к писателю:

— Я на месте умирающего профессора, может быть, даже заплакал бы от обиды, что костям моим суждено гнить не в своей земле на заброшенном деревенском кладбище рядом с костями матушки, а на какой-то паршивой, никому не известной планете.

Денис ошеломленно, с раскрытым ртом смотрит на Гостилицына и, обхватив голову, стонет:

— Верно, как верно и человечно!

Ему до боли жаль, что сам он не додумался до такой правдивой простоты. Он прощает режиссеру все: насмешки, грубость, тиранство. Он боготворит Гостилицына, его талант и благословляет судьбу, которая связала его с этим режиссером.

Сроков прямо в кабинете садится за стол, и через час сцена звучит так, как ей положено звучать...

Проходит день, и опять в Дениса летит рукопись, и опять слова «Бред сивой кобылы!». И Денис, скрипя зубами, переделывает, проклиная в душе режиссера, все искусство и самого себя. И он убеждается на личном опыте, что труд писателя — самый мучительный и каторжный труд. Он уже не думает ни о славе, ни о лаврах. Его тревожит мысль: «А что, если я взялся не за свое дело?»

Так день за днем, сцена за сценой в страшных муках переделывается киноповесть. И наконец принимает такой вид, когда можно сказать, что это, кажется, не совсем плохо. Люди в сценарии начинают жить: чувствовать, страдать, смеяться, плакать и говорить по-человечески. Все ненужное, лишнее, громоздкое, ложное из него выпадает. Остается суровый, правдивый рассказ о подвиге.

В результате такой работы Васенька Шляпоберский остался без роли. Его любовь к дочке профессора оказалась совершенно ненужной, и ее безжалостно вычеркнули вместе с женитьбой. Когда Васенька услышал об этом, он прибежал к режиссеру и завопил: «За что?» Гостилицын сказал коротко и ясно: «Так надо!»

После ноябрьских праздников начались павильонные съемки и продолжались всю зиму. По мнению киношников, очень долго. Но никто не удивлялся и не возмущал-

ся. Всем была известна гостилицкая метода: работай как вол и не торопись.

В жизни каждого человека чередуется полоса удач с полосой невезений. Получение роли Отелков считал удачей, но когда приступили к съемкам, эта уверенность в Иване Алексеевиче истощилась в одну неделю. С ужасом думал он, как дотянет до конца, а если не дотянет, то что из этого получится.

Отелков и раньше знал, что Гостилицын в своей требовательности беспощаден до тиранства. Два года назад на студии произошел скандальный случай с народным артистом Д. Он согласился сыграть в картине Гостилицына небольшую, эпизодическую роль солдата. Режиссер заставил артиста раз десять проползти по густой осенней грязи. Д., умный, талантливый человек, выполнял все указания режиссера если уж не с удовольствием, то по крайней мере добросовестно. А когда Гостилицын вырезал из картины этот эпизод и заодно всю роль артиста, Д. поднял скандал, обвинив режиссера в преднамеренном издевательствах. Гостилицын этот упрек парировал спокойно, заявив, что артист Д. волен ругать его, Гостилицына, по-всякому, он ничуть не обижается, потому что для него, режиссера, истинное искусство выше любого, самого замечательного таланта. Надо отдать должное артисту Д.: говорят, он извинился перед Гостилицыным, но сниматься в кино зарекся до гробовой доски.

Несмотря на все это, не было на студии артиста, который бы не считал для себя честью работать с режиссером Гостилицыным. Да и было за что. Все муки окупались с лихвой. Картины Гостилицына всегда вызывали споры. О них много говорили, а еще больше писали. Не проходили незамеченными артисты. Их начинали сразу же нарасхват приглашать режиссеры других студий. Поэтому многие своей громкой славой или просто известностью были обязаны «тирану» Гостилицыну.

О славе, известности мечтал и Отелков. Но когда он вплотную столкнулся с Гостилицыным, он увидел, что поперек дороги к его славе легла глубокая, непроходимая канава. На первой же съемке... Нет, этого дня Ивану Алексеевичу никогда не забыть.

Снимался приход профессора Дубасова к директору научно-исследовательского института. Отелков-профессор должен был открыть дверь, войти в кабинет и сказать всего три слова: «Здравствуйте, товарищ директор».

Вспыхнул юпитер. Ослепительный, с чуть заметной синевой свет выдернул из темноты углы, заваленные всевозможным декоративным хламом, и пожарную лестницу с пожарником в медной каске. Шум мгновенно стих, операторы приготовились. Гостилицын крикнул: «Мотор!» Иван Алексеевич открыл дверь, вошел, одернул полы пиджака и великолепно поставленным голосом отчеканил:

— Здравствуйте, товарищ директор!

— Стоп! — рявкнул Гостилицын.

Словно от испуга юпитер мгновенно потух, и пожарник с лестницей нырнул в темноту. Иван Алексеевич замер по стойке «смирно», испуганно глядя на режиссера.

— Объясните мне, товарищ Отелков, для чего вы подергали полы пиджака? Это что, подтекст?

Иван Алексеевич заговорил медленно, солидно и бессвязно:

— Видите ли... обычай... Человек входит... к... Он... всегда, так сказать... э... вообще...

— Прихорашивается,— подсказал Гостилицын.

Отелков, не теряя достоинства, утвердительно кивнул головой.

— А почему же он у вас не пригладил волосы, не снял пылинку с рукава?

Иван Алексеевич помолчал.

— А почему ты не почесал... задницу?

Сомов, исполнявший роль директора, хрюкнул. Гостилицын показал ему здоровенный кулак и уставился на Отелкова:

— Почему?

Иван Алексеевич сглотнул слюну и невнятно пробормотал:

— Неприлично.

— А дергать пиджак прилично? Я вас спрашиваю: прилично или неприлично?

Иван Алексеевич совсем растерялся и, как школьник, выпалил первое попавшееся слово:

— Не знаю.

— Нечего тут заниматься художественной самодеятельностью! Войди и просто скажи: «Здравствуйте, товарищ директор!» — приказал режиссер.

Опять приготовились. Прозвучала команда: «Мотор!» Опять юпитер разинул свою огненную пасть с огромным раскаленным зубом. Иван Алексеевич вошел, кашлянул и с достоинством поприветствовал директора.

Гостилицын взмахом руки остановил съемку, сдернул с шеи галстук и кругами заходил по кабинету. Вдруг резко остановился перед Отелковым, поднял руку. «Сейчас он меня ударит», — подумал Иван Алексеевич и зажмурился. Но режиссер не ударил, положил руку на плечо и заговорил очень мягко, участливо:

— Иван Алексеевич, дорогой мой Отелков, все мы знаем, что вы замечательный артист. Зачем же нас убеждать в этом? И кашляешь ты очень вежливо и прилично, как подобает артисту. Только мне этого не надо. Мне нужен профессор, умный, обаятельный профессор, который входит в кабинет к своему директору, тоже умному, обаятельному человеку, и просто здоровается с ним.

Иван Алексеевич согласился, что кашлять было незачем, да и глупо, и заверил, что сейчас он покажет профессора так, как надо. Повторили сцену, и опять Иван Алексеевич сказал не так. Оказывается, надо было здороваться с директором не как с начальником, а как с товарищем по службе. Когда Отелков поздоровался как с другом, даже пожарник в медной каске прыснул в кулак. Режиссер бросил пиджак, засучил рукава и ринулся на Отелкова.

— Если ты мне сейчас не скажешь три этих проклятых слова, я тебя убью! — взревел Гостилицын.

Иван Алексеевич побледнел. Бедная фантазия его была парализована. Он превратился в безвольного манекена, еще способного выполнять все, что прикажут, но совершенно неспособного мало-мальски соображать.

Гостилицын приказал начать все снова. Иван Алексеевич вошел и ничего не сказал.

— Та-а-ак... — протянул режиссер, словно в этом слове было не одно, а по крайней мере семь «а». И вдруг неожиданно встал перед ним на колени: — Умоляю, всего только три слова! Неужели это так трудно?!

Иван Алексеевич попросил дать ему успокоиться. Пока он приводил в порядок свои нервы, Гостилицын всех убеждал, что сейчас Отелков обязательно скажет «здравствуйте, товарищ директор», и скажет так, как еще никто и никогда не говорил.

Кончился перекур. Опять вспыхнул юпитер. Иван Алексеевич собрал всю свою волю, открыл дверь и каким-то неестественным голосом выдавил: «Здрaсте» — и... запнулся.

— Здрaсте... — передразнил его Гостилицын и доба-

вил такое словечко, что все смущенно заулыбались, а пожарник заржал как жеребец.

Гостилицын удивленно посмотрел на него и спросил:
— С чего это тебе так весело?

— Смешно! — осклабился пожарник. — Видный такой мужчина, артист, а не может поздороваться.

— А ты можешь?

— А чего ж, могу, — широко и глупо заулыбался пожарник.

Гостилицын схватил его за руку:

— Выручи, голубчик, покажи.

Пожарник не ожидал такого поворота и забормотал, что он не артист, а всего лишь необразованный пожарник, и хоть режь его на части, а показываться не будет. Тогда Гостилицын, водя перед его носом пальцем, внушительно предупредил:

— Запомни, милейший! Если ты еще хоть раз сунешь нос не в свое дело, берегись! Не только голова твоя будет сидеть в этой дурацкой каске, всего туда загною — с ногами и лестницей...

Пожарник поспешил убраться в свой темный угол, а Гостилицын ни с того ни с сего набросился на автора, который с удивлением и страхом наблюдал, как делаются кинофильмы:

— Видишь, написал какой диалог! Даже такой талантливый актер не может осилить! — Режиссер схватил себя за волосы: — Какой же я дурак, что связался с ультрасовременной темой! Снимал бы Гамлетов с Макбетами!

Постонав, посетовав на свою печальную судьбу, Гостилицын грустно посмотрел на Отелкова:

— Что же мы будем делать-то, Иван Алексеевич? Может, эту сцену вымараем? Согласен? Я тоже бы не прочь, да боюсь, что автор не позволит.

Ничего другого не оставалось, как применить наивернейший и простейший способ режиссерского показа. Что Гостилицын и сделал. Он вошел и сказал: «Здравствуйте, товарищ директор». Фраза прозвучала естественно и просто. Отелков старался вложить в нее и значимость, и смысл. Режиссер же не придал ей никакого значения и произнес фразу как бы между прочим. И в этом-то заключался весь секрет. И всем стало ясно, что профессор пришел к директору не с целью поприветствовать, а по какому-то важному делу.

Иван Алексеевич закрыл руками лицо. Стыд жег ему уши. От обиды и злости не осталось и следа. «Какая же

я бездарь и ничтожество! — думал он. — Надо сейчас же отказаться от роли». И он наверняка бы отказался, но в эту минуту Гостилицын спросил:

— Понял, как надо?

Иван Алексеевич машинально кивнул головой.

— Повторим, — приказал режиссер и подал команду: — Мотор!

Иван Алексеевич повторил, и, кажется, неплохо. По крайней мере Гостилицын сказал:

— Ладно, сойдет!

На этом и закончился первый съемочный день.

Став артистом, Урод не заважничал. Его теперешнее положение и то внимание, которое ему оказывали, другой собаке наверняка свернули бы мозги набекрень. Однако порода, незаурядный ум удерживали боксера от дешевого зазнайства и легкомысленных поступков, на которые так падки молодые артисты. Кроме того, каким-то собачьим чутьем Урод понял, что он не какой-нибудь рядовой пес, а исключительный, одаренный, и поэтому держал себя, как положено большим талантам, — скромно и просто.

О необыкновенных способностях Урода теперь говорили все, начиная с Серафимы Анисимовны, самого Отелкова и кончая главным богом на студии режиссером Гостилицыным. Этот высоченный бог с огромными волосатыми руками внушал Уроду и страх, и уважение. И он старался изо всех сил угождать ему.

Кроме всех прочих достоинств Урод обладал философским складом ума и отлично понимал, что теперешнее его положение — явление временное, похожее чем-то на необыкновенный сон. А когда он в один прекрасный день проснется, ничего этого не будет: не будет огромных чудовищ юпитеров, от света которых слезятся глаза, не будет фанерных стен, от которых нестерпимо воняет краской, не будет этих блестящих ракет, куда ему надо раз по десять то залезать, то вылезать, не будет огромного кирпичного сарая, называемого павильоном, в котором перемешались все мерзкие запахи, не будет веселых артистов, доброй красивой ассистентки Зоеньки, у которой в кармане всегда для него припасен какой-нибудь вкусный кусочек, не будет и пожарника в медном колпаке, который очень любит его гладить и жалостливо причитать: «Эк тебя изуродовали, бедняга!..» — все пропадет. Опять останется он с хозяином и

будет, как прежде, лежать по вечерам голодный на крыльце и дожидаться, когда хозяин придет из ресторана. А пока используй благоприятное время! Ешь как можно больше, обжирайся, жирей!

Вот так расценивал Урод столь неожиданно свалившееся на него счастье. Хотя трудно сказать, было ли это таким уж большим счастьем. Да и вообще, что такое счастье?

Работа Уроду поднадоела, хоть он и снимался всего лишь вторую неделю. Да и есть почему-то почти не хотелось. В первые дни он съедал невероятное число мясных пирожков. Его кормила вся съемочная группа. Теперь Урод на пирожки смотреть не мог и глотал их, как горькие пилюли. Вероятно, по доброте своей душевной ему никого не хотелось обидеть.

Прошла неделя, другая, и Урод загрустил. Должность артиста, в первые дни такая необычная и веселая, теперь выглядела и обычной, и довольно-таки скучной. А дома совсем стало жить невмоготу. Если раньше Урод был предоставлен самому себе и тосковал по ласке, то теперь всего было в избытке: и еды, и ласки, и особенно внимания. С него не спускали глаз. Его окружили такой мелочной опекой, что Урод, привыкший к нужде и считавший наивысшим благом на свете кусок залежалой печенки, стал серьезно задумываться над жизнью, над такими вечными вопросами, как свобода и счастье.

Серафима Анисимовна, видимо, решила поселиться в их доме насовсем и так крепко взялась за внешнее и моральное усовершенствование Урода, что будь на его месте другая собака, менее талантливая, она наверняка сбежала бы. Серафима Анисимовна Недощекина как будто ждала, когда Урод станет артистом, чтобы утвердить свою власть над ним. Он жил, как солдат в казарме. У него были и подъем и физзарядка, туалет, завтрак, работа, обед, учеба, самоподготовка, ужин, вечерняя прогулка, отбой — абсолютно все, кроме увольнения.

Но тирания Серафимы по сравнению с репетициями, которыми ежедневно мучил Урода Отелков, были сущей чепухой. Как только хозяин грозно произносил слово «репетиция», Урода бросало и в жар, и в холод. Это означало, что надо стучать по стене лапой столько раз, сколько пальцев покажет хозяин, носить в зубах хлеб с маслом, книги и прочие вещи, залезать на стул и, подняв вверх морду, выть по-волчьи. Отелков учил его пла-

кать, смеяться, выражать неутешное горе и безумную радость, сердиться, негодовать, ругаться, драться и даже воровать. Если Урод ошибался или выполнял не то, что требуют, шеф ехидно спрашивал: «Что, талант не хватает?» или же кричал: «Назад, бездарь!», «Повторить, бездарь!», «Отставить, бездарь!» — и гонял Урода до тех пор, пока у того от усталости не вываливался язык. А после на студии все восхищались врожденным талантом Урода. Хвала и честь давно уже ему опротивели. Теперь он на собственной шкуре познал, какой ценной достается этот пресловутый талант.

В конце концов Урод пришел к выводу, что нельзя желать того, чего не знаешь, а счастья вообще, видимо, в этом мире не существует.

Если Урод совершенно разочаровался в жизни и стал законченным пессимистом, то Отелков еще не терял надежд. Правда, в отличие от Урода, который страдал от успехов, Иван Алексеевич страдал от неудач. Что б он ни делал, как ни старался, а угодить режиссеру не мог. Мало-помалу Иван Алексеевич и с этим смирился. Гостилицын вообще всеми был недоволен. И всех, как Ивана Алексеевича, гонял, ругал и тиранил. Отелкова, впрочем как и всех, поддерживала одна мысль: «Черт с ним! Пусть хоть кожу сдернет, лишь бы картина получилась и прозвучала». В том, что она прозвучит, никто не сомневался, так как все, что ни делал Гостилицын, все звучало и откликалось многоголосым эхом.

Эту зиму Иван Алексеевич работал, как никогда. На него свалились сразу две роли: профессора и собаки. Гостилицын незаметно переложил на него всю дрессировку Урода. Сцены с собакой он заставлял Отелкова репетировать на дому; это не входило в его обязанности, и он мог бы отказаться от таких заданий, но Иван Алексеевич ни в чем не мог противоречить Гостилицыну.

Дрессируя Урода, Иван Алексеевич проявлял чудеса, добивался, казалось, невозможного. Гостилицын, видимо, это оценил, по крайней мере, его отношение к Отелкову резко изменилось. Теперь он не кричал, не заставлял десятки раз переделывать одну и ту же сцену, хотя по-прежнему морщился и махал рукой: «Ладно, сойдет!» Иван Алексеевич догадывался, что Гостилицын терпит его только из-за собаки. Но если Отелков лишь догадывался, то вся труппа была твердо в этом убеждена.

Гостилицын под маской грубости скрывал кристаль-

ную порядочность. Он добивался своего всеми способами. Но если видел, что из артиста выжать ничего невозможно, сразу же изменял свою грубость на мягкость и вежливость. Вот этой-то мягкости и вежливости пуще всего боялись артисты. Если режиссер кричит, ругается — не страшно. Но как только перешел на почтительное «вы», «пожалуйста», «прошу вас», — это уже конец. Артист в его глазах — ничто, непроходимая серость, от него нечего ждать.

Гостилицын с Отелковым перешел на почтительное «вы», и всем стало ясно, что с Иваном Алексеевичем кончено. Это его последняя роль. Однако Иван Алексеевич был другого мнения. То уважение, которое теперь оказывал ему Гостилицын, он считал своего рода благодарностью, которую заслужил как дрессировщик собаки. И то, что делал Иван Алексеевич, поистине заслуживало уважения. Все сцены, которые предстояло снимать, он накануне отрабатывал с боксером дома, да так, что на студии Урод творил чудеса, приводя в восхищение и артистов, и операторов, да и режиссера. Гостилицын после каждой удачно отснятой сцены с Уродом крепко жал Отелкову руку. Однажды он даже не то в шутку, не то всерьез сказал:

— Эх, Иван Алексеевич, напрасно вы заделались киношником! Какой бы из вас великолепный дрессировщик получился!

Вот почему Отелков не смотрел так мрачно, как другие, на несвойственную Гостилицыну вежливость. Он был больше чем уверен, что теперь ничто не помешает ему сниматься в роли профессора до конца. А там?.. Впрочем, все впереди. По крайней мере, его заметят. Еще не было случая, чтобы в картинах Гостилицына не замечали артистов.

Иван Алексеевич старался. Возвращаясь со студии, он долго и упорно работал над своей ролью, а потом дрессировал Урода. Когда Отелков не снимался, он тоже весь день занимался с собакой. Времени для личных удовольствий не оставалось. Об этом он не сожалел. Друзья, компании, рестораны, одни и те же разговоры об искусстве, политике, о женщинах, жалобы на жизнь, брюзжание и злобствование — все это давно надоело и опротивело Отелкову. А когда Отелков с головой ушел в дело, он убедился, что подобные разглагольствования ведутся людьми, не разочаровавшимися в жизни, а просто обленившимися, не знающими жизни, не способными ни на что. Деловому человеку рассуждать о мировой

тоске и бессмысленности существования просто нет времени.

Еще одно событие произошло в жизни Отелкова. Он не заметил, как в доме поселилась Серафима Анисимовна Недошекина. Вначале Иван Алексеевич обнаружил под подушкой ее рубашку, потом на глаза ему попался халатик, под кроватью появился второй чемодан и, наконец, пишущая машинка. В общем, Иван Алексеевич каждый день находил в доме новый, незнакомый предмет. Это постепенное, но упорное наступление женщины на его свободу не столь раздражало, сколь удивляло Ивана Алексеевича. «Интересно, чем все это кончится?» — думал он, видя, как Серафима Анисимовна берет в свои маленькие руки его хозяйство. Ей уже всецело и безропотно подчинялся Урод. Иван Алексеевич тоже почувствовал, что руки у Серафимы Анисимовны не только мягкие, но довольно-таки сильные и ловкие. Они мелькали в доме, как крылья птицы: скребли, мыли, чистили, стирали, гладили. Они не знали покоя в своем стремлении выжить из дома холостяцкий бесплад, насквозь пропахший табачным перегаром, псиной, нестираными носками. В доме водворялся житейский порядок с тюлевыми занавесками на окнах, скатертями, салфетками, ковриками, подушками и подушечками. В доме воцарялся новый запах, приторно сладкий, как в цветочном магазине.

Это одновременно нравилось и не нравилось Отелкову. Нравилось то, что теперь в доме было чисто, сытно и уютно. Теперь его невольно тянуло не из дому, а домой. Угнетало же Ивана Алексеевича то, что он и сам до сих пор не мог разобраться, на каком положении у него находится Серафима Анисимовна. Для домработницы она была слишком хороша, да и вряд ли она согласилась бы на эту должность.

Отелков надеялся в открытом и честном разговоре рассеять мечты Серафимы Анисимовны, но откладывал этот разговор со дня на день.

Серафима Анисимовна отлично понимала состояние Ивана Алексеевича. Она ждала этого разговора и боялась его. Свою заботу Серафима Анисимовна довела до предела, и Отелкову с каждым днем все труднее и труднее было начинать этот неприятный разговор.

Ивана Алексеевича восхищал гибкий ум женщины. Она пришла к нему в тот момент, когда ее приход был необходим им с Уродом как воздух. Втайне Иван Алек-

сеевич благодарил Серафиму Анисимовну и дал себе слово расстаться с ней по-рыцарски.

Так, в неопределенности, в недоговоренности, прошла зима. В марте Иван Алексеевич с Уродом поехал на юг, в горы, на натурные съемки.

Накануне отъезда Ивану Алексеевичу не удалось выяснить с Серафимой Анисимовной отношения и сказать свое категорическое «нет». Она была так самоотверженно внимательна, доверчива и ласкова, что, будь у Отелкова вместо сердца кусок пемзы, он бы и то не осмелился.

В тот же день вечером в вагоне поезда он долго сидел над чистым листом бумаги. Перо повисло над ним да так и высохло. Он думал о Серафиме Анисимовне, видел ее испуганное лицо с виноватой улыбкой, укоризненный взгляд, который выразительнее слов говорил: «Я для тебя готова на все. Чего же тебе еще надо?» Вспомнил и ощутил прохладную свежесть простынь, пахнущих снегом, горячий, жирный и необыкновенно вкусный борщ. Где она научилась такой готовить? Как она умудрялась кормить их с Уродом? Он же не давал ей денег и уехал, не оставив ни копейки.

— Ни копейки,— вслух сказал Иван Алексеевич и вздрогнул как ошпаренный.

Но в купе никого не было. Это успокоило Ивана Алексеевича. Он обозвал себя подлецом и поклялся выслать деньги почтой сразу же, как только приедет на место. Успокоив свою совесть тем, что так быстро и умно решил эту сложнейшую задачу, Иван Алексеевич смял в комок бумагу и пошел в соседнее купе играть в преферанс.

В июле закончились съемки «Земных богов». В сентябре смотреть картину прибыли представители Комитета по кинематографии.

Результаты превзошли все ожидания. «Земных богов» начальство приняло, как говорится, на «ура». Директора студии с его начальниками похвалили и обласкали. Операторов с режиссером отблагодарили премиями. Артисты получили по десятку пригласительных билетов на общественный просмотр в Дом кино.

Иван Алексеевич не знал, что с ними делать. Родственников у него в городе не было. Знакомства он заводил только в среде киношников, которые эту картину видели на студии и в Дом кино имели свободный доступ. Тогда Отелков вспомнил о кочегаре Штукине, которому когда-то обещал бесплатный билет на свою кар-

тину. Он нашел Штукина в огороде, где тот лупцевал за что-то своего кобеля.

— Хватит, Степан Емельянович. Этак можно и упариться,— заметил Отелков.

Штукин оглянулся. Челюсть у него отвисла, а по лицу одно за другим пробежали сначала испуг, потом удивление и, наконец, радость.

— Иван Ляксеич, как же так, яй-бога! — И вдруг закричал неестественно тонким голосом: — Баба, мотрика, гость-то какой к нам!..

На крыльцо выскочила его баба, похожая на мешок с ватой, стянутый веревкой, и, всплеснув руками, запричитала нараспев:

— Иван Ляксеич, родной ты наш! Гостюшка дорогой! Что же это ты нас совсем забыл, не приходишь, не заходишь!

Отелков даже и обещаний таких не давал Штукиным, да и жену-то Степана Емельяновича видел в первый раз, однако, чтоб не обижать хозяев, сказал, что был очень занят.

— Вот тебе, Степан Емельянович, билеты на мою картину. Раздай кому хочешь,— воспользовавшись паузой, сказал Отелков.

Штукин, разумеется, ничего не понял и очень удивился, почему ему дают сразу десяток бесплатных билетов. Ивану Алексеевичу пришлось объяснить, что это общественный просмотр картины, где будет много знаменитых людей, что после просмотра состоится обсуждение картины и что Степан Емельянович тоже может выступить и покритиковать его, Отелкова, как артиста.

— За что же мне вас критиковать? — изумился Штукин.

— Как за что? За плохую игру,— пошутил Иван Алексеевич.

— Эва, еще что скажешь! — обиделся Штукин. — Что я, подлец какой-нибудь?

От общественного просмотра кинофильма «Земные боги» Иван Алексеевич чего-то ждал. Он и сам не знал, что это будет — хорошее или дурное. Ведь, в сущности, общественный просмотр ничего не значит, обычная формальность, успех или неуспех картины от него не зависит. И все-таки Иван Алексеевич ждал его с какой-то непонятной тревогой, хотя для этого поводов не было. Газеты отзывались о «Земных богах» положительно,

В рецензиях, критических статьях мелькала и фамилия Отелкова, правда, писали об игре Ивана Алексеевича мало и сдержанно, но в общем неплохо.

Гостилицына в городе не было. Сдав комитету картину, он уехал на Валдай удить рыбу. «Земные боги» его теперь не интересовали. Что говорят о его картине, что пишут, ругают ли, хвалят ли — режиссеру было абсолютно наплевать. Он удил окуней и обдумывал сюжет своей новой картины.

Отелков, по обычаю, одевался не торопясь и очень придирчиво. Серафима Анисимовна ему помогала. Пока он брился, чистил ногти, она выгладила ему сорочку с галстуком, носки, почистила туфли. Раньше снаряжать Ивана Алексеевича ей доставляло истинное удовольствие. Сегодня же она гладила и чистила с неохотой, на лице ее уже не блуждала виноватая улыбка, губы были плотно сжаты, глаза смотрели сухо, колюче, да и вся ее фигура выражала усталость и обиду. Серафима Анисимовна похудела, нос заострился. На днях она призналась Отелкову, что беременна, и прямо спросила: «Что делать?» Иван Алексеевич, ошеломленный и этим признанием, и вопросом, пробормотал, что надо подумать. От этой неопределенности Серафима Анисимовна сходила с ума. Она была полна решимости немедленно уйти из дому, если только Отелков станет принуждать ее к аборту.

«Что ж, — покорно рассуждала Серафима Анисимовна, — то, чего я хотела, случилось. По крайней мере с ребенком я не буду одинока».

Одиночества она боялась больше всего. Втайне Серафима Анисимовна надеялась, что Отелков в конце концов все же признает ее и ребенка. Но у Ивана Алексеевича даже в мыслях этого не было. Он надеялся, что как-нибудь само собой утрясется.

Серафима Анисимовна опустилась на стул и, положив на колени руки, казалось, задумалась, хотя в эту минуту она ни о чем не думала. Все уже давно было обдуманно, передумано, и от этих дум Серафима Анисимовна устала и подурнела.

Отелков наблюдал за ней в зеркало.

«Как она изменилась! Как эти женщины быстро меняются! — Ивану Алексеевичу на минуту стало жаль Серафиму Анисимовну. — А почему бы не взять ее с собой? Почему не доставить ей это маленькое удовольствие?» Но, вспомнив, что после просмотра будет банкет, сразу отверг эту мысль.

Иван Алексеевич надел шляпу и еще раз взглянул на себя в зеркало. Все было на месте и как надо... Однако настроение у Отелкова от этого не улучшилось.

— Ну, я пошел,— сказал он.

Серафима Анисимовна медленно подняла голову и встала.

— Я долго думала, Иван Алексеевич... Я думала...— и, не договорив, замолчала, беспомощно опустив руки.

Ивану Алексеевичу вдруг до боли стало жалко женщину. Он шагнул к ней, обнял, прижал к груди и, бормоча какие-то слова, стал целовать в шею, щеки, голову. Серафима Анисимовна с трудом сносила эти ласки и, не выдержав, с криком: «Ох, оставь же меня!» — оттолкнула Отелкова и, отвернувшись к окну, горько заплакала. Иван Алексеевич махнул рукой и вышел на улицу.

Настроение у Отелкова окончательно испортилось. Он долго шел пешком. Такси навстречу не попадалось. А ездить при деньгах на трамвае он считал ниже своего достоинства...

Отелков шел не спеша, внимательно поглядывая на заборы, стены домов. Наконец он нашел то, что искал. В весьма солидной газете была напечатана очередная рецензия на фильм «Земные боги». Рецензия, набранная петитом, занимала полный подвал. Она была написана дурным, возвышенно-хвалебным стилем. Удачи восторженно превозносились, о неудачах автор говорил так осторожно, словно извинялся за то, что ему приходится писать о неприятных вещах. В общем, статья была написана так, что невозможно было понять, хорошая картина или плохая.

Иван Алексеевич тоже не понял, хвалит его игру рецензент или осуждает. О нем было сказано так: «Роль профессора исполняет И. Отелков — артист, видимо, крупного дарования и большой культуры. Однако он недостаточно раскрыл внутренний мир ученого. Если профессор Дубасов великолепен, то как человек, вне мира науки, несколько суховат. Видимо, артист очень сдерживал себя и не показал нам всех своих способностей. А жаль! Если бы И. Отелков играл свободно, образ профессора выглядел бы человечнее».

— Что верно, то верно,— с удовольствием отметил Иван Алексеевич и еще раз прочитал отведенный ему рецензентом абзац. И он ему еще больше понравился. В самом отличном расположении духа Иван Алексеевич поймал такси и поехал в Дом кино.

Вообще-то Отелкову спешить туда было незачем: смотреть картину ему давно надоело. Но Ивану Алексеичу очень хотелось узнать реакцию зрителей.

В Доме кино собрались все знакомые. Васенька Шляпоберский был навеселе и, увидев Отелкова, громко приветствовал его. Иван Алексеич услышал, как заговорили:

— Этот артист играет главную роль!

— Интересный мужчина!

Сценарист Денис Сроков метался как затравленный кролик. На него, словно мухи на пряник, наседали друзья-приятели. Денис не знал, куда от них деваться. Они находили его везде и что-то требовали, просили, умоляли. А что они требовали, что просили, он и сам понять не мог. Да и вообще он сегодня ничего не понимал и не видел. Он был слишком счастлив, чтобы что-нибудь понимать и видеть.

В свите писателя Иван Алексеич узнал Гудериана-Акиншина с Сашей Вызымаловым. У обоих были довольные и счастливые лица. Отелков хотел было мимо них проскользнуть, но это ему не удалось. Гудериан-Акиншин с поэтом схватили Ивана Алексеича и начали наперебой ему что-то говорить и расхваливать. Отелков, как и сценарист, ничего не понимал. Возбуждение, какая-то непонятная радость, которой были заражены все вокруг, невольно передались и Отелкову.

В уголке, прижавшись к барьеру гардероба, стоял Степан Емельянович Штукин в новом шевиотовом костюме с пестрым галстуком и в хромовых сапогах, начищенных до совершенного блеска. Он испуганно озирался и никак не мог оторваться от барьера. Увидев Отелкова, он заулыбался, закивал головой. Иван Алексеич хотел немедленно сбежать, но потом устыдился и, подойдя к нему, сказал:

— Что же вы здесь стоите, Степан Емельянович? Идите в зрительный зал.

Степан Емельянович от страха и радости лишился языка. Он бессмысленно улыбался и как заведенный кивал головой.

— Идите, идите. А то все места займут, стоять придется. Видите, как много народу.

— Ужасно много! — прошептал Степан Емельянович и обеими руками вцепился в барьер. Иван Алексеич оторвал его от вешалки и, взяв под руку, повел в зрительный зал, усадил и сел рядом.

— Ну вот, Степан Емельянович, ты очень хотел

смотреть со мной кино. Сейчас мы его и посмотрим,— сказал Отелков.

— Ах, Иван Ляксеич! — прошептал Штукин и заплакался от счастья. Хорошо, что в кармане у него оказался носовой платочек. Штукин закрыл им глаза и так присидел, пока в зале не погас свет.

Когда кончился сеанс, артистов, режиссеров, операторов пригласили на сцену и представили зрителям. Зрители преподнесли цветы. Ивану Алексеевичу достался тяжелый букет темно-красных георгинов. Потом начались выступления.

Первой высказалась студентка театрального института. Она восторженно заявила, что картина очень и очень хороша и что она от нее без ума. Перечислила артистов, которые ей понравились. Ее выступление покорило Ивана Алексеевича: она не назвала его имени и болтала, по мнению Отелкова, черт знает что.

За ней выступал молодой артист. О фильме он сказал несколько скупых слов и соловьем пропел дифирамб режиссеру-постановщику. Его выступление Отелков расценил как нескромный подхалимаж Гостилицыну.

Потом выступили какой-то научный сотрудник, известный Ивану Алексеевичу драматург, критик, передовик производства, журналист. Все одобрили картину, выразили благодарность режиссерам, операторам, похвалили кое-кого из артистов, особенно Урода, и ни слова не сказали об Отелкове и о сценаристе.

Хотя Иван Алексеевич и не придавал никакого значения этим выступлениям, однако все у него дрожало от возмущения и обиды. А после выступления генерала, который трезво и логично указал на удачу и недостатки «Земных богов», правильно оценил игру артистов, но то ли умышленно, то ли случайно ни словом не обмолвился об исполнителе главной роли, Иван Алексеевич опустил голову и уже боялся поднять ее.

Наконец слово взял представитель Управления по делам культуры. Он поздравил студию с новой победой и пожелал ей дальнейших успехов. Очень сожалел, что здесь, в зале, не присутствует главный виновник этой победы — режиссер Гостилицын, который, как он выразился, «какой уже раз радуется нашего зрителя». Об авторе сценария он тоже ничего не сказал, зато крепко пожал руку директору студии и начальнику сценарного отдела и подарил артистам несколько приятных слов. Но, к ужасу Ивана Алексеевича, его роль приписал другому, всем известному киноактеру. Когда его поправили,

он разочарованно протянул: «Да ну-у?!» Потом спохватился и так великодушно просил у Ивана Алексеевича прощения, что Отелков от стыда не знал, куда деваться. Но, к счастью, обсуждение на этом закончилось.

Банкет, как это и заведено, давал автор сценария. Если сценарист по выходе картины не устроит банкет, можно наверняка считать, что репутация его навсегда погибла. Денис Сроков это отлично знал и постарался не ударить в грязь лицом. Желаящих попасть в ресторан была тьма: по традиции присутствовали вся съемочная группа «Земных богов» и начальство студии.

Настроение у Отелкова было далеко не банкетное. Он решил уйти отсюда и больше никогда не возвращаться. И он пошел... Но, отойдя от Дома кино два квартала, остановился. Сердце сжалось так, что в глазах потемнело. «Куда же мне деваться с такой тоской?» — подумал Отелков и решил бежать от тоски и от самого себя самым коротким путем — напиться на банкете. С этим намерением он и появился в ресторане.

— Отёлло, кандюхай сюда! — закричал Васенька Шляпоберский и замахал руками.

«С ним-то наверняка напьюсь!» — мрачно усмехнулся Иван Алексеевич и пробрался к столу, за которым расположились Васенька с Денисом Сроковым и худенькая, с огромными, изумленными глазами девушка.

Иван Алексеевич запоздал к началу и теперь малопомалу догонял. Тосты провозглашались один за другим. Пили подряд за отсутствующего Гостилицына, за оператора Начаркина, за директора студии, за начальника сценарного отдела. Иван Алексеевич опрокидывал рюмку за рюмкой и только краснел. Водка его не брала. Васенька Шляпоберский пока что находился в легком подпитии, Денис перепускал рюмку за рюмкой. Когда Васенька завопил: «Предлагаю тост за писателя, сценариста Срокова!» — Денис вскочил и стал кланяться. Все уже выпили за него, а он все кланялся. Наконец стали пить за здоровье артистов... И тут раздался пронзительный женский голос:

— Товарищи! Предлагаю тост за самого великолепного артиста! За эту милую собачку...

— За Урода! За Урода! — закричали со всех сторон.

Дождавшись, когда шум малость стихнет, женщина изумленно воскликнула:

— А почему я не вижу здесь этой милой собачки?

— Верно, почему среди нас нет Урода? — сказал кто-то грубым голосом.

— Отелков, почему ты не привел на банкет своего талантливой собачьей породы актера? — спросил Сомов.

Иван Алексеевич не успел ответить, как около него появился сухопарый субъект с плоским, как лопата, лицом.

— Так это ваша собачка? — спросил он, улыбаясь одними губами.— Я хочу выпить с вами за ее здоровье.

У Ивана Алексеевича что-то оборвалось внутри, с лица схлынула кровь. Он встал, дико посмотрел на всех и медленно вышел из ресторана.

Уже смеркалось. В конце проспекта на густом темно-синем небе вспыхивали и гасли огромные ярко-красные буквы, призывающие смотреть новую кинокартину «Земные боги». Иван Алексеевич остановился и замер, не спуская глаз с рекламы. Он стоял посредине тротуара как столб. Мимо него сновали люди, толкали его и сами же возмущались. А он стоял и смотрел и вдруг, сорвавшись с места, стремительно, широкими шагами пересек улицу напротив кинотеатра. Все билеты были проданы, и сеанс начинался. Отелков постучался в окошко кассы и просунул свое удостоверение киноактера. Кассирша сердито сказала, что билетов нет. Иван Алексеевич потребовал директора, назвал и объяснил, что ему сейчас же необходимо смотреть картину «Земные боги». Директор позволил. Ивану Алексеевичу за последним рядом, около двери, поставили стул. Отелков решил от всего отвлечься, забыть, что он артист, и посмотреть фильм глазами рядового зрителя. Понять, в чем же дело. Почему его не ругают, не хвалят, вообще ничего о нем не говорят.

Перевоплотиться из артиста в зрителя очень трудно. Это возможно при определенном душевном состоянии. Иван Алексеевич находился в состоянии страшной душевной подавленности.

Когда он вышел из зрительного зала и попытался припомнить наиболее яркие кадры с профессором Дубасовым, то не смог назвать ни одного. Профессор промелькнул как серая тень. «В чем же дело? Кто виноват: я, сценарист или режиссер?»

Иван Алексеевич шел то быстро, то медленно. Вопрос «Кто виноват?» то останавливал его, то подгонял...

«Да, но все остальные получились ярко...» Урода, который был, пожалуй, самым великолепным в фильме,

Иван Алексеевич не считал. Всем известно, что лучше всех снимаются в кино дети и звери. А вот почти эпизодическая роль директора института? Как она сделана! В момент взлета космического корабля никто не был так внешне спокоен, как директор, и в то же время никто так не волновался, как он. И как это здорово сделал Сомов! Одним кадыком, который сновал по горлу, как челнок... А плачущий геолог! Он подставляет лицо под дождь и не стесняясь плачет, и никто не видит его слез, кроме зрителя. А ведь у сценариста этого не было. И не режиссер до такой блестящей находки додумался. Сам артист Кондаков ее подсказал... Или мать, провожающая в космический полет сына-радиста. Она не говорит ему ни слова, а только бегает вокруг него мелкими, торпливыми шажками. И в этой суетливости артистка выразила и предчувствие несчастья, и невыплаканное материнское горе. Все нашли для своих образов что-то особенное, неповторимое!

— Все, все, кроме меня! — прошептал Отелков. — Почему же тогда во всех своих неудачах я всегда пытался кого-то обвинять!

Сознание собственной бездарности не покорило Ивана Алексеевича. Это сознание давно уже зрело и, наконец созрев, не испугало Отелкова. Ему только стало очень жаль себя.

Отелков быстро шел по освещенной, людной улице. Голова у него прояснилась, ноги ступали легче и живее. Иван Алексеевич вдруг остановился и спросил себя:

— А что же делать теперь?

Иван Алексеевич вспомнил о Серафиме Анисимовне, и его неудержимо потянуло к ней. Только теперь он понял, что единственный близкий ему человек — скромная терпеливая машинистка. Только она одна могла понять и любить его таким, каков он есть, — что бы он ни сделал, что бы с ним ни случилось.

«Наверное, не спит, ждет меня», — с нежностью подумал он о Серафиме Анисимовне и представил себе, как она сидит, вытянув руки, опустив голову, и чутко прислушивается к шагам за окнами.

Стал накрапывать дождик. Отелков с удовольствием ощутил прохладные капли на лице. Это взбодрило его и еще больше укрепило в решении немедленно ехать домой.

Отелков забежал в магазин, купил вина, закусок, сладостей и лакомств Серафиме Анисимовне.

Он ввалился в комнату со сбитой на затылок шляпой, с охапкой покупок, необычно возбужденный — таким, каким еще никогда не был. Серафима Анисимовна догадалась, что с Иваном Алексеевичем случилось что-то ужасное. И в то же время какое-то шестое чувство подсказывало ей, что именно это ужасное и толкнуло его к ней и, может, оно и есть то счастье, которого она так долго ждала.

Серафима Анисимовна не отрываясь смотрела на Ивана Алексеевича, и лицо ее, бледное, испуганное, постепенно менялось и расцветало: вначале румянец проступил на щеках, потом залил подбородок, шею.

— Боже мой, зачем ты столько накупил? — прошептала она, когда Иван Алексеевич свалил покупки на стол.

— А мне, Сима, скучно стало на этом банкете. Все перепились, как идиоты. Думаю, дай-ка махну домой! Дорогой вот и захватил это. Поужинаем по-настоящему. Мы еще, кажется, с тобой по-настоящему не ужинали. А сегодня поужинаем! — говорил Отелков громко, бодро расхаживая по комнате и размахивая руками.

Серафима Анисимовна видела, что бодрость у Ивана Алексеевича вымученная, но она умело скрывала свою догадку. Она вела себя так, как будто и не подозревала, что творится в душе Ивана Алексеевича. Его ласковые слова, на которые он всегда был скуп, его усердие, с которым он помогал готовить ей ужин, — все, все подтверждало ее догадку. И она боялась, как бы Иван Алексеевич не разоблачил ее. Серафиме Анисимовне не хотелось пить вино, а он все время подливал в ее бокал, и она пила и старалась быть веселой.

Иван Алексеевич пил много. Вино хотя и не веселило его, но зато кое-как бодрило и помогало сдерживать наползающую на него тоску. Но она наваливалась и наваливалась, подкатывалась к самому сердцу, и Отелкову невольно хотелось завывать зверем или горько расплакаться. В одну из таких минут он заявил, что хочет слушать музыку, вскочил, чтобы завести радиолу. Радиола оказалась неисправной, Иван Алексеевич принялся чинить, но через пять минут бросил и жалобно сказал:

— Сима, я спать хочу.

Они лежали, тесно прижавшись друг к другу. Серафима Анисимовна быстро уснула... Иван Алексеевич погасил свет. И вместе с темнотой на него опять навалилась тоска, стало душно. Он встал, осторожно выдвинул

засовы ставней и, настезь распахнув окна, стал жадно вдыхать в себя прохладный, сырой воздух; потом походил по комнате и прилег на кушетку. Пока он открывал ставни, пока метался из угла в угол, тоска как будто бы его оставила, но, как только лег, она опять схватила Отелкова за сердце.

— Боже мой, сколько времени потеряно напрасно! — прошептал Иван Алексеевич и беззвучно заплакал.

После слез ему стало легче. Он лежал, ни о чем не думал, слушал металлический скрежет пробегавших мимо дома электричек, чугунное гроыхание товарных поездов, от стука которых все в доме тряслось и чайная ложка на блюде, подпрыгивая, звонко брэнчала.

Перед домом над тополями повисла полноликая луна. Ее неясный, как легкий туман, свет падал на стены, на пол, на кровать, где разметалась во сне Серафима Анисимовна. Одеяло сползло, она, подогнув под себя ноги, в эту минуту очень походила на огромное белое яйцо. Иван Алексеевич почему-то устыдился ее наготы. Он поднял одеяло, накрыл женщину, хотел было тоже лечь, но раздумал и вышел на улицу.

Иван Алексеевич сел на ступеньку крыльца и устался в темно-синюю глубину сентябрьского неба. Усиливающийся ветер, казалось, пытался погасить звезды.

Из-под крыльца вылез Урод, отряхнулся и широко зевнул. Он только что избавился от кошмарного сна. Ему снился кирпичный сарай и страшное чудовище с огромными огненными глазищами.

Чудовище долго гоняло его по сараю и в конце концов загнало в блестящую жестяную банку. Раздался крик: «Мотор!» — банка с оглушительным треском лопнула, и Урод полетел в яму. Он так долго летел, что ему стало страшно, и он проснулся. Почувствовав под собой войлочную подстилку, вдохнув привычный запах заплесневелых досок, успокоился, вылез из-под крыльца, увидел хозяина, зевнул блаженно, потянулся и, подойдя к нему, уткнулся носом в колени.

Иван Алексеевич крепко сжал собаке голову:

— Ну, как живешь, старина?

Урод, казалось, понял хозяина и радостно заулыбался, то есть оскалил зубы и высунул язык. Урод бы мог рассказать хозяину, если бы тот понимал собачий язык, что живет он как нельзя лучше. Кормят каждый день и очень даже прилично. Самое главное — теперь он опять свободен. Хочет — спит, хочет — гуляет, хочет — бегают

на посиделки к соседу Катону, а захочет — и ничего не делает. Вообще он живет, как настоящий дворянин. Хотя в дом его теперь и не пускают, но он нисколько не обижается. Под крыльцом у него великолепный войлочный матрац, и лежать на нем — сплошное удовольствие. Правда, снятся ему каждую ночь дурацкие сны, но для разнообразия в жизни это не так уж и плохо...

Иван Алексеевич, обняв собаку, грустно пожаловался:

— А мне, брат, не повезло!

Урод приподнялся и стал лапами гладить хозяину плечи. Иван Алексеевич спихнул его на землю. Урод положил голову ему на колени и стал смотреть Отелкову в глаза, дрожа от преданности и любви.

Иван Алексеевич долго рассказывал собаке о своей жизни, о том, как он деревенским мальчиком увлекся сценой, как кто-то посоветовал ему ехать в город учиться на артиста, как он поехал, поступил в институт, как учился, как работал и как ничего из этого не получилось.

Урод слушал, скаля зубы и высунув язык. А Иван Алексеевич говорил ему, что теперь он начнет новую жизнь, совершенно непохожую на прежнюю, и говорил твердо, решительно и сам этому верил...

...Через три дня Отелков получил телеграмму с киностудии города М. Ему предлагали роль. Он выехал в тот же день вечером,

НАДЕНЬКА ИЗ АПАЛЁВА

Апалёво

Апалёво — село в три десятка домов на берегу реки Итомли. Дома крепкие, приземистые, стоят тесно, почти касаясь друг друга серыми нахлобученными крышами. А вокруг, куда ни глянь, поля, перелески и опять поля. Как-то, листая старый журнал «Наша охота», я наткнулся на заметку, в которой рассказывалось о том, как медведи из казенных апалёвских лесов драли крестьянский скот. А нынче... На месте лесов вырубки с густо засеваемым малинником, непролазным березняком, кривоногой ольхой и чахлым осинником. И только среди болота остался небольшой островок с высоchenными соснами, строгими, печальными елями и богатыми глухариными токами.

Дом Кольцовых попятился на задворки, сломал ровный порядок села и стоит особняком — большой, старый и несуразный. Это две сдвинутые избы под одной крышей, с сенями посредине и громоздким мезонином. Сбоку дом похож на заброшенный дровяной склад, с фасада он глядит на мир как огромная больная птица. Нижние венцы сгнили, рассыпались, отчего дом вогнулся внутрь, словно подобрал живот, с боков же его, наоборот, разнесло, мезонин с крыши свесился и пристально смотрит

на землю, как бы выбирает место, куда бы ему поудобней свалиться.

Я снимаю угол в этом мезонине. Хозяева живут внизу, подо мной, в передней избе; задняя служит кладовой для рассохшихся бочек, ломаных ящиков, мешков и никому не нужного хлама.

Каждое утро я просыпаюсь от шумной возни и гортанного крика неугомонных галок, расселившихся по длинному карнизу обширного кольцовского дома.

Солнце уже давно поднялось с болота, сжалось в кулак и насквозь прожигает крошечное окошко. В мезонине светло и жарко.

Распахиваю окно в сад. Одичавший сад подсыхает. Над яблонями струится чуть заметный парок, смородина роняет на землю крупные капли росы.

На колченогой скамейке сидит хозяин. На нем валенки, красная рубаха и рыжая шляпа с обкусанными полями.

В открытую калитку с улицы корова просунула комолую голову и смачно облизывается. Корова смотрит на хозяина, он — на корову, и оба молчат. Но вот корова, вытянув шею и стеганув себя по бокам хвостом, направляется к капустным грядкам. Хозяин смотрит ей вслед и жмурится.

— Доброе утро, Алексей Федорыч! — кричу я.

Хозяин поднимает голову и вопросительно смотрит, раскрыв беззубый рот:

— Чего ты говоришь-то?

— Доброе утро...

Алексей Федорович смотрит пристально на небо. Потом опять на меня.

— Куда ж еще лучше... Вот ведь я в одной рубахе — и тепло.

На крыльцо выбегает хозяйка Ирина Васильевна и заводит нараспев, речитативом:

— Ляксе́й, идо́л... леши́й... лодырь окаянный, чего же ты делаешь?..

— Как — чего? — удивляется Алексей Федорович. — С человеком разговариваю.

Ирина Васильевна делает вид, что ищет палку.

— Я тебе сейчас поразговариваю, облень несчастная. Видишь, корова капусту топчет.

Алексей Федорович равнодушно смотрит на корову:

— Ну так что ж.

Ирина Васильевна подскакивает к нему и дергает за рукав:

— Выгони... Сейчас же выгони... Не то самого из дома выгону.

— Вот ведь проклятая. Кормлю, кормлю, а ей все мало.— Он нехотя поднимается, идет выгонять корову.

Супруги Кольцовы доживают свой век на пенсии. Алексею Федоровичу за семьдесят. Ирине Васильевне немного меньше. Он маленький, розовощекий, добродушный старичок. Она сгорбившаяся, как надломленный сучок, старушка. Ирина Васильевна все спешит, торопится. За день она успевает переделать тысячу дел, а вечером сокрушается, что еще столько дел не переделано. Алексей Федорович, наоборот, не разбежится. Движения у него мягкие, ленивые, безвольные, словно он не по земле ходит, а плавает в каком-то полудремотном сне.

— Такой уж отроду вышел,— жаловалась мне Ирина Васильевна.

Двадцатилетним парнем Алексей Кольцов привел в свой дом из соседнего села шестнадцатилетнюю Иринушку и взвалил на ее плечи все хозяйство.

— Ходить бы Лехе Кольцову без порток, кабы не женка,— судачили в Апалёве.— Не баба, а паровоз. Одна на себе дом тащит.

И она тащила не разгибаясь. Да и когда было разогнуться, разве что ночью в постели. Все мало, все надо было Ирине Васильевне. Хозяйство из года в год росло: появилось три лошади, жнейка, льномялка. Мало — Ирина Васильевна мечтала о молотилке.

— На кой лях мне эта молотилка с мялками? Ничего мне не надо! — ругался муж.

Впрочем, он оказался прав. Не надо было ни жнеек, ни молотилок — ничего! Во время коллективизации Кольцовых причислили к кулакам и все отобрали. Хотели было сослать, да раздумали и приняли в колхоз на исправление с испытательным сроком.

Алексей Федорович, до смерти боявшийся колхоза, неожиданно облегченно вздохнул. Под властной рукой Ирины Васильевны он был рабом труда, в колхозе же, к своему изумлению, почувствовал себя хозяином труда. Здесь никто его не погонял и не ругал. То, что нужно было сделать обязательно сегодня, Алексей Федорович со спокойной душой откладывал на завтра.

Ирина Васильевна — наоборот. Она как вырвалась на первой весенней борозде вперед, так уже ее никто и не смог обогнать. Она стала первой ударницей в селе, первым делегатом на слете колхозников, постоянной

участницей всех выставок, и она первой в колхозе получила пенсию.

Мне она так говорила:

— Вот ведь мой-то — как карандаш, и щеки что клюковка. А я словно коромысло. А почему? Потому что он умней меня. А я дура баба. Все-то мне больше всех надо было. Как сейчас помню, дергаем лен наперегонки. Справа соседка Наталья, слева Матрена Никитина. А я посредине гоню. А ты знаешь, что это за работа? День-деньской на ногах и согнувшись, как крюк. От льна глаза заволокет зеленую, а я все жму и жму. Искося взгляну на Матрену — догоняет; еще сильней поднажму. А в глазах уже не зелень — кольца огненные плавают. Остановишься — спину не разогнуть; страшно, как бы пополам не переломиться. Вот так домой и ковыляешь, как коромысло, и подымалку руками придерживаешь, чтоб с пояса не свалилась. А гордость все равно распирает: опять Наташку с Матреной обогнала. Вот ведь дуристь-то какая.

— Это не дуристь, а характер, — возразил я.

Ирина Васильевна махнула рукой:

— Ну какой там характер, глупость одна. — Но, подумав, согласилась: — Может, и характер... Вот у Наденьки-то, внучки, тоже мой, беспокойный характер. Только он у нее по другой линии пошел, по общественной. Дома по хозяйству палец о палец не стукнет, а для общества лоб разобьет...

Наденька

С Наденькой я познакомился раньше — весной.

Приятель, страстный охотник, уговорил меня съездить в Р*** район, в деревню Апалёво, на глухарей. В условленный день и час в полном снаряжении я был на вокзале. Но приятель на этот раз подвел меня. Я поехал один и к вечеру прибыл в Апалёво. На ночлег к Кольцовым охотно согласилась проводить меня остроглазая, шустрая девчонка. Всю дорогу она тараторила без умолку:

— Они, дяденька, всех пускают ночевать. И денег за постой не берут. А дом-то у них ужасно пребольший. Две большие избы и одна маленькая, только они в маленькой не живут. Денег-то, смотрите, им, дяденька, не давайте, а то обидится бабушка Ирина. Они хотя и богатые люди, а добрые, — наставляла меня девчонка. Она

шла впереди меня, волоча по жирной грязи, как лыжи, грузные сапоги. На ее узких плечиках висело плюшевое пальтишко, сшитое с расчетом на вырост.

Встретили меня Кольцовы весьма странно. На мое «здравствуйте» никто не ответил. За столом сидел старичок и дергал за кончик свою узкую бороденку. Около печки старуха, согнувшись пополам, толкла в чугуне картошку. Я стоял на пороге с шапкой в руках и ждал. Старуха подняла голову:

— Что ж зря стоять-то? Скидывайте одежду, вешайте на свободный гвоздь. Вот как приберусь, так и заужинаем. Аль самоварчик поставить?

— Неплохо бы, — охотно согласился я.

После сырой, промозглой погоды здесь, в теплой избе, насквозь пропахшей квашеной капустой, меня прохватил приятный озноб.

Я разделся и подсел к старичку. Он, не переставая улыбаться, смотрел на меня, потом через стол протянул руку и представился:

— Алексей Федорыч Кольцов.

Я поспешно вскочил и невнятно пробормотал фамилию. Старик, кажется, не обратил на это никакого внимания и продолжал дергать бородку и улыбаться. Не зная, как начать разговор, я тоже стал улыбаться и подмигивать:

— Ну как глухари-то, поют?

Алексей Федорович перегнулся через стол:

— Чего ты говоришь-то?

— Глухари, наверное, вовсю поют, — громко повторил я.

— Не понимаю, о ком ты говоришь. — Алексей Федорович махнул рукой, отвернулся к окну и стал пристально смотреть на затянутую сумерками улицу.

— Ты, товарищ, пройди на чистую половину. А с моим стариком не разговоришься, — сказала хозяйка.

«Чистую половину» от кухни отделяла дощатая перегородка. Просторная комната была обставлена дорогой светлой мебелью. Стены, оклеенные бархатистыми лиловыми обоями, были совершенно пустыми. Только над невысоким книжным стеллажом висела картина в черной рамке под стеклом. Она поразила меня своей простотой и отменным вкусом. На ней был изображен вечер в горах: слегка подсиненный снег, а на нем густые синие тени от нависших скал и низкорослых елей. То, что картина была редкой, и то, что писал ее не русский художник, не вызывало сомнения. Но как она могла по-

пасть в Апалёво? Я присел на диван, задумался и не заметил, как уснул.

Хозяйка разбудила меня ужинать.

Я прикусывал мягкий ржаной хлеб, пил молоко. Хозяева — чай. Алексей Федорович, держа обеими руками блюдце, звучно прихлебывал и поминутно вытирал ладонью лысину. Когда он в третий раз потянулся к самовару с чашкой, Ирина Васильевна молча дала ему по рукам и перевернула чашку вверх дном. Алексей Федорович обиженно посмотрел на нее, потом на меня, хотел что-то сказать, но раздумал и, махнув рукой, вылез из-за стола.

Я вспомнил о картине и спросил о ней хозяйку.

— Австриец оставил,— сказала она.— В войну у меня ихний полковой доктор стоял. А уж как по-нашему-то калякал, другому и русскому так не сумеет. Меня-то он не иначе как только Ириной Васильевной величал...

Я усмехнулся:

— Чем же он был хорош?

Ирина Васильевна поджала губы, взяла щипцы и стала мелко колоть сахар.

— Помню, сидим мы как-то, да вот как с тобой. Я его и спрашиваю: «Что ж вы будете делать-то с нами, как всех завоюете?.. Небось колхозы распустите, немецкую барщину установите?» А он на мои слова грустно-грустно усмехнулся и говорит: «Не надо мне вашей земли. Зачем она мне? И войну я ненавижу, и в победу не верю». От этих слов мне сердце так и сжало, но я совладала с собой, подавила радость и пытаю: «Пол-России прошли и в победу не верите?» — «Нет, не верю,— говорит он.— Предчувствие у меня такое». А сам все ходит и ходит по комнате, ровно места себе не найдет. Остановился около карточки Мишеньки моего. Он у меня в то время уже в командирах ходил, так и был снят в форме. Долго рассматривал немец карточку, потом снял ее со стены и подал мне: «Поберегите,— говорит,— от лихого глаза. Ко мне разные люди ходят...» А потом он скоренько уехал, а картинка осталась. Может, забыл, а может, сам оставил... А всем скажу, не побоюсь: добрый, душевный был человек. Надьку, внучку мою, от смерти спас. Десять годков ей тогда было. На стоячую косу она у меня наскочила и располосовала все лицо от виска до шеи. Вся бы кровью изошла, кабы не он. Кровь он кое-как остановил да на машине в свой госпиталь отвез. С той поры у Наденьки шрам на всю жизнь остался. Я так думаю: потому-то и женихи ее обходят. А девуш-

ке двадцать пятый годок пошел, — вздохнула Ирина Васильевна.

— А где же она? — спросил я.

— В соседней бригаде картину крутит. Она в колхозе механиком по кино.

Наконец я решился заговорить о цели приезда.

— Да какие же теперь у нас глухари. Лес-то весь повырубили. Разве что за болотом, в сухом долу, остались.

— А как туда пройти?

— Одному не пройти, — возразила Ирина Васильевна. — Вот разве что внучка согласится проводить.

— А когда она придет?

— К двенадцати аль к часу явится.

Я посмотрел на часы: еще не было и девяти.

— А вы ложитесь и спокойно отдыхайте, — посоветовала Ирина Васильевна.

А что еще оставалось делать? Хозяйка принесла раскладушку и раскинула ее здесь же, на кухне. Я скорчился под легким, байковым одеялом, проклиная в душе глухарей и приятеля.

Проснулся я от толчка в плечо. Около меня стояла высокая девушка в резиновых сапогах, ватных брюках и фуфайке, туго перехваченной ремнем-патронташем.

— Вставайте, пора, четвертый час.

Я вскочил и стал торопливо натягивать болотные сапоги.

Наденька села на табуретку, поставив меж колен ружье. Одеваясь, я украдкой поглядывал на девушку. Она смотрела перед собой в одну точку, сдвинув острые брови и плотно сжав сухие губы. Как я ни пытался, а шрама не увидел. Он был прикрыт опущенными ушами зимней шапки.

Прямо с крыльца мы нырнули в глухую темень, как в бездну. Я на секунду оторопело зажмурился, а когда открыл глаза, темень, казалось, еще больше сгустилась. Я сделал десяток неуверенных шагов и уткнулся в забор. Забор покачнулся и глухо треснул.

— Сюда, сюда шагайте! — крикнула Наденька.

Я свернул на голос и стал осторожно пробираться вдоль забора. Глаза начали постепенно привыкать к темноте, ноги нащупали упругую тропинку, по ней я вышел в поле и догнал Наденьку.

Дорога вела через вспаханное поле; прихваченная морозом, она гулко звенела под ногами. Сквозь густую, как тушь, мглу едва проглядывали звезды. Наденька

шла впереди легким размашистым шагом. Вскоре поле кончилось. По вырубленным в земле ступеням спустились с крутого берега к реке. Паводок только что начался. Но вода уже захлестывала лавы — два тонких бревна, перекинутых через реку. По ним мы перебрались на противоположный берег. Пройдя метров двести, свернули в болото и сразу же по колено ухнули в жидкий зернистый снег. Таким образом мы двигались с четверть часа. Ноги без малейших усилий, с хлюпаньем, как поршни, входили в снег, но с каким трудом приходилось их оттуда вытаскивать! Пот ручьями стекал за ворот, в ушах стоял непрерывный протяжный звон, подмывало желание упасть в снег и так лежать не шевелясь, без движения. А Наденька, размахивая шапкой, упорно ползла и ползла вперед. Но вот и она не выдержала. С криком «Ой, не могу!» упала в снег, широко разбросав руки.

— Ну как, охотничек, дышите? — смеялась Наденька. — Уж я вас сегодня так вымотаю, что детям закажете ходить по глухарям.

— Я не из жидких.

— Посмотрим.

Вырвавшись из снежного плена, попали в залитое водой болото. Порой вода поднималась выше колен. Но идти было легко, хотя и опасно: под ногами лежал крепкий скользкий лед. Потом с полчаса пробирались по вязким мшистым кочкам и, с трудом форсировав бурливую, с глубокими ямами лесную речушку, вышли на твердый шершавый берег. Впереди стояла высокая темная стена леса, жутко молчаливая и таинственная. А сзади, бурча и поплескивая, бежала по косогору речка.

Ночь постепенно бледнела, звезды терялись, сквозь грязно-серую муть неясно проступали голые стволы сосен.

Медленно, осторожно продвигались мы по узкой обледенелой тропинке в глубь леса. Наденька поминутно оглядывалась на меня, шипела, грозила пальцем. Внезапно она резко остановилась, вытянула шею и вся подалась вперед. Я тоже замер. Наденька повернула ко мне лицо и, задыхаясь, прошептала:

— Поет!

Я же, кроме гулкового стука сердца и тупого звона в ушах, ничего не слышал. Наденька вытянула руку в сторону, где играл глухарь:

— Там, у Черного ручья.

Я переступил с ноги на ногу, чтобы ослабить нервное напряжение, и стал прислушиваться. И в этот же миг уловил чуть слышное «тэк-тэк-тэк», словно кто-то за кустами легонько постукивал по спичечному коробку.

Я метнулся с тропинки, сделал два огромных прыжка и остановился как вкопанный. Рядом со мной тяжело дышала Наденька.

Сколько мы сделали таких перебежек, не помню. Но когда я, зацепившись за колдобину, плашмя растянулся на кустах можжевельника, то услышал и второе колесо песни: глухарь сыпал частую дробь, шипел и фыркал. Оно продолжалось недолго — каких-нибудь пять-шесть секунд. Но эти секунды самые блаженные как у глухаря, так и у охотника. В эти секунды глухарь, выражая любовную страсть, теряет рассудок. Охотник же в каком-то необъяснимом экстазе, словно в лихорадке, поднимает ружье. Зачем? Мясо у глухаря весной жесткое и постное. Но эта благоразумная мысль пришла ко мне значительно позже. А сейчас я лежал ничком на колючем можжевельнике и дрожал от нетерпения.

Глухарь играл одну песню за другой. Мягко шаркая крыльями, пролетела глухарка и села неподалеку на кривобоковую, с перебитой макушкой сосну. И, словно почуввав ее, глухарь залился пуще прежнего. Он до того дошел, что потерял, видимо, равновесие. Я услышал, как затрещали сучья и, будто простыни на ветру, захлопали крылья. Опомнившись, глухарь опять взгромоздился на дерево, чокнул три раза и замолчал, то ли почуввав опасность, то ли от стыда за свою оплошность перед глухаркой. Прошло минут пять; глухарь молчал. Потом он начал точить — словно рашпилем по железу. Прошло еще десять минут; глухарь молчал; а я все лежал и коченел от сырого, холодного тумана.

Всходило солнце. Его длинные тонкие лучи скользили по шербатым стволам сосен, веером ложились на запыленную инеем землю. Одинокие кочки, убранные ярко-зеленым мхом, блестели, как стеклянные. В крохотных лужицах плавился матовый ледок. Перелетая с места на место, звенели, пищали и дрались крохотные пичужки; пересвистывались лесные дрозды, неумолчно во всех концах болмотали тетерева, и где-то далеко в болоте гнусаво стонали журавли. Только молчал мой глухарь. Но вот и он подал голос — тихо, осторожно, робко, а потом начал сильно, резко, отрывисто и вдруг сразу же торопливо зачастил, зашипел, зафыркал. Я дождался очередной песни и сломя голову бросился

вперед. Я бежал напролом, не обращая ни на что внимания и ничего не помня. Когда я налетел на толстый ствол сосны и, обняв, прижался к нему, то почувствовал, как горит исхлестанное ветками лицо, и понял, что на голове нет шапки.

Я выглянул из-за дерева. На полянке, в окружении молодых тонконогих сосен, стояла старая ель. С одной ее стороны в густой хвое просвечивалось окно. В этом окне я и увидел глухаря. Он, чокая, вытягивал вверх шею и слегка распускал крылья. У меня перехватило дыхание. Я поднял ружье, попытался прицелиться и не смог: ель с глухарем внезапно куда-то исчезла, потом опять появилась и опять пропала. Меня била лихорадка. Я опустил ружье, прижался к сосне и стал спокойно наблюдать.

Глухарь играл песню за песней: вертелся на суку волчком и с каким-то металлическим скрежетом точил и точил, с шипением распускал хвост. Медленно поднял я свою верную «тулку», прижал ствол к дереву и хладнокровно прицелился. Но выстрелить не успел...

На поляну выскочила Наденька. Глухарь смолк, вытянул шею и уставился на нее. Наденька стащила с плеча одностволку, вскинула на руку, и глухой протяжный выстрел, словно на тяжелой расхлябанной телеге, покатился по лесу. Белый клуб порохового дыма на миг заслонил глухаря, а когда дым рассеялся, его уже там не было.

Я ошеломленно смотрел на Наденьку, а в голове неуклюже, как у пьяного, ворочались вязкие мысли.

— Что это все значит? — наконец выдавил я.

— Не позволю! — гневно ответила Наденька. Лицо у нее от возмущения покраснело, и на нем резко выделялся белый рваный шрам. — Не позволю!

— Зачем же вы тогда меня сюда тащили? — возмутился я.

— Чтоб проучить... — Она закинула за спину одностволку и расхлябанной походкой, болтая руками, вызывающе прошла мимо меня.

Моя шапка плавала в луже. Я выудил ее оттуда и, не надевая на голову, уныло потащился по болоту.

Где-то грустно и тоскливо плакала горлинка, нежно ворковал лесной голубь, и неумолчно со всех сторон несло ворчливое болмотанье косачей.

Наденька дожидалась меня на просеке. Она сидела на пне и наблюдала за мной. Когда я с ней поравнялся, Наденька встала и пошла рядом.

Солнце уже поднялось над лесом и начинало припекать. Пахло гнилью, смолистой хвоей и талым снегом. — Вы все еще сердитесь? — неожиданно спросила Наденька.

Я пожал плечами и ничего не ответил. Она тронула меня за руку и грудным, тихим голосом проговорила:

— Пожалуйста, не сердитесь. Он пел песню любви...

Больше мы не сказали ни слова. А когда опять вышли на вспаханное поле, Наденька вскинула ружье и озорно крикнула:

— Кидай шапку!

Я высоко в небо подбросил шапку. Наденька выстрелила и промахнулась.

— Эх ты, стрелок в юбке!

Она обиделась:

— А ты-то что, лучше?

— Да уж шапку-то как-нибудь...

— А ну, докажи, — подзадорила она.

— Кидай!

Наденька подбросила. И я доказал. Моя добротная, с кожаным верхом кубанка упала дырявая, как шумовка.

Молодежь

Я до того обленился в Апалёве, что даже мух от себя не гоняю. Второй месяц на исходе — у меня ни строчки. Чистый лист на письменном столе пожелтел и сморщился. День за днем бью баклуши, а по выражению Наденьки, «изучаю жизнь». Она старается вовсю: таскает меня по полям, бригадам и каждый раз хвастается, что я сочинитель книг. Люди на меня смотрят по-разному, но больше с насмешливым любопытством. Только, пожалуй, в глазах Наденьки я — фигура, в глазах остальных — нечто среднее между уполномоченным из района и колхозным лодырем Аркадием Молотковым. Даже Ирина Васильевна поглядывает подозрительно: она никак не может понять, как это человек нигде не работает, а только пишет.

Моя попытка сблизиться с людьми не имела успеха. Как-то мне вздумалось поработать на уборке сена. Я разыскал в сарае вилы и пошел на заливной луг Итомли, где метали стога. Там работали одни женщины. Еще издали я заметил, как они, бросив сгребать сено, следили за мной. Мне стало сразу же скучно, за-

хотелось повернуть назад, но ноги против воли несли вперед. Робким, заискивающим голосом я пробормотал, что хочу им помочь. Они ничего не ответили и продолжали презрительно разглядывать меня. Наглядевшись вдоволь, принялись быстро и ловко взмахивать граблями и уже больше не обращали на меня никакого внимания. Я накалывал на вилы огромные охапки сена и подавал на стог колхознице в яркой красной кофте. Работал неловко, но старался изо всех сил, как говорят — из кожи лез. Они же мне не сказали ни слова и, когда последний стог был сметан, вскинув на плечи грабли, ушли, оставив меня одного среди луга.

«Почему, почему они так?..» — с горечью размышлял я.

На этот вопрос мне Наденька ответила вопросом: — А зачем вы пошли? От скуки? Поразвлекься? Ведь так же, сознайтесь?

Да, я понял: для меня сенокос был забавой, для них — утомительным трудом.

В другой раз мы потерпели фиаско вместе с Наденькой.

В клубе центральной усадьбы Наденька организовала встречу с колхозниками. Я читал новый рассказ и потел от страха: в переполненном зале была гробовая тишина. Потом они мне дружно похлопали и дружно разошлись.

Вот какое было ко мне в Апалёве отношение. Впрочем, я к нему скоро привык и беспечно проживал день за днем. Наденька не забывала меня и время от времени придумывала какую-нибудь заботу: то очередной творческий вечер в бригаде, то беседу на заданную тему или просто встречу с местной знаменитостью.

Так она познакомила меня с девяностолетним охотником-медвежатником. Медвежатник позеленел от старости и походил на изжеванный окурок, в котором табаку осталось всего лишь на полторы затяжки. Говорил он мало, непонятно и одно и то же:

— Самое верное на медведя — нож и рогатина. Рогатиной медведя припрешь, ножом пырнешь. Он зараз и окочурится.

У старика не было ни одного зуба, и, когда он закрывал рот, нижняя челюсть так далеко заходила на верхнюю, что лицо уменьшалось вдвое, а нос свисал ниже подбородка.

У Наденьки и без меня было хлопот, по выражению Ирины Васильевны, больше, чем у собаки блох. Трудно

сказать, какие права были у Наденьки. Зато обязанностей хоть отбавляй. Она обязана была заседать, организовывать, разъяснять, критиковать, убеждать и даже страдать. И все-то ее интересовало, все она делала вдохновенно, и на все у нее хватало времени. Единственно, на кого не обращала внимания Наденька, так это на себя. Одевалась небрежно: платья на ней болтались, туфли вечно были с обшарпанными носками и стоптанными каблуками, зеленый выцветший берет, казалось, навсегда прилип к ее черным прямым волосам. Парни старались ее не замечать, старые подруги повыходили замуж, новые нередко посмеивались над ней, за глаза называли халдой. Наденька на это не обижалась и беззаботно махала рукой, как бы говоря: «Как бы обо мне ни судачили, теперь уже не имеет никакого значения». Она была уверена, что личное счастье прошло мимо.

Шофера Околошеева в колхозе все звали просто Около. Ему было лет тридцать. Рослый, плотный, с широким добрым лицом и ленивыми движениями, Около казался увальнем. Был он неглупый, наделен силицей, но пользовался ею с неохотой, водку пил редко, а если пил, то перепивал всех и не хмелел. Вдовы, встречая Около, кусали губы, замужние — только поглядывали, да и то украдкой, девочки открыто побаивались. Он же относился к ним с благодушным презрением: сам не навязывался, но и не отказывался. В колхозе Около появился внезапно: приехал из города картошку копать, да так и остался. Жил он легко и свободно, как птица кукушка. Обычно снимал у кого-нибудь угол, но подолгу на одном месте не засиживался. Таким образом, переходя из дома в дом, Около обошел все села колхоза и наконец обосновался в Апалёве. При мне он несколько раз заходил к Кольцовым.

Войдя в избу, Около снимал шапку, садился и молчал. Если была дома Наденька — она тоже молчала или брала книгу. Их молчаливую компанию охотно разделял Алексей Федорович. Намолчавшись вволю, Около заводил разговор с Алексеем Федоровичем.

— Что же ты сидишь, дедушка? — спрашивал Около.

— Устал, наверное, — отвечал Алексей Федорович.

— С чего же ты устал?

— Работал.

— А что ты делал?

— Ригу, небось, топил.

— Ригу топил? — удивленно переспрашивал Около, а потом долго и раскатисто хохотал. Последний раз Алексей Федорович топил ригу лет пятнадцать назад.

— Алексей Федорович,— продолжал Около,— ты знаешь, кто я такой?

Старик долго и внимательно смотрел парню в рот и пожимал плечами:

— Человек, наверно. Вон, вишь, голова... руки с ногами...

— Я землемер. Приехал землей вас наделять.

Около умышленно наступал старику на мозоль. Земельный вопрос был самым большим вопросом в его жизни. И по характеру, и по замашкам Алексей Федорович родился барином. Его заветной мечтой было иметь много-много земли, но не обрабатывать ее, а сдавать исполу.

Алексей Федорович оживлялся, дергал бороденку и робко спрашивал:

— Как же ты ее делить-то будешь? По душам аль по едокам?

— Делить будем по-новому,— авторитетно заявлял Около.— Кто сколько за день обежит полей и лесов, тот все и получит. Вставай завтра с утра пораньше и вкалывай.

— Вкалывай! — Алексей Федорович поднимал маленький сухонький кулачок.— Ишь как ведь распорядился! Кто сколько обежит! У соседа Никиты ноги как жерди, нешто мне за ним угнаться. Мазурик ты, а не землемер!..

Разговор обычно прерывался вмешательством Ирины Васильевны.

— Около, хватит мне старика травить,— решительно заявляла она.

Около замолкал и, посидев еще с полчаса, уходил. А Ирина Васильевна принималась пилить Наденьку:

— К кому он ходит?

— Не знаю. К тебе, наверно, бабушка,— равнодушно отвечала Наденька.

Ирина Васильевна взрывалась и сердито выкрикивала:

— Мешок, а не парень. На что только бабы глаза пялят. Одер непутный. Ты у меня смотри,— грозила она пальцем.— Вот умру, а там делай что хошь...

Наденька вскакивала:

— А я-то тут при чем? Ходит, ну и пусть ходит. Не гнать же. А мне-то совершенно безразлично, да-да,

безразлично... безразлично,— крикливо доказывала Наденька и густо краснела.

В конце июля зачастили бурные грозовые дожди. Итомля вспухла, вышла из берегов.

В тот день в Апалёве должна была демонстрироваться новая картина. Наденька с утра ушла в соседнюю бригаду за кинолентой. К обеду она вернулась, но в каком виде! Берета на голове не было, волосы во все стороны торчали мокрыми хвостиками, с юбки ручьями стекала вода. Наденька села, обхватила руками голову и закачалась из стороны в сторону, потом замерла, уставясь в угол, и глухим сильным голосом сказала:

— Я утопила картину.

Дело было так. Машина довезла Наденьку до Итомли и повернула обратно. Наденька решила перейти реку по лавам. Вода неслась выше лав, и над рекой торчали одни лишь перила. С тяжелым мешком на спине ощупью пробиралась она по скользким бревнам. Напор воды был сильный, и Наденьке все время приходилось наваливаться на перила. Перила не выдержали и рухнули. Рухнула и Наденька с мешком.

— Я долго боролась, из сил выбилась. Течение очень быстрое, а мешок с коробками тяжелый. Он все время тянул меня на дно. Если б я его не бросила, то утонула,— сквозь слезы рассказывала мне Наденька.

Время было обеденное, и вытаскивать мешок собралось все Апалёво. Парни, ребята ныряли. Мужики пытались с берега обшарить дно баграми. Но, поняв бесцельность своей затеи, бросили и стали с любопытством наблюдать за Аркашкой Молотковым. Он старался не за страх, а за совесть. Казалось, наконец-то парень нашел в колхозе работенку по душе. Бахвалясь удалью, Аркадий нырял и плавал, как тюлень.

— Есть, нащупал, Надька, готовь шкета! — заорал Аркадий.

— Литр... Литр поставлю, Аркашенька,— радостно заверила Наденька.

Аркадий вскарабкался на лавы, раскачался и, взглянув ногами, как утюг пошел на дно. Через полминуты из воды пробкой выскочила рыжая Аркашкина голова и, как горох, посыпались хлесткие матюки. Аркадий вылез на берег и бросил пустой мешок.

— Высыпались, гады,— мрачно сказал он.

— Что же ты наделал, подлец! — прошептала Наденька и заплакала.

Колхозники тесным кольцом обступили их и хмуро смотрели на Аркадия. А он лихорадочно дрожал и беспокойно оглядывался.

— Доигрался, сукин сын,— сказал кто-то.

— А я виноват?! — закричал Аркадий визгливым тонким голосом и набросился на Наденьку: — Сама виновата! Ты почему не сказала, что мешок не завязан? А? Почему, почему?

— Я забыла, совсем забыла,— испуганно пролепетала Наденька.

Издали послышался голос Около:

— Эй вы, чего там ловите?

— Кино! — хором закричали ребяташки.

— Какое кино? Давай его сюда,— подходя, балагурил Около и с хрустом жевал яблоко. А когда узнал, в чем дело, пристально посмотрел на Наденьку и покачал головой, потом повернулся к Аркадию: — А ну, топай отселева, тля навозная!..

Аркадий сгреб в охапку штаны с рубахой и уныло поплелся от берега.

— Стой! — закричал Около.— Иди сюда.

Аркадий покорно вернулся.

— Будешь вытаскивать, пока не потонешь. Понял?

Аркадий кивнул головой и полез в воду.

Около быстро разделся и, оставшись в одних трусах, с хрустом потянулся. Его молодое упругое тело, с крепкими, как веревки, мышцами, сбрасывая лень и вялость, вздрагивало, как у породистого рысака. Разбитная вдова Шутова, не спуская глаз с Около, что-то шептала бабам. Те, сдерживая хохот, прыскали в кулаки. Наденька, отвернувшись, понуро рассматривала свои большие, заляпаные грязью ступни.

Далеко выбрасывая перед собой руки, Около выплыл на середину Итомли. Сильным невидимым толчком подбросил над водой тело и, вскинув вверх ноги, винтом пошел на дно. На берегу притихли и ждали. Томительно долго тянулась минута. Люди беспокойно переглядывались. Наденька нервно крутила пуговицу. Но вот над мутной, глинистой водой показался белый край железной коробки, а за ней рука Около. Ребяташки закричали «ура». Наденька радостно подпрыгнула и оторвала пуговицу. Аркадий громко и злобно выругался. Ему не везло.

За первой коробкой Около вытащил вторую, затем третью. Нырнул он редко, но успешно и после каждого нырка подолгу отдыхал, набирался сил. Аркадий же,

наоборот, нырял часто и бестолково. Около выловил шесть коробок. Аркадий лишь одну. Оставалось еще две. Поиски этих двух коробок затянулись до вечера. Колхозники давно уже разошлись. На берегу остались одни ребяташки да я с Наденькой:

Восьмую коробку посчастливилось вытащить Аркадию. На него было страшно смотреть. Он весь посинел, голова с разинутым ртом дергалась как на шарнирах. Аркадий вылез на берег, упал и не смог подняться.

— Отправляйся домой,— сказал ему Около.

Он тоже выдыхался: лицо исказила судорога, глаза потускнели, налились кровью. Мы с Наденькой попытались его отговорить. Но Около не сдавался.

— Еще раз, еще раз,— говорил он и, весь дрожа, бросался в воду.

Садилось солнце, когда Около, уцепившись за лавы, крикнул сильным голосом:

— Есть, держу! Дайте дух перевести.

Около с трудом вылез на берег, осторожно положил к ногам Наденьки круглую коробку и рухнул на землю, обхватив ладонями голову.

— Фу как ломит, спасу нет,— пробормотал он.

Наденька подняла с земли рубашку и накрыла сутулую спину Около, потом кинула на меня быстрый холодный взгляд, нахмурилась и прошептала:

— Спасибо, Около.

Он даже не пошевелился, только сильнее стиснул ладонями голову.

С утра я помогал Наденьке сушить киноленту. Коробки сильно подмокли, и мы провозились весь день.

Вечером состоялась премьера «утопленницы». Картина оказалась настолько плохой, что и самые невзыскательные апалёвские зрители в один голос заявили: «Уж лучше б ее и не вытаскивать».

После кино были танцы. Начались они вяло и скучно. Наденька была расстроена, ей хотелось домой, но дополнительная нагрузка завклубом обязывала ее остаться. Она машинально ставила пластинку за пластинкой, что попадет под руку, и вдруг в тесном бревенчатом клубе неожиданно зазвенела колокольчиком шопеновская соната. Кто-то из парней запротестовал, его поддерживали девчата, но глухой утробный бас Около перекрыл всех:

— Молчать и слушать...

Около сидел в простенке меж окон, упираясь локтями в колени и по-бычьему согнув шею. Слушал ли он или

просто позировал, но только он не шевелился и тупо смотрел в пол. Наденька слушала полузакрыв глаза. Она в эту минуту была на редкость обаятельна: серая широкая юбка и белая легкая кофточка скрадывали ее худобу, по усталому и плосковатому лицу словно лился мягкий, теплый свет, и оно было печально-кротким. Зал внезапно зашевелился, закашлял. Лицо у Наденьки мгновенно потухло, вытянулось. Я оглянулся. В дверях стояла незнакомая девушка, кокетливо отставив в сторону ножку и покачиваясь. Желтая кофточка с черными полосами туго стягивала грудь. Короткая юбка висела над ее коленями парашютом.

Радиола продолжала играть. Нежная, прозрачная и неутешно-печальная музыка рассказывала о чем-то неповторимо прекрасном, безвозвратно ушедшем. А все смотрели на незнакомку, и Около, и Наденька тоже. Девушка, ничуть не смущаясь, прошла в передний угол, села, разбросав по скамейке юбку, вынула зеркальце и подкрасила губки.

Наденька поставила затертую, как подошва у старой галоши, пластинку. С шипением и скрипом завывала радиола. Лениво, как бы нехотя, поднялся Около, подошел к девушке и взял ее за руку. Она гневно вскинула на него глаза и попыталась вырвать руку. Около слегка потянул девушку, и она покорно повисла у него на шее.

Танцевал Около легко и плавно. На все танцы подряд он выбирал только девушку в полосатой кофте. Наденька завела дамский вальс. Девчата бросились нарасхват приглашать Около. Но он всем отказал и уныло просидел весь танец.

В клуб ввалился пьяный Аркадий Молотков. Размахивая кулаками, разогнал всех по углам, сел на пол, вынул из кармана губную гармошку и визгливо заиграл «Семеновну». Около некоторое время благодушно наблюдал за ним, потом пятерней сгреб Аркадия за волосы и потащил на улицу. По крутым ступенькам крыльца Аркадий покатился колесом, выбивая головой и пятками дробную чечетку. Во время суматохи Наденька исчезла.

Гулянка продолжалась. Около танцевал беспрерывно, и все с незнакомкой...

Я уже собирался уходить, когда вбежала Наденька. Лицо у нее от возбуждения покрылось красными пятнами, глаза лихорадочно горели. Черное бархатное платье с глубоким вырезом болталось на ее нескладной фигуре, как на шесте. На голове лепилась широченная соломенная шляпа с обвислыми полями. Размашисто вихляясь,

Наденька обошла зал клуба и села, закинув ногу за ногу, потом вскочила, подбежала к радиоле и поставила дамское танго. Меня охватил стыд, словно я сделал какую-то гадость... и я быстро вышел.

Все проходит

Проходит лето. Последние августовские дни жаркие, пыльные; ночи — темные, душные. Но осень уже осторожно подкрадывается.

В низинных лугах туманы висят до полудня. По бурым сжатым полям ползают тракторы, а за ними, выскивая червей, стаями бродят грачи. Черные леса с голубыми прогалинами стоят молчаливые и грустные. Птицы уже не поют, лишь изредка пересвистываются или тревожно вскрикивают. Ольха сворачивает листья в cigarку; зеленые подолы молодых берез опоясывает желтая кайма. Акация под нашим окном сморщилась, наполовину осыпалась и торчит, как обшарпанный веник. Ирина Васильевна все чаще и чаще жалуется на ломоту в ногах и пояснице. По вечерам она заваривает огромную бочку сосновой хвои с муравьями и подолгу сидит в ней.

Мы с Алексеем Федоровичем ходим в лес разорять муравейники. Ходить с ним одна морока. Но Ирина Васильевна настойчиво каждый раз навязывает мне старика «порастрястись». До леса и версты не будет. С лопатой и мешком за плечами мы топаем по укатанной мягкой дорожке. Алексей Федорович шаркает резиновыми подошвами сандалий, а за ним тянется длинный хвост пыли.

— Что же ты ног не поднимаешь, Алексей Федорович?

— Чтоб не упасть,— отвечает он и широко улыбается.

В лесу тихо, грустно и отрадно... Пахнет грибами; малиной и прелью. Под старой, затекшей смолой елью находим муравейник. Муравьи, чуя беду, беспокойно суетятся. Один уже успел забраться Алексею Федоровичу за воротник и больно укусить.

— Вот ведь мелкая букаха. А тоже так и норovit зло сорвать,— философствует Алексей Федорович, разглядывая пойманного муравья.

Разворачиваю лопатой кучу, в нос ударяет резкий, кисловатый запах муравьиного спирта. Алексей Федоро-

вич возмущенно ругается. Мне каждый раз приходится объяснять старику, что муравейник необходим для лечения ног его «бабы», Ирины Васильевны. Ссыпав муравейник в мешок, идем обратно.

В тот день я решил отправить Алексея Федоровича с мешком одного. Вывел его на дорогу, а сам пошел на кладбище. Оно находилось в стороне, на пригорке, в круглой березовой роще. Давно я собирался туда сходить, но все откладывал со дня на день.

Я люблю сельские кладбища за их запущенность и легкую грусть. Их редко посещают. Мимоходом колхозница завернет, тихо поплачет над родной могилкой, потом вытрет слезы, облегченно вздохнет и пойдет по своим делам. Мужчины вообще сюда не ходят. Зато для ребятешек кладбище — веселый уголок: здесь они играют в прятки, гонят из берез «соковку», собирают землянику и грибы. Апалёвское кладбище не было исключением. С одной стороны к нему примыкало засеянное льном поле, с другой — заливной луг Итомли. Могилы разбросаны как попало, большинство без оград и без крестов.

Я сел на плоский камень и задумался. Сквозь высокие заросли иван-чая мне видно поле. Трактор таскает теребилку, а за ним желтым половиком стелется лен. Колхозницы, высоко подоткнув юбки, подхватывают лен и вяжут в тугие снопы. Они приближаются к кладбищу и, дойдя до конца поля, садятся на меже, шагах в пяти от меня, и заводят свой интимный женский разговор.

— Ой, Ритка, — охает высокая, мосластая женщина, — опять тяжела! Что это ты зарядила кажинный год?

— Уж больно мне эта работа по душе пришлась, тетка Марья, — весело отвечает полная красивая молодуха.

Бабы дружно хохочут и несут такое — уши вянут. А встать и уйти неловко. Увидят — осрамят на весь колхоз.

— Что это наша невеста притихла? Ленка, ты чего это надулась как пузырь?

— А ну вас в рай, — отмахивается Ленка, известная в Апалёве как самая строгая вдова.

— Ты расскажи нам, как жених от тебя на второй день сбежал, — продолжает приставать Марья. У нее страсть — завести человека, а потом со стороны наблюдать и злорадно усмехаться. И нет ничего проще, как завести Ленку: с пол-оборота заводится.

Ленка злобно сдвигает острые, как ножи, брови и цедит сквозь зубы:

— Дура мослатая... Не ушел — сама выгнала. И не на второй день, а в ту же ночь.

— Да ну! — вскрикивает Милка Шутова, острая на язык срамница. — Аль никудышный оказался?

— А на что мне мужик несамостоятельный, пьяница, — мрачно отвечает Ленка.

— А вот я знаю новую байку. И не придумашешь такой, — вкрадчиво проговорила Марья и хихикнула.

Бабы тесно окружили ее.

— Только молчать, — предупредила Марья и что-то прошептала.

Бабы наперебой закричали:

— Надьку Кольцову?!

— Около?!

— Чушь городишь, Марья!

— Обстругал, бабоньки, вот крест, обстругал. — Марья перекрестилась. — Вчерась вечером в сарае. А накрыла их Зинка Рябова. Ох уж и ругались они...

— Надо же подумать. А какую из себя недотрогу, скромницу корчила, — возмутилась Ленка.

— Не верю я тебе, Марья. Всем известно, не язык у тебя, а помело поганое, — спокойно сказала густобровая, с белым дородным лицом колхозница. Она сидела в стороне и не принимала участия в разговоре.

Словно подхлестнутая, вскочила Милка:

— И я не верю. Кому нужна эта пресная вобла?

— А ты чем лучше, шлюха бесстыжая, — злобно выдавила Ленка.

Милку так и подбросило:

— Да неужто хуже?! — Она, как молодая кобылица, изогнулась и вызывающе топнула ногой.

Выходка Милки взорвала баб. Они гуртом набросились на нее и принялись отчитывать на все лады. Милка, не ожидавшая столь дружного напора, растерялась, сникла и тихо заплакала.

— Ты не вой, а скажи, ненасытная, почему ни одного мужика не пропустишь? — размахивая кулаками, наступала на нее Ленка.

— Да бесхарактерная я, бабоньки, — с отчаянной решимостью заявила Милка и заревела дурным голосом.

Бабы брезгливо посмотрели на нее, плюнули и пошли вязать снопы.

Я возвращался домой, и настроение у меня было скверное. Проходя огородами, увидел Ирину Васильев-

ну. Она с большой корзиной из ивовых прутьев ползала между грядками и собирала огурцы.

Когда я открыл дверь в избу, услышал громкий и сердитый голос Наденьки:

— Дура ты, Зинка! Какая ты набитая дура!

Я хлопнул дверью — голос Наденьки смолк. Алексей Федорович сидел на кухне за столом и посасывал из носика заварника холодный спитой чай. Увидев меня, он смущенно отставил заварник в сторону, вытер усы и спросил:

— Где же баба моя? Целый день сижу, а ее все нет.

Я постучал по дощатой перегородке.

— Войдите, — ответила Наденька.

Она стояла у стеллажа и перебирала книги: вытащит книжку, посмотрит и опять поставит на место. На диване сидела Зина Рябова. Как они не походили друг на друга! Если природа сшила Наденьку наспех, резко и угловато, то над Зиной она любовно потрудились, придав ее формам легкость и плавность. Голова у Зины была кудрявая, щеки полные, губы пухлые и сочные. Ее круглые, с большими чистыми белками глаза никуда не звали, ничего не просили, не раздражались, не восхищались — смотрели, да и только.

Как-то Зина, придя к Кольцовым и не застав Наденьки дома, поднялась ко мне в мезонин. Я писал. Зина поздоровалась и без приглашения подседа ко мне. Положив на кромку стола упругие, как мячи, груди и подпирая кулачком подбородок, спросила:

— И не скучно вам?

Я искоса взглянул на ее припухшие маслянистые губы и подумал: «Наверное, жирные блины ела».

— Не знаю, куда с тоски деваться, — пожаловалась Зина и зевнула. — А я не смогла б работать писателем.

— Почему?

— Да так... Не знаю... — Она виновато улыбнулась и покосилась на кровать, на перевитые в жгут простыни, на скомканное одеяло.

— Давайте я лучше вам кровать застелю.

— Не надо...

Зина усмехнулась, лениво встала, пошла к выходу, оглянулась и нехотя закрыла за собой дверь. Я хорошо знал мужа Зины, механика колхоза, очень строгого, очень правильного и очень скучного человека...

Наденька продолжала перебирать книги, Зина внимательно разглядывала ногти. Они были явно смущены.

Наденька вытащила томик Бунина, полистала и подала Зине:

— На, почитай.

Зина молча взяла книгу и поспешно вышла.

Невольно подслушанный разговор колхозниц, странное поведение девушек возбудили у меня любопытство. Но заводить разговор на эту тему было крайне неудобно. Наденька, по-видимому, вовсе ни о чем не хотела разговаривать: выбежала на кухню, разыскала тряпку и принялась усердно наводить в доме чистоту.

За окном раздался голос Ирины Васильевны:

— Путешественники, где мешок-то с муравьями?

Поиски мешка были долгими. На все вопросы Алексея Федорович отвечал:

— Положил куда-то...

У него была страсть все, что лежит под рукой, прибирать и прятать, по пословице: «Подальше положишь — поближе возьмешь». А спрятав вещь, старик тотчас же о ней забывал. Был случай, когда Алексей Федорович прибрал мой фотоаппарат. Ирина Васильевна неделю потратила на поиски и случайно обнаружила фотоаппарат на печке, в голенище старого валенка.

Мешок с муравьями отыскался в хлеву под кучей соломы.

Поговорить с Наденькой мне так и не удалось в тот день, а утром она уехала в район. Грязная сплетня переметнулась через Итомлю и поползла по колхозу. Судачили и перемывали кости Наденьке во всех бригадах, в каждой семье и только молчали в доме Кольцовых. Ирина Васильевна хмурилась, поглядывала исподлобья. Наденька тоже переживала, хотя делала вид, будто ее ничто не касается, но резкая нервозность и острая подозрительность выдавали ее с головой.

Около больше не появлялся в доме Кольцовых. Он был по-прежнему весел и беспечен. Его чувства к незнакомке, внезапно вспыхнув, мгновенно сгорели. Девушка в полосатой кофте оказалась племянницей апалёвского бригадира. Приехав к дядюшке провести отпуск, она недельку поскучала в деревне и укатила обратно в город. Ее отъезда даже не заметили. Все мысли и разговоры вертелись вокруг Наденьки. Одни поносили ее, другие — Около, нашлись и такие, что открыто осуждали Зину Рябову: не к лицу, мол, замужней женщине заглядывать под чужие подола.

Прошла неделя-другая, и сплетня постепенно стала меркнуть. С Около все сошло как с гуся вода. Авторитет

Наденьки был навсегда подорван. Кличку «халда» заменила новая — «обструганная вековуха». И это dokonало Наденьку. Она повяла: лицо совсем осунулось, подбородок заострился, губы беспрерывно дрожали. Острая на язык, решительная до дерзости, Наденька превратилась в боязливую ходячую тень. Открутив картину, украдкой бежала домой и запиралась в своей комнате.

Ирина Васильевна болезненно переживала все это: она внезапно как-то вся обмякла, ее гордую властность сменила робкая угодливость, в острых, насмешливых глазах появилась слезливая жалость. Словно глаза просили и умоляли: «Ну простите же ее. Мало ли что в жизни случается. Зачем же вы так жестоки».

В один из вечеров, когда Наденька, свободная от работы, сидела запершись в своей комнате, а мы с Ириной Васильевной перебирали крыжовник на варенье, вошел Около. Подпирая головой притолоку двери, он остановился на пороге, пригладил ладонью волосы и, уставясь на запыленные носки сапог, буркнул:

— Здрасьте...

Ирина Васильевна ничего не ответила и, схватив из решета горсть крыжовника, стала торопливо бросать ягоду за ягодой в плоское эмалированное блюдо. Лицо Около — мрачное, усталое, с черным пятном мазута у виска — болезненно перекошилось.

— А Надежда Михайловна дома? — спросил Около и переступил с ноги на ногу.

Рука у Ирины Васильевны задрожала, крыжовник посыпался на пол.

— Извините, коли так. — Около тяжело вздохнул, наглобучил до ушей кепку и толкнул дверь.

Ирина Васильевна вскочила:

— Да куда же ты... погоди... экий нетерпеливый. — Она беспомощно оглянулась на меня и потянула Около за рукав: — Дома она, дома...

Около прошел боком мимо Ирины Васильевны в комнату Наденьки. Старушка плотно закрыла за ним дверь, нагнулась ко мне и прошептала:

— А ты иди к себе в мезонин. И я уйду. Пусть они поговорят. Их дело. Бог даст, и уладят. Иди, иди в мезонин-то.

Корявая, медноликая луна тускло и холодно освещала мою тесную каморку. Я подвинул стул к окну и, опершись подбородком на подоконник, прижался к стеклу лбом. На улице царствовала чуткая тишина. Только циркал сверчок, да нудно верещала в объятиях паука

муха. Донесся гулкий отрывистый выхлоп движка, на секунду движок смолк, потом сухо закашлял и, откашлявшись, ворчливо зарокотал и застукал.

Хлопнула калитка, под окнами зашаркали грузные шаги Около. На меня напало странное забытье. Мне урывками снились то Наденька, то Около, то Ирина Васильевна, то все вместе; и тут же стоял Алексей Федорович, улыбался ласково, снисходительно, как будто жалел всех и понимал больше всех, что все это досадные, глупые мелочи, которые постоянно раздражают нас и мешают жить. Когда я очнулся, то понял, что не спал, а думал долго, упорно и беспорядочно об этих людях.

Рассветало. Над землей висело ясное, чистое небо, и над болотом одиноко, как свеча, догорала Венера. Внизу лежала густая ночная тень. И на нее из окна Наденькиной комнаты падало желтое плоское пятно света.

В полдень почтальон принес газеты и открытку из районного комитета комсомола. Ирина Васильевна долго вертела в руках открытку, близоруко рассматривала и бормотала:

— Вызывают. Зачем же это ее вызывают? Стало быть, надо, коль вызывают,— и сунула открытку под картонку отрывного календаря.

Через день поздно вечером ко мне в мезонин постучалась Наденька. Вошла она решительно, без тени смущения:

— У меня к вам просьба. Дайте слово, что выполните.

— Не знаю.

— Она вам по плечу. Даете слово?

— Бери.

— Подготовьте и прочтите лекцию в клубе центральной усадьбы колхоза на тему... — Она на минуту замаялась и быстро договорила: — О любви и дружбе.

— Что?! — воскликнул я.

— О любви и дружбе, — повторила она. — А что вас смущает?

Не выдержав ее острого, пристального взгляда, я отвернулся.

— Значит, договорились?

— Что делать, — вздохнул я.

— Бай-бай. — Она насмешливо помахала мне рукой и вышла. «Да, здорово тебя там, голубушка, накачали», — подумал я.

К лекции я готовился добросовестно, как никогда. И в то же время меня не покидала тревога за исход ее.

Слишком свежи еще были в памяти недавние апалёвские события.

На лекцию пришла не только молодежь, но и пожилые, и даже старухи. Столь необычно повышенный интерес к рядовой лекции был не случаен. Все они явились открыто судить Наденьку. В зале клуба находился муж ее подруги, Леонтий Романыч Рябов. От одного присутствия этого прямого до тупости и непогрешимого до глупости человека веяло холодом. Он больше всех был возмущен поступком Наденьки и поклялся огнем выжечь в колхозе распутство.

Скучным, чужим голосом Наденька изложила причины, вызвавшие лекцию.

— Так, так, правильно. Давно пора,— сказал кто-то в зале, и посыпались ехидные смешки.

Наденька гордо вскинула голову, переждала смех, спокойно сошла с трибуны и села на подоконник, скрестив на груди руки.

...Лекция кончилась, никто не встал и не вышел. Все продолжали сидеть и чего-то ждать. Тишина стояла гнетущая, только пощелкивали семечки.

— Позвольте мне сказать пару слов.— Леонтий встал, одернул пиджак.— Можно?

— Леонтий, не надо,— схватила его за рукав Зина.— Слышишь, не надо...

Леонтий отмахнулся от жены, как от мухи, и стал пробираться между рядами. У Наденьки презрительно сузились глаза.

Леонтий поднялся на сцену, но на трибуну не вошел, а встал рядом. Поджарый, темноволосый, с бугристым лбом и волевым подбородком, Леонтий слыл в колхозе как беспощадный говорун. Под любой случай он умел подвести «принципиальный» тезис. Его боялись все: и председатель, и секретарь парторганизации. Он усиленно лез в начальство. Колхозники его терпеть не могли и злорадно говорили: «Бодливой корове бог рог не дает».

Леонтий взъерошил волосы и выкинул руку:

— Товарищи, поблагодарим докладчика за теплый, идейный, содержательный доклад.— Он повернулся ко мне, поклонился и накрыл ладонью ладонь.

Громко и сухо захлопали в зале.

— Признавая глубокую эрудицию уважаемого нами товарища,— продолжал Леонтий,— нельзя не отметить и существенный пробел в докладе.— Сделав упор на слове «пробел», Леонтий широко развел руки:— До-

клад сделан вообще, в отрыве от жизни, не увязан с событиями последних дней, с людьми той аудитории, для которой он предназначен. Я не упрекаю докладчика,— Леонтий, широко улыбаясь, еще раз поклонился мне,— я только попытаюсь восполнить этот пробел.

Леонтий круто повернулся, взошел на трибуну, вынул из кармана пачку листов и положил перед собой.

Долго и утомительно читал он их. В зале щелкали семечки, хихикали. Около, зажав в кулак папиросу, курил, выпуская в рукав дым. Наденька смотрела в окно. Высокая, тонкая, как спица, труба колхозной водокачки охапками выбрасывала черный дым. Дым расплзался по небу, мутнел, лохматился и таял, и вместе с ним мутнел и таял голос Леонтия.

Гулко, как камень, упали в зал слова: «Надежда Кольцова». Леонтий выждал и мягким, вкрадчивым голосом продолжал:

— Кольцова — наша старейшая комсомолка, активная, в партию готовится вступить. А как она своим личным примером воспитывает молодежь? — Он опять выждал и резко ответил на свой вопрос: — Аморально... разлагающе.

— Кольцову не задевай,— грубо перебил его Около.

Леонтий поморщился:

— Товарищ Околошеев, не беспокойтесь. О вас я тоже скажу.

— А я не беспокоюсь. Только Кольцову не трожь. Слышишь, Рябов, не трожь. А то плохо будет,— с угрозой повторил Около.

Лицо у Леонтия окаменело. Он надменно поднял голову и выставил резко очерченный подбородок:

— Вы думаете, что говорите, Околошеев?

— Раньше не думал, а теперь решил...— ответил Около и, сильно ссутулясь, пошел к сцене.

Наденька вспыхнула, вскочила с подоконника, хотела что-то сказать и не смогла: горло перехватили слезы, и она, закрыв руками лицо, опять села на подоконник.

Около встал напротив трибуны и, сумрачно глядя в надменное лицо Леонтия, спросил:

— Ты думаешь, что в том сарае со мной была Кольцова? Ошибаешься, не она. А знаешь кто? Нагнись, я пошепчу на ушко.— Около поманил пальцем.

Леонтий невольно нагнулся, но тотчас же гордо выпрямился и процедил сквозь зубы:

— Хватит комедию ломать. Здесь не цирк.

Около повернулся лицом к народу и, указывая большим пальцем через плечо на Леонтия, насмешливо сказал:

— А был я в сарае с женой этого оратора.

Все онемели от удивления. Первым опомнился Аркадий Молотков:

— Вот так дуля! Нокаут, Леонтий! Считаю до десяти.

— Ложь! — завопил Леонтий, поднял кулаки и с грохотом опустил их на трибуну. — Ложь!

И в тот же миг вскочила Зина, крича и ругаясь, замахала руками:

— Остолоп переученный, пень большеротый! Как я тебя просила не выступать! Что же ты наделал, граммофон бездушный! — Она зарыдала, упала на стул и забилась, как подбитая птица.

Зал грохнул от хохота. Леонтий все еще стоял на трибуне, перебирая листки, мял их и машинально прятал в карман. Наденька сидела какая-то обмякшая, но глаза у нее лучились, и трудно было понять от чего — от слез или радости.

Незаметно легла на землю мягкая северная ночь. Было темно, когда мы возвращались домой. Наденька всю дорогу сокрушалась:

— Зачем он сказал! Зачем он сказал...

Мне это надоело, и я прикрикнул на нее:

— Не ной! Правильно сделал, что сказал.

Наденька заступила мне дорогу, схватила за лацканы пиджака и принялась трясти:

— Правильно, правильно... Да что вы понимаете? Он же разбил семью.

— Помирятся.

— Думаешь, помирятся?

— А почему бы им не помириться?

— Если б они помирились!

— Любят — помирятся.

— Никого Зинка не любит и не любила.

— Зачем же она за него вышла?

— Годы. За кого-то выходить надо, — со вздохом ответила Наденька и поправила волосы. — А какую свадьбу мы справили им! Сколько я сил потратила! Зато свадьба была так свадьба, такой в жизни не видели в Апалёве. — Наденька опять вцепилась в мои лацканы. — А вдруг они не помирятся? Это же позор, удар по комсомольской организации, по мне. Я же больше всех старалась.

— Да помирятся они. Все в жизни проходит.

Она засмеялась:

— Вы — как бабушка: «Все проходит, внученька. Три ближе к носу, и все пройдет».

В лицо дохнуло сыростью. Мы подходили к Итомле. Вода в реке стояла неподвижно, как в болоте. На той стороне реки лежало черное пустынное поле. Наденька опустила на сухую, жесткую траву.

— Наверное, будет дождь.

— Вряд ли. Небо чистое.

— Зато росы нет.— Наденька туго натянула на колени юбку и поежилась.— А почему бы им не помириться. Ведь ничего у них не было.

— Как не было?

— Смешного много, серьезного — ни на грош.

— Ну а что же было? — спросил я.

Она засмеялась и махнула рукой:

— Ладно, расскажу... Зинка хоть мне и подруга, а до того неумная дура, что поискать. Она давно на Около пялила свои белобрысые зенки. Ну вот и допялилась. Проучил ее Около что надо, с перцем.— И Наденька громко захохотала.— А получилось так. Я в тот вечер опаздывала на картину в малинниковскую бригаду. По дороге до Малинников километров пять. А напрямик через Итомлю и трех не будет. Выскочила я из дому и — напрямик по полю. Бегу мимо сарая и слышу: кто-то храпит и взвизгивает, словно его душат. Меня так всю и затрясло. Страшно, но все-таки решилась. Подкралась к сараю, глянула в щель и... обалдела. Около перекинул Зинку через колено, одной рукой зажал рот, а другой нахлестывает по одному месту и приговаривает: «Не жадничай — муж есть, не жадничай — муж есть».

Я настезь распахнула дверь и говорю: «Что вы тут делаете?»

Около выпустил Зинку, повернулся ко мне и ухмыляется во весь рот: «Замужнюю молодежь воспитываю».

А Зинка, подлая, одернула подол и на меня — как кошка лезет в волосы. Едва ее оттащил Около. Уж как она меня только не поносила. Выскочила я из сарая и до самых Малинников бежала без передышки. Вот как она меня отчитала. А потом умоляла никому не рассказывать.

Я усмехнулся и покачал головой:

— И эту чужую грязь ты решилась носить?

— Ну и что... Грязь не сало, потряс — отстало.— Наденька вскочила, потянулась, хрустя суставами, и меч-

тательно проговорила: — Все проходит! Лишь бы они помирились...

Серым печальным утром я покинул Апалёво. Ночью прошел дождь, и дорога была сплошь усыпана мелкими мутными лужами. Около вел машину. Мы с Наденькой тряслись в кузове. В лицо дул прохладный липкий ветер. По сторонам ползли раскисшие поля бурой зяби, зеленой озими и молодого клевера. Наденька зябко ежилась под холодным резиновым плащом. Я настойчиво упрасивал ее пересесть в кабину, но она робко улыбалась из-под капюшона, отрицательно качала головой.

Машина покатила по обочине низкого заболоченного луга. Он весь был изрыт ямами, завален черными торфяными кучками. Экскаватор, вытянув длинную тонкую шею, выхлебывал из ям жидкий торф. Он то с лязгом опускал изжеванные стальные челюсти, то поднимал их, и тогда из огромного белозубого рта вываливалась непрожеванная черная каша, а по губам, как у неопрятного старика, стекала маслянистая жижа.

Желтым пятном проглянуло солнце. Серый занавес тумана закачался, натянулся, как резина, не выдержав, лопнул, разлетелся на куски и, клубясь, пополз от солнца в разные стороны. Наденька сбросила на спину капюшон и протянула навстречу солнцу руки:

— Смотрите, красиво-то, как весной!

Терпеть не могу людей, вслух восхищающихся красотами природы и требующих этого восхищения от других. «Какая березка, что за прелесть, вы только полюбуйте, — восклицает разомлевшая дачница. — Да не та же, а вот эта!» А березка обычная, рядом с ней — десятки березок, и ничуть не хуже. Сколько в этом восклицании наигранности, саморисования и фальши. Я же просто не могу без этой березки жить. Поле, лес — мой родной дом. И глупо у себя дома восхищаться тем, что десятки лет неизменно перед твоими глазами.

Но возглас Наденьки меня не покоробил. В этом солнечном после дождя сентябрьском утре улавливались трепетные отголоски весны.

Минуту назад все серое, унылое, печальное сейчас сияло, звенело, искрилось и радовалось. Омытые листья берез, осин, еще не желтые, но уже слегка побледневшие, просвечивались насквозь и казались по-весеннему светло-зелеными и липкими. В облаках проталинами синело ласковое небо. И неожиданно, как весной, где-то в болоте на брусничной кочке заболмогал тетерев.

Рыхлое облако заслонило солнце, и сразу же все померкло, по-осеннему пригорюнилось. Один лишь зачарованный тетерев продолжал самозабвенно болмотать, перепутав времена года.

Машина, буксуя, вскарабкалась на глинистый пригорок и стала осторожно спускаться на мост через узкую, пленивую, с зеленой водой речушку. И в тот момент, когда под нами загромыхал деревянный настил, заднее колесо, свистя, зашипело, и машина, осев на левый борт, съехала с моста и остановилась на обочине дороги. Около выскочил из кабины и, взглянув на смятую покрывку, безнадежно свистнул и зашагал к мосту. Мы пошли за ним. Около молча пошевелил ногой перевернутую байдачную доску и показал острый шестидюймовый гвоздь.

— Ясно. Придется вам пешочком дотопать. Здесь чепуха — километра три.

Я снял с машины саквояж:

— До свидания, Около.

Он осторожно пожал мне руку и кашлянул в кулак:

— Хочу вам пару слов сказать. Можете обижаться, ваше дело. А мое дело — сказать. Могу и не говорить, как хотите.

— Ради бога, говорите. Даже очень рад, — пробормотал я и почувствовал, как вспыхнули уши, — чему радовался, мне и самому было непонятно.

Около сошел с дороги и сел на край канавы. Я опустился рядом. Подошла и Наденька, но не села, а, остановившись напротив, с удивлением посматривала то на меня, то на Около. Он пожевал сухой стебель василька, сплюнул и нервно потер лоб.

— Зачем вы так... — Около замялся, взглянул на Наденьку и, уставясь на рыжие носки сапог, с трудом выдавил: — Так неубедительно пишете?

Он, видимо, ждал возражений и не отрывал глаз от сапог.

— Я не так выразился. Не смог подобрать нужное слово.

— Да уж ладно, как можешь, — сухо ответил я.

И тут Около прорвало. Он заговорил смело и уверенно. И я понял, что к этому разговору он давно был подготовлен и только ждал случая.

— Я слушал в клубе ваш рассказ. Он мне не понравился. Он никому не понравился. Вы это сами поняли. Плохо вы вообще разбираетесь в жизни. У вас молодая девушка этакой феей-лебедушкой приходит на свино-

ферму в поисках славы. Неужели вы не знаете, что на свиноферме грязный, тяжелый труд? Хорошо знаете! Вас Надежда Михайловна таскала по фермам... Любая колхозница понимает, что нелегко ходить за свиньями, но она понимает и другое — что кому-то эту работу нужно делать. И не о славе она думает...

Около умолк и опять уставился на свои сапоги. Наденька, подняв голову, следила за белесыми облаками, которые, как сало, затягивали бледно-синее небо. Я взглянул на часы. Около пошевелился, оторвал глаза от сапог и усмехнулся:

— А уж как вы робко трогаете наши недостатки, осторожно... пальчиком.— Он пошевелил мизинцем.— Ну вот все, что я хотел сказать.— Около поднялся, в широкой улыбке растянул губастый рот и подал мне руку.— А так вы вообще пишете ничего. Есть, которые пишут хуже...

До станции оказалось не три километра, а добрых пять. И всю дорогу мы молчали. Я был подавлен откровениями Около. Это, видимо, понимала и Наденька. Она шла позади, далеко отстав от меня. Показались серые станционные постройки, водонапорная башня; пронзительно, как коза, заверещала дрезина. Наденька рысцой догнала меня, взяла под руку:

— Простите, Около, он не хотел вас обидеть. Такой уж он непокладистый. Всегда правду напрямик ляпает. «Вот так утешила»,— подумал я.

— Конечно, неприятно, когда правду прямо в глаза,— торопливо говорила Наденька.— Но Около порядочный парень. Прошлой зимой бригадир подбил его махнуть налево машину дров. Продали они дрова. Бригадир в магазин за пол-литром, а Около его за воротник: «Стоп, погоди, сначала деньги в правление сдадим». Приволок бригадира к председателю и говорит: «Вот, привел вора тепленького...» Поэтому-то его все в колхозе уважают...

Поезд по каким-то неизвестным причинам запаздывал. Наденька побежала в город, пообещав скоро вернуться. В большом неуютном вокзале с высоким гулким потолком и белыми скучными стенами было тихо и пусто. Пассажиры, а их было десятка полтора, дремали по углам.

Я сел на громоздкий деревянный диван и попытался вздремнуть. Нет ничего тоскливее ожидать поезда в пустом вокзале, да еще не зная, когда он придет: минуты тянутся часами, и часы — вечностью.

Две женщины за высокой спинкой дивана вели бесконечно длинный разговор на семейные темы. Сначала одна многословно и бестолково рассказывала о проделках мучителя-зятя. Другая, слушая ее, поминутно вскрикивала: «Ахти мне, ирод!» Потом они поменялись ролями. Вторая принялась охаивать молодую сноху, а первая вскрикивать: «Ба-а-а! Ой, лихо мне!» А когда репродуктор местного радиоузла зашипел, пассажиры вострепнулись: хриплый окающий голос дежурного по станции объявил о прибытии поезда.

Началась посадка, а Наденьки все еще не было. Вышел дежурный, ударил в колокол. Протяжно загудел паровоз. На перрон вбежала Наденька и со всех ног бросилась ко мне. Я подхватил ее и крепко обнял, она чмокнула меня в щеку и сунула за пазуху пачку газет. Я вскочил на подножку.

— До свидания! — закричала Наденька и побежала рядом с вагоном. Вагон обогнал ее, Наденька остановилась, закачалась, схватилась за грудь. Поезд набирал скорость, а Наденька, прижимая руки к груди, смотрела ему вслед и кивала головой.

Я прошел в вагон, сел и стал просматривать газеты. В районном двухполосном листке прочитал о себе похвальную статейку. Автор не пожелал открыть себя и поставил под ней две буквы: «Н. К.». «Н. К., Н. К., — повторил я и грустно улыбнулся. — И здесь ты, Наденька, осталась верной себе, сделать человеку что-то доброе, хорошее и отойти в сторонку. Сколько ты людям приносила добра и всегда оставалась незамеченной. Желала другим счастья, старалась им помочь, найти и сохранить его и искренне радовалась чужому счастью. А когда ж ты будешь радоваться своему? Неужели так будет до конца? Это же страшно несправедливо. И я не верю этому и горячо протестую. Наденька будет счастлива! Может быть, не скоро, но обязательно будет. Это неписанный закон жизни. Вероятно, моя философия слишком старомодна и по-детски наивна. Но если кто насмеется над ней, он также насмеется и над Наденькой».

Я вынул из саквояжа объемистый сверток. И чего только в нем не было: и яйца, и пшеничные, теплые еще пышки, пирожки, масло, кусок домашнего окорока, банка варенья и даже соленые огурцы.

«Боже мой, Ирина Васильевна! — мысленно воскликнул я. — На неделю хватит. А ехать-то мне всего каких-то семь часов».

Прощаясь со мной, Ирина Васильевна пообещала еще пожить года два-три..

Старушка не сдержала своего слова. Ирина Васильевна умерла той же осенью, и, как мне рассказывала Наденька, внезапно и без хлопот. «Истопила бабушка печь, прибралась в доме, прилегла на кровать. Полежала немножко, зовет меня. Я подошла. Лежит она строгая-строгая и говорит мне: «Я сейчас помру. А чтоб тебе не было страшно, сбегай за соседкой». Пока я бегала, бабушка отошла...»

Около сам строгал гроб, копал могилу и поставил на кладбище синюю оградку с кустом сирени и голубой скамейкой.

И все по-новому пошло в доме Кольцовых. Мой приезд их не огорчил, да и не обрадовал, он был просто ни к чему.

Когда я подходил к дому, Около скатывал с прицепа сосновые бревна. Увидев меня, он кивнул, словно мы накануне виделись, и позвал Наденьку. Она выскочила на крыльцо, обвязанная полосатым фартуком. Наденька вытерла о фартук мокрые руки и, смущенно улыбаясь, протянула:

— Надо же! Вот не гадала!.. А мы строиться надумали. Дом-то совсем трухлявый. Того гляди развалится,— озабоченно сказала она и поджала губы, и тут же спохватилась: — Ой, что же я лясы точу, а там картошка горит. Хоть разорвись с этим хозяйством.

Она бросилась в дом и сразу вернулась.

— Что же вы стоите? Заходите. Завтракать будем. Около, кончай возиться. Слышишь, что я говорю! — прикрикнула Наденька.

— Слышу, не глухой,— сквозь зубы процедил Около и сильным толчком лома спустил на землю бревно.

— Подумаешь, не глухой,— запальчиво проговорила Наденька и прищурилась. — А почему ты так со мной разговариваешь? Кто я тебе, а?

— Хватит дурачиться... Иду,— проворчал Около. Бросил лом и пошел умываться.

Наденька, доказав мне, что Около у нее покорный муж, а она хозяйка ужасно строгая, притворно вздохнула и пожаловалась:

— Грубый он еще у меня. Учучу, а все без толку. Сразу было видно, что в доме командуют молодые, и

командуют по-своему. Стол на кухне был заставлен чугунами, мисками, завален картофельной шелухой. В уголке у зеркала сидел Алексей Федорович. Он не изменился: щеки по-прежнему румянились, и глаза по-детски улыбались. В «чистой половине» избы был полный развал, словно хозяева куда-то поспешно собираются уезжать. Посредине комнаты стоял раскрытый чемодан, ящики комода все были выдвинуты, на диване лежала куча белья, а поверх ее, вытянувшись, спала кошка. На столе, на стульях, на окнах — везде валялись книги и патефонные пластинки.

Вошел с мокрым лицом Около, стал искать полотенце, не найдя, вытерся наволочкой.

— Около, очисти стол,— приказала Наденька.

Около перетаскал к печке чугуны с мисками, протер мочалкой клеенку, и мы сели завтракать.

Молодая хозяйка с лихвой доказала, что влюблена по уши. Суп был пересолен, картошка пережарена, а молоко кислое.

— Корову сдали в колхоз. Кому с ней возиться? А молоко берем с фермы. И вот каждый раз скисает. Отчего — не пойму! — оправдывалась Наденька.

— Бидон надо чисто мыть и прожаривать,— веско заметил Около.

— А ты сиди, лопай и не суйся в бабьи дела. А то вот порсну ложкой по лысине.— Наденька перегнулась через стол, легонько стукнула мужа по лбу, а потом с удовольствием облизала ложку.

Да, все здесь было по-другому: от повадок Ирины Васильевны не осталось и следа. Словно ворвался ураган, перевернул все, взбудоражил и выдул из старого кольцовского дома тихий, убаюкивающий покой. Молодые жили безалаберно, но весело, ели что попадет под руку, зато с аппетитом, часто ссорились, но тут же мирлись.

— Ну а как же теперь с общественной работой, Наденька? — спросил я.

Около безнадежно махнул рукой:

— По-прежнему носится как угорелая. Зато видели, какой в доме порядочек...

Наденька вспыхнула, вскочила, смахнула с ресниц слезу и обиженно прошептала:

— Бессовестный, ну какой же ты бессовестный! Сам же знаешь: у меня стирка!

— Что-то она больно затянулась. Как в колхозе посеvная.

— Неправда, неправда. Позавчера только начала.
А ты черствый, бездушный и... и...

Думать, подбирать слова ей страшно мешала бурная радость, она старалась быть грозной, а была смешной и трогательной, она хотела казаться несчастной, а сама вся сияла, залитая мягким, теплым светом, тем светом, который раньше лишь изредка на минуту вспыхивал на ее некрасивом лице. Она была безмерно счастлива... Чего же еще надо!

1961

СУДЬЯ СЕМЕН БУЗЫКИН

Узор

Поселок Узор вытянулся вдоль шоссе от моста через речку Каменку до конторы «Заготсырье». Каменка потому так и называется, что в реке больше камней, чем воды, а летом ее куры вброд переходят. На обрывистом берегу в березовой рощице — больница. За конторой «Заготсырье» — пастбище, поросшее мелким ольшаником; выбитая копытами земля напоминает свежее пожарище.

Моя резиденция — приземистое, неуютное, как сарай, здание с вывеской «Народный суд», по соседству с конторой «Заготсырье», на самой окраине поселка. Зимой его нередко чуть ли не до крыши заносило снегом. Моя уборщица и сторож Манюня широкой деревянной лопатой весь день разгребала тропинку от крыльца до шоссе, иногда ей помогали истцы с ответчиками, и мне всегда казалось — не без тайного умысла.

Жил у Васюты Тимофеевны Косых. Весь свой дом с комнатками и комнатками она сдавала внаем, сама же жила на кухне. Однако квартиранты у нее долго не задерживались. Снимал я у нее узкую, темную, как печная труба, комнатку с одним окном. До меня в ней жил агроном сельхозотдела. По уверениям хозяйки, «беспобудный пьяница, бабник, сожрал три связки луку и, не заплатив, съехал с фатеры».

Я знал агронома. Застенчивый человек, трезвенник, большой труженик и неудачник, он никак не мог оправдаться перед Косихой. Правда, лук агроном ел с какой-то непонятной жадностью и пропах им насквозь, как баранья котлета.

Меня хозяйка терпела и соседкам говорила: «Удобный квартирант — платит хорошо, обходительный, не путаник, а ведь совсем холостой, только табакур. Так накурит, так накурит, хоть из дому беги».

Зимой на каникулы с бухгалтерских курсов приехала ее дочь Симочка. Взглянул я на нее — и сомнение взяло: да дочь ли она Косихи? Так они не походили друг на друга. Мать напоминала почерневшую, но еще крепкую доску. Симочка была воплощением мягкости и круглости. На ее белом, пухлом, с легким румянцем лице, словно огромные изюмины в булке, торчали изумленные глаза.

Вечером она зашла ко мне, как к старому знакомому. Развязность иных женщин, порою граничащая с наглым вызовом, меня теперь не удивляет... Но в повелении Симочки все было так просто, непринужденно, доверчиво и красиво, что мне стало отрадно, словно я ее ждал, и ждал давно, с нетерпением и трепетом. Не помню, чем я тогда был занят — не то читал, не то писал, в общем, как-то разумно бездельничал. Симочка придвинула стул, села и стала смотреть мне в лицо с пристальной серьезностью. Я тоже не мигая смотрел на нее как зачарованный. Ее розовое, теплое лицо было очень серьезно. Симочка старалась серьезничать. И это ей удавалось, но с большим трудом. Нижняя губка у нее дрожала, а в зрачках этих странных глаз то вспыхивали, то гасли радужные искры. Подобную световую игру глаз я наблюдал в темноте у кошек. Так мы смотрели друг на друга минуту-две, а мне показалось — целую вечность.

— И не страшно вам? — не опуская глаз, спросила Симочка и, помолчав, пояснила, почему это страшно. — Вы засудите человека, его посадят в тюрьму. А потом он отсидит там свой срок, вернется домой и убьет вас.

Я смолчал. Ну что я мог ответить на ее доводы? Она же, приняв мое молчание за полное согласие с ней, стала меня наставительно поучать:

— Вы не очень строго судите людей. Конечно, больших преступников можно и построже. А простых надо жалеть. Потому что преступление они делают не по желанию, а по нужде и глупости...

Я плохо слушал ее наставления. Я думал о том, что вот Симочка поговорит и уйдет. А мне этого не хотелось... Я мучился и гадал: уйдет или не уйдет? А то, что за стенкой ее мать скребет песком пузатый тульский самовар, меня тогда ничуть не смущало.

«Неужели уйдет?» — с тоской думал я. Мои опасения и муки Симочка разрешила неожиданно просто и разумно — она пригласила меня в кино. На другой день мы опять ходили в кино, на третий — тоже, и все на одну картину.

Хозяйка усилила ко мне внимание. Появились жертвы. Первым потерял голову петух, за ним Васюта вытряхнула из шубы годовалого барана. Теперь Симочка появлялась в моей комнате в халате, непричесанная и командовала мне: «Подъем!» Породнился бы я, наверное, с Васютой Тимофеевной, но внезапно кончились каникулы. Я заметил, что Симочка забыла о своих курсах. Я же холодно и трезво стал убеждать ее временно все это оставить и закончить учебу. Она слушала меня внимательно, с широко раскрытыми, удивленными глазами, только теперь в них не играли огни. Глаза стали влажными, лиловыми и преданными, как у побитой собаки. Симочка согласилась со мной и, тяжело вздохнув, сказала:

— Ах, Семен, Семен, зачем?

Через день она уехала и увезла с собой и свет, и тепло, и уют. В моей комнатухе стало скучно, пусто и холодно, как осенью в остывшем овине...

Я очень тоскую по Симочке. Ее тихий грустный упрек: «Ах, Семен, Семен, зачем?» — стал тревожным криком моей души. Чтобы забыться, не слышать его, опять пишу свой дневник, который я с радостью забросил при Симочке...

Предлагаю отдельные главы из дневника на суд читателя, надеясь, что он не осудит слишком строго мои недостатки, свойственные многим, в том числе и народным судьям...

Единогласно

Неужели я кандидат в народные судьи?! Даже не верится. Вторую неделю живу в Узоре, разъезжаю по району и знакожусь со своими избирателями. После шумного, суетливого города мне положительно повезло. Меня пугали, что Узор — глубокая яма. Луж и каналов

много, но ямы я не видел, наверное, ее нарочно засыпали к моему приезду. Почему я так думаю? Потому что меня все здесь любят, уважают и, кажется, радуются, что я у них буду судьей. Все смотрят на меня с улыбкой и величают Семеном Кузьмичом.

Вчера какой-то незнакомый седенький старичок до слез меня растрогал. Я шел из столовой, а он мне навстречу. Снял шапку, низко поклонился, долго стоял без шапки и все смотрел мне вслед. Мне было как-то неудобно и в то же время жутко приятно.

Мне все здесь нравится, все: домики маленькие, аккуратные, и вечером в них приветливо, заманчиво горят огни. Представляю себе, как там тепло и уютно. Я живу в «гостинице», там тесновато, но клопы не тревожат и бельё чистое.

А какой здесь народ! Я объездил почти все колхозы, и везде меня с почетом встречали, старались угождать и хвалить. И не как-нибудь там за глаза, а при всех, публично...

Однако есть и такие — повторяю, таких очень мало, — что смотрят на меня прищуренными глазами... Вот, например, председатель райисполкома. Человек он, конечно, положительный, но уж слишком прямолинеен и резок. Когда я пришел к нему и представился, он долго и пытливо разглядывал меня, словно заморскую диковину, и, наглядевшись вдоволь, ехидно спросил:

— А зачем усы? Для солидности? Сбрей.

Я молчал, а он, не стесняясь, говорил обидные слова, да еще жалел меня при этом:

— Молод ты еще, ох как молод! Жаль мне тебя. Поэтому хочу дать три напутственные заповеди. Они слишком примитивны, но если ты за них будешь держаться, то, может быть, просидишь свои три года, до следующих выборов. Первая заповедь — не бери взяток, вторая — не залезай в государственный карман, и третья — не лапай девок, с которыми будешь работать.

Это уж слишком. Но я не в силах был вымолвить ни слова и сидел потупившись, униженный и побитый. Председатель райисполкома (зовут его Сергей Яковлевич) подошел ко мне, взлохматил мне волосы.

— То, что я тебе говорил, пусть останется между нами. Никому ни слова. Понял? Никому... А если тебе потребуется от меня помощь, помогу.

С какой благодарностью я пожал его цепкую и жесткую, как щепка, руку! Я думаю, порядочность в человеке ценнее доброты...

Сегодня была моя последняя встреча с избирателями льнозавода. Как и все предыдущие, она прошла в теплой, дружеской обстановке, если не считать одного маленького недоразумения. Одна старушка перестаралась. Ее никто не просил выступать, она сама вылезла к трибуне и заявила жалобным голосом:

— Давайте выберем его в судьи. Парнишка он молодой, жить ему тоже хочется...— И заплакала. И все, кто был в зале, покатались со смеху.

Вот я сажу, пишу, вижу эту плачущую старушку и думаю: «Эх, Семен, Семен, зачем?..»

Я избран почти единогласно. Против меня был всего один голос. И скажу вам по секрету: этот голос—мой!

Как я слушал первое дело

Итак, я — народный судья. С нарочитой ленивой солидностью и взволнованный до холодного пота сажусь за длинный с зеленым сукном стол слушать первое дело. По бокам усаживаются мои заседатели. Солидно кашляю и глухим, утробным голосом объявляю, что слушается дело по иску гражданина Сухороброва к гражданину Семенову о возврате собаки, и с трудом отрываю глаза от серой папки. Прямо передо мной сидит плотный, черный, косматый, как цыган, ответчик Семенов и, сжав коленями, держит черненькую, с белыми лапками лайку. Человек и собака не отрываясь смотрят на меня. Только глаза у человека какие-то ошалелые, а у собаки — веселые.

— Истец Сухоробров здесь? — спрашиваю я.

На последней скамейке подпрыгивает маленький, в новом дубленом полушубке, мужичок и, как рыба глотнув воздух, торопливо шпарит:

— Моя собака, гражданин судья. Ей-богу, моя. Кого хошь в деревне спроси, моя.

— Погодите,— останавливаю его,— вы поддерживаете иск?

Сухоробров ежится и удивленно раскрывает рот.

— Поддерживаете вы иск? — повторяю вопрос, обязательный по процессуальному кодексу.

Сухоробров молчит, и вид у него жалостный, испуганный. Бедняга не понимает, что такое поддерживать иск. А когда я ему объясняю, что это есть то же самое, что требовать возврата собаки, он обрадованно кивает головой:

— Моя собака. Ей-богу, моя. Кого хошь спроси в деревне.

— Семенов, признаете иск? — обращаюсь к ответчику.

Семенов неуклюже встает и, глядя из-под нависших бровей, сипит:

— Брешет он, гражданин судья. Собака моя. У цыган купил за двести целковых.

Вызываю к столу свидетелей, беру с них подписку об ответственности за ложные показания, для пущей объективности удаляю их из зала в холодные сени...

Допрашиваю Сухороброва. Он удивительный болтун и бестолочь... Слова сыплет, как горох из мешка... Долго роюсь в этой бессмысленной словесной каше и наконец выясняю, что три года назад у Сухороброва была собачка, по его выражению, «тютелька в тютельку как эта лайка», а потом пропала. Сухоробров о ней, конечно, никогда бы и не вспомнил, собака ему была совершенно не нужна. Когда соседский мальчонка Васятка Морозов сказал ему, что видел эту собачку в деревне Рыдалиха у охотника Нила Семенова, Сухоробров, махнув рукой, сказал: «А на кой лях она мне нужна! Только хлеб даром жрет». Потом до Сухороброва дошел слух, что эта собачонка оказалась счастливой добытчицей. Только за один год Нил добыл с ней несметное количество белок, куниц и перебил всех глухарей в округе. Эта весть как ножом полоснула сердце Сухороброва, и он решил во что бы то ни стало отобрать у Нила Семенова свою собаку.

Из ответчика Семенова выжать ничего невозможно, на все вопросы он отвечает одним словом: «Брешуть». У его ног, завернув кренделем хвост и наострив уши, лежит «удачливая добытчица» и, зевая, повизгивает. Спрашиваю охотника, правда ли, что собака необыкновенная добытчица. Он, ухмыляясь, мотает головой:

— Да брешуть, гражданин судья.

Это меня настораживает. В ответе Семенова я улавливаю недобросовестность. Мелькает мысль, что, вероятно, цыгане стащили собаку у Сухороброва и продали ее Семенову. Я ухватываюсь за эту версию и пытаюсь выяснить, где и когда была куплена Семеновым лайка. Но это мне оказывается не под силу. Ответчик твердит одно и то же: «Брешуть». А Сухоробров внезапно все забывает, даже кличку своей собаки.

Допрос же свидетелей окончательно все запутал. А несовершеннолетний свидетель Васятка Морозов на-

смешил меня, растрогал, вогнал в пот. Мне представлялся Васятка озорным веснушчатым курносым мальчонкой. И я был очень удивлен, когда около стола появился белобрысый верзила в огромной лохматой шапке из заячьей шкурки.

— А шапку-то надо перед судом снимать,— заметил я.

Васька стащил с головы шапку, подержал в одной руке, потом в другой, спрятал за спину.

— Сколько же вам лет?

Васька мгновенно нахлобучил шапку на голову, но, опомнившись, опять стащил ее, зажал в руках и растерянно замигал. Я повторил вопрос. Васька уронил свою шапку, торопливо схватил и спрятал за спину. Я понял, что все внимание свидетеля сосредоточено на шапке, она мешает ему не только думать, но даже мало-мальски соображать. Я приказал Ваське положить шапку на скамейку. Без шапки он совсем растерялся и, растопырив руки, смотрел на меня ошалелыми от страха глазами.

— Василий Морозов, сколько вам лет? — в третий раз спросил я.

Васька глотнул воздух и выпалил:

— Не знаю...— И, испугавшись своего голоса, густо покраснел и поддернул ладонью нос.

— Как же ты не знаешь, сколько тебе лет?

Теперь у Васьки покраснели шея и уши, и он, набычившись, буркнул:

— Сколько нам лет, не знаю. А мне шашнадцатый.

Я понял, что говорить с Васькой на «вы» — только зря терять время.

— Ты знаешь эту собаку?

Свидетель радостно кивнул головой.

— Чья же она?

— Дяди Петина.

— Какого?

— Да вот этого! — И Васька ткнул пальцем в сторону Сухороброва.

— Почему ты так утверждаешь?

— Не знаю.

— Фу ты черт возьми! — прошептал я и почувствовал, что меня начинает трясти, но сдержал себя и спросил как можно мягче: — Вы раньше видели ее у Сухороброва?

— Видали.

— Кто видали?

— Да я.

— Так бы и говорил, что видал,— процедил я сквозь зубы, злясь не столько на свидетеля, сколько на себя, на свое неумение вести допрос.

— Когда ты ее видел?

— Давно,— ответил Васька и от себя добавил: — Я тогда еще с ней играл.

Я обеими руками ухватился за наивное Васькино признание.

— Как же ты с ней играл?

Васька широко и глупо заулыбался:

— Положу на спину и давай брюхо щекотать, а она визжит и кусается.

— А как звали собаку?

— Альма.

С таким же вопросом я обратился к ответчику.

— Брешет он, гражданин судья. Пальмой кличут мою собаку,— ответил Семенов.

Я опять принялся пытаться Ваську:

— Как же пропала у Сухороброва собака?

— Волки сожрали.

— Откуда ты это знаешь?

— Да дядя Петя сказывал.

То, что собаку Сухороброва волки сожрали, подтвердили все свидетели.

— А может быть, ее цыгане увели, а потом продали Семенову? — осторожно спросил я Ваську.

Он охотно подтвердил мою версию.

Теперь оставалось выяснить, чья же в конце концов собака у ответчика.

— Вася,— спросил я, указывая на лайку, которая, сощурив глаза и высунув язык, лежала под лавкой,— это та собака или не та?

Васька пристально посмотрел на лайку и пожал плечами:

— Кажись, та.

— Ты говори прямо — та или не та,— строго приказал я.

Васька опять посмотрел на собаку и опустил голову:

— Не знаю.

— Почему? Ведь ты же играл с ней?

Васька молчал.

— Отвечай, какие были особые приметы у дяди Петинной собаки?

Васька молчал, как глухонемой.

— Отвечай, что было у собаки, с которой ты играл,— сквозь зубы процедил я.

— Хвост,— прошептал Васька.

— Хвост есть у всех собак. Ты мне назови особые приметы. Ну что еще было у той собаки?

Васька каким-то чужим голосом выдавил:

— Уши.

Свидетель меня не понимал — мы разговаривали с ним на разных языках. Я почувствовал свое полное бессилие и не знал, что делать. К счастью, выручили заседатели. Они просто и легко объяснили Ваське, чего я от него добиваюсь. Он бойко, без запинки, пересчитал по пальцам все приметы украденной собаки. Они совпадали, как уверял Сухоревров, «тютелька в тютельку» с приметами его лайки, кроме одной. Васька уверял, что на груди у той собаки, Альмы, была белая полоска. Семенов поднял лайку за передние лапы и показал суду собачий живот с белым пятном.

— Замарал полоску, ей-богу, замарал, гражданин судья! — закричал Сухоревров. — Прикажите потереть собаке грудь.

Семенов поплевал на ладонь и принялся ожесточенно тереть лайке живот. Она отчаянно царапалась, визжала и лаяла.

Сухоревров дело проиграл, но не сдавался и потребовал проделать фокус. Он отошел к двери и стал подзывать к себе собачонку. И она подошла, потерлась о его валенки и покорно уселась у ног.

— Пальма, подь сюда! — дико закричал Семенов, и собака стремглав бросилась к нему, подпрыгнув, лизнула его волосатое лицо и радостно залаяла.

Я спросил Сухореврова:

— Вы охотник?

— Никак нет, гражданин судья. Мы больше рыбешкой балуемся.

— Так зачем же тебе охотничья собака? Она же тебе совершенно не нужна.

— Знамо дело, не нужна,— согласился Сухоревров.

— Зачем же тогда эту судебную канитель завел?

— Как зачем? — изумился Сухоревров. — Собака моя. Ей-богу, моя. Спросите в деревне, и все скажут — моя.

Суд отказал в иске Сухореврову, ссылаясь на то, что нет доказательств, будто и правда лайка раньше принадлежала ему.

Когда я разъяснил решение суда, Сухоревров согласно кивал головой и поддакивал: «Так, так, понятно,

гражданин судья», а потом спросил, как быть теперь с его собакой. Сейчас ее отдаст ему Семенов или придется забирать с милиционером? Я сказал ему резко и категорически, что собака Семенова, а он на нее никаких прав не имеет. Сухоробров швырнул на пол шапку и пригрозил, что пойдет выше, до Москвы, а животину свою все равно отсудит, и стал настойчиво просить, чтобы, пока он будет ходить по судам, отобрать у Семенова собаку и наложить на нее арест, чтоб тот ее не продал или нарочно бы не испортил. Это поставило меня в тупик. Требование Сухороброва было законным, но я не знал, как его удовлетворить. Позвонил начальнику милиции и попросил помочь мне наложить на лайку арест. Начальник милиции заявил, что у него для арестованных собак нет камер — не положено, и посоветовал оставить временно собаку у хозяина под сохранный расписку до вступления решения суда в законную силу. Но Сухоробров и слушать не хотел о расписке. Этот коротконогий мужичонка проявил такую энергию, упорство и знание законов, что я растерялся. Передо мной стоял хитрющий сутяга, который способен на любую пакость, и я трусливо пошел ему на уступки. Я предложил истцу с ответчиком найти человека, которому бы они на время доверили собаку.

Я ушел к себе в кабинет, закрылся на ключ. Меня бил озноб, болела голова и тошнило. Подмывало желание плюнуть на все это и бежать отсюда не оглядываясь. В дверь постучали. Я открыл и опять увидел их вместе с собакой. Они ввалились в мой кабинет и заявили, что пока они будут тягаться, пусть собака останется у меня, как у самого надежного в районе человека. Я не знал, что мне делать — плакать или смеяться. Впрочем, мне было все равно, и я, устало махнув рукой, согласился. И они ушли, оставив мне лайку.

— Фу, наконец-то от них отвязался,— облегченно вздохнул я и прилег на диван.

Собака вела себя спокойно, зевала и изредка потихоньку повизгивала, а потом начала скулить. Я отдал Пальме свой ужин — ломоть хлеба с маслом. Она понюхала, отошла к двери и залаяла. Я попытался ее успокоить, но она оскалилась... Я распахнул дверь и выгнал Пальму в сени. Через пятнадцать минут Пальма начала драть когтями дверь и сотрясать дом оглушительным лаем. Лай я еще мог стерпеть, но когда она протяжно завывала, мне стало жутко.

Около печки на гвозде висела веревка, на которой

уборщица носила дрова. Я схватил веревку и, дрожа от страха, открыл дверь в сени. Пальма с радостным визгом бросилась ко мне и уткнулась носом в колени. Я торопливо привязал к ее ошейнику веревку, выволок собаку на улицу и привязал к забору. Закрыв дверь на железный засов, я лег на диван, с головой накрылся шубой и заткнул пальцами уши. «Довольно,— сказал я себе решительно,— утром отправляю собаку с милиционером к ее хозяину».

Однако моему благоразумному намерению не суждено было свершиться... Меня разбудил визгливый голос уборщицы Манюни. Она выскребала железной лопатой смерзшийся собачий помет и отчаянно ругалась. Я вспомнил о собаке, быстро оделся, выбежал на улицу... и нашел у забора одну лишь веревку с оборванным концом. Все уверяют, что это дело волков. Я же над этим не задумываюсь. Не все ли равно, кто увел собаку, волки ли, человек ли, а может быть, она сама убежала,— отвечать-то теперь за все придется мне.

Голова

Однажды под суд попал председатель колхоза «Ленинский труд» Илья Антонович Голова. Нас с ним сблизила и спаяла охотничья страсть. А познакомил меня с Головой председатель райисполкома Сергей Яковлевич Штыков.

В первый год работы я старался не за страх, а за совесть — до полуночи засиживался за изучением судебных дел. Как-то вечером раздается телефонный звонок. Узнаю голос Сергея Яковлевича.

— Судья, ты охотник? — спрашивает он и просит срочно зайти к нему в райсовет.

Прихожу и вижу — сидит у него курчавый, с выпученными озорными глазами мужик.

Сергей Яковлевич кивает на него и улыбается:

— Знакомься. Сам Голова, знаменитый председатель колхоза «Ленинский труд».

Мы познакомились. «Ну и что дальше? — думаю я.— К чему это знакомство?»

Штыков, посмеиваясь, поглядывает то на меня, то на Голову.

— Ну что, Илья Антонович, возьмем парня?

— Куда? — удивленно спрашиваю я.

— За глухарем,— отвечает Штыков таким тоном, словно бы речь шла о каком-то пустяке. И, не дав мне опомниться и возразить, что я не только не охотник, но даже и ружья в руках ни разу не держал, Сергей Яковлевич приказывает, чтобы я через час был готов.

На исполкомовском «газике» по сквернейшей дороге, в такую густую темень — хоть ножом режь, мы выехали в колхоз «Ленинский труд». Всю дорогу Штыков с Головой хвастались друг перед другом своими охотничьими удачами. Я же с ужасом думал о походе по болоту за глухарем. На мне было легкое осеннее пальтишко и ботиночки с калошами. Но мои опасения были преждевременны. У Головы нашлось все: и резиновые сапоги-заколеники, и куртка, и ружье. Илья Антонович отдал мне все лучшее. Когда я опоясался тяжелым патронташем, сбоку подвесил новенький ягдташ и закинул за спину двустволку, Сергей Яковлевич насмешливо посмотрел на меня и сказал:

— Тартарен из Тараскона.

Я, разумеется, ничего не убил. Штыков с Головой стукнули по великолепному глухарю. Я им не завидовал, не раскаивался, да и сейчас не раскаиваюсь в этой поездке. Я видел, я слышал весеннее утро в лесу. Раньше я только читал о нем в книжках. Но какое может быть сравнение!

Когда мы возвращались с Сергеем Яковлевичем в Узор, он спросил:

— Ну и как?

Я глубоко вздохнул и закрыл глаза от удовольствия:

— Чудесно!

— Да, ты прав. Чудесно! Лучше и не скажешь.

Охотничий зуд не давал мне покоя. Я не утерпел, позвонил в колхоз Голове, договорился с ним на неделе провести зорьку в лесу. Он с радостью согласился, и я принес Васюте тяжелого глухаря. Васюта взвесила его на безмене. Глухарь весил без малого пятнадцать фунтов. После этого я зачастил к Илье Антоновичу. Потом обзавелся собственным ружьем. С Головой я ходил и на зайцев, ходил и на кабана.

Голову знает весь район. Да еще бы не знать! В войну он командовал партизанским отрядом. «Отчаянный мужик!» — говорят о нем. У Ильи Антоновича два ордена — Отечественной войны, Красного Знамени — и куча медалей.

Характер у Ильи Антоновича горячий, резкий. Однако душа у него добрая и даже возвышенная.

Был случай, он чуть не пристрелил меня на охоте. По неопытности я подбил глухарку. У Ильи Антоновича от гнева глаза кровью налились, он схватился за ружье и так заорал, что перепугал всех птиц в лесу. А через пять минут сам же успокаивал меня, чтоб я не очень-то переживал, потому что со всяким такое бывает, и привел мне пример, как он сам из озорства пульнул по дятлу. «Так батька,— рассказывал он,— взял этого дятла — и мне по морде, по морде. И до тех пор хлестал, пока всего дятла не измочалил. С тех пор я понапрасну ни по одной птахе не стрельнул. А стреляю я во как, смотри». Он мгновенно вскинул ружье и хлопнул на лету сойку.

— Видал, миндал, как надо стрелять!

Голова подобрал сойку и отрезал у нее лапы, сунул их в карман.

— Зачем они тебе? — спросил я.

— Для лицензии. Настреляю сто пар, сдам в охотничье общество и получу лицензию на отстрел лося.

Работу председателя Голова не любит и не дорожит ею. У него в жизни три страсти. Наипервейшая — охота. Вторая — это страсть предаваться воспоминаниям о былых, незабвенных делах партизанских. Если ему попался в лапы слушатель (а мне-таки приходилось не раз), он всю ночь напролет рассказывал ему о вероятных и невероятных подвигах своего отряда. Когда слушателей нет, он вспоминает сам для себя. На него тяжелым грузом наваливается томительная и сумбурная бессонница. Перед его широко открытыми, выпуклыми, как лупы, глазами кинолентой бегут ожесточенные бои, дерзкие налеты на железнодорожные станции, походы, переправы, рукопашные схватки и прочие жутко интересные события. Он то смеется, то скрежещет зубами и, вскакивая, ругается и проклиняет себя: «У черт, дурак, баранья голова, как глупо я упустил тогда этот эшелон с танками! Если б я его свалил — наверняка, наверняка был бы Героем». Его разгоряченный мозг дорисовывает картины боев и придумывает новые. Это привело к тому, что теперь Илья Антонович и сам не может разобраться, где в его рассказах правда, а где вымысел.

Есть еще одна страсть, которой он страшно стыдится, хотя в этой страсти ничего позорного нет. Илья Антонович очень любит макароны. Когда они случайно появляются у нас в поселке, Голова все бросает и мчится в Узор за макаронами. В деревнях спать ложатся ранним вечером. И если в глухую ночь в Березовке у пред-

седателя горит свет, а из трубы валит дым, все знают, что Илья Антонович жарит макароны.

Председатель Голова посредственный, а как хозяйственный и гроша ломаного не стоит.

В районе его терпят, поскольку Голова фигура знаменитая и поскольку есть председатели и еще хуже Ильи Антоновича. Колхозом он командует, как командовал когда-то партизанским отрядом — дерзко и решительно. Встает Голова раньше всех в колхозе, с петухами. Ружье за спину, на лошадь — и в лес. К началу трудового дня возвращается — и прямо в правление. Там счетовод ему вручает листок бумаги, на котором написано, что сегодня делать и кому что делать. Илья Антонович опять садится на лошадь и, огрев ее плетью, направляется на левый край села. Отсюда он начинает свой деловой объезд. Подскакав к дому, не слезая с лошади, стучит по раме плеткой и кричит:

— Наташка, навоз возить!

— Ладно,— отвечает Наташка.

— Выходи!

— Дай печку дотопить!

— Выходи, а то я тебе всю печку по кирпичику разнесу! — орет Голова на всю деревню.

Наташка выскакивает из дому как ошпаренная и, отбежав на приличное расстояние, начинает поносить председателя самыми что ни на есть последними словами: зверь, изверг, макаронник!

Но ее гнев несколько не волнует Илью Антоновича. Он свое дело сделал и направляется к следующему дому — и опять плетью по раме.

— Макар!

Открывается окно, и показывается плешивая голова старика.

— Чего тебе?

— Пойдешь... Постой, куда же ты пойдешь?.. — Голова вытаскивает из кармана листок. — Ага! Пойдешь и переложить печку на скотном дворе в водогрейке.

— Не можется мне нонче, Илья Антоныч, поясницу ломит,— жалуется Макар.

— Пойдешь и переложить. Понял?

— Не пойду. К доктору пойду.— Макар захлопывает окно.

Но Илья Антонович настойчив и неумолим. Он сам открывает окно и, просунув голову, спрашивает:

— Макар, где корова?

— Известно где. В поле,— отвечает Макар.

— Вот что, Макар, сейчас ты пойдешь в поле за коровой. Приведешь ее и поставишь на двор.

— Это почему же? — возмущается Макар.

— Потому что поля и трава колхозные, а колхоз тебе не дармовая кормушка. Понял? И не дожидайся того, чтоб я ее сам привел, — с угрозой заканчивает председатель, вспрыгивает на лошадь и направляется к дому Макарова соседа. А Макар, проклиная всех, собирается на работу — не потому, что боится угроз Головы, который, впрочем, только грозит, но никогда не переходит к решительным действиям, а потому, что знает: Илья Антонович, пока не выгонит его из дому, не успокоится.

Исполнив утренний урок, Илья Антонович едет домой завтракать. Позавтракав, опять берет в руки плеть, садится на лошадь и направляется наблюдать за ходом работ. И весь день в полях, на скотных дворах гремит зычный командирский голос председателя.

Когда Голову вызывают в район драить и перевоспитывать, что случается частенько, он стойко выдерживает головомойку, а потом, приняв удивленный вид, наивно спрашивает:

— А зачем такой длинный разговор, зачем эти громкие слова? Не нравлюсь? Плохой я председатель? Так снимите!

И как бы ни было районное начальство добродушно-снисходительно настроено по отношению к Голове, мало-помалу над буйной его головушкой сгущались тучи.

Как-то в канун ноябрьских праздников Голова на общем собрании внес предложение, текст которого дословно взят из протокола:

«Торжественно всем колхозом отметить день Великой Октябрьской социалистической революции. Для этого:

а) из кладовой колхоза выделить на самогон десять пудов ржи;

б) забить на мясо яловую корову Буренку;

в) праздничное гулянье провести в помещении избы-читальни культурно, без всяких скандалов и безобразий;

г) просить гармониста Василия Семипалова не напиваться и весь вечер играть на гармонии;

д) ответственность за проведение вечера возложить на председателя колхоза Голову.

Принято единогласно».

Говорят, что постановление это было выполнено по

всем пунктам: праздник был проведён весело, организованно. Пьяных было мало, а сам председатель с Василькой Семипаловым только для приличия выпили по стопке самогона. Потом они уже после гулянья, на рассвете, утолили жажду у Ильи Антоновича дома.

Об этом я узнал слишком поздно, когда ко мне из прокуратуры поступило дело о привлечении Головы к уголовной ответственности за самогоноварение. «Ну, теперь ему крышка!» — подумал я и схватился за голову. Что делать? Случай из ряда вон, и как раз в момент кампании по борьбе с самогоноварением. «Теперь ему крышка!» — подумал я, и сердце сжалось.

Я снял трубку и позвонил председателю райисполкома. Сергей Яковлевич тяжело вздохнул и сказал:

— Я тут — пас.

Сажать Илью Антоновича очень не хотелось, да и это было бы с моей стороны чудовищной неблагодарностью. А что делать?! О нашей дружбе известно всему району. Самоотвод — самый разумный и законный выход из этого положения. Кому тогда доверить разбор дела? Своим заместителям?.. Авениру Темкину? Конечно, он бы с великой радостью согласился, только доверь, — провел бы суд с помпой и размотал бы Илье Антоновичу всю катушку. Ивану Михайловичу Иришину? Этот, по доброте душевной, осудит его на год лишения свободы — больше-то у него не поднимется рука написать, и тогда никакие жалобы и апелляции не помогут. Областной суд не глядя заштампует этот приговор. А год для Головы при его характере — вечность. Нервы его не выдержат, выкинет какой-нибудь фортель... Просить областной суд передать дело в соседний район? А что толку?! Самый умный и милейший судья не согласится на условное осуждение: приговор по протесту прокурора наверняка будет отменен за мягкость. Если же я сам буду слушать это дело и вынесу условное наказание... Трудную задачу задал мне друг — Илья Антонович Голова. Долго я над ней думал и наконец сказал сам себе: «Что будет, то будет. А дело разберу сам. Проведу процесс со всей строгостью закона, с заседателями, которые во всем идут судье наперекор».

Дня за три до суда ко мне в кабинет явился сам Голова. Глаза у него блестели, а из-под шапки выбивался кудрявый спутанный чуб. Он плюхнулся на диван, с хрустом потянулся.

— Ну что, судить будешь?

— Буду.

— Ну, ну, валяй, наяривай,— тоскливо улыбаясь, сказал Илья Антонович.

— Вон из кабинета! — строго приказал я.

Он встал, сморщился, затряс головой:

— Спасибочка, Семен Кузьмич, от всего сердца благодарен.— И вышел.

Я смотрел в окно. Он шел от суда по дороге к чайной и вытирал шапкой лицо.

Спустя часа два он явился — трезвый, робкий, совершенно подавленный.

— Ходил... думал... А на сердце такая тяжесть, словно убил я человека. А что я сделал? Честно выполнил волю народа,— с грустью пожаловался Илья Антонович.— Нет, ты скажи, неужели колхозник не имеет права на культурный отдых в свой праздник?

Я не стал ему отвечать. Да и что я мог ему сказать?!

Он пристально посмотрел на меня и жалобно протянул:

— А, молчишь! Значит, я ни в чем не виноват.— Он тупо уставился в пол. Потом оторвал глаза от пола и испуганно посмотрел на меня: — Много могут дать?

Я сказал, что это дело суда и что готовиться надо к худшему.

Он дернулся и зябко поежился, словно бы ему было холодно, и заговорил, пытаясь придать голосу равнодушный тон:

— Наплевать на все! Дадут год, отсижу как-нибудь, потом получу паспорт и махну куда-нибудь в город, а то в Сибирь — белку промышлять. Не страшно. Голова нигде не пропадет!

— А если два? — спросил я.

— Все равно,— как эхо отозвался он.

Я объяснил Голове, что нужно срочно предпринять. В первую очередь не хныкать и немедленно ехать в город, искать адвоката. При нем я позвонил в областную прокуратуру, и мне назвали фамилию толкового защитника.

В день суда рано утром явился адвокат и до открытия судебного заседания успел познакомиться с делом. Впрочем, дело было простое, ясное и не вызывало никаких сомнений. Адвокат разочаровался и сказал, что ему здесь делать нечего.

Когда мы вошли в зал судебного заседания, он был полон. Еще бы! Кого судят-то? Знаменитого Илью Голову. Он стоял, вытянувшись по стойке «смирно», в начищенных до солнечного блеска сапогах, в синих диагона-

левых галифе и в новой зеленой гимнастерке, подпоясанной широким офицерским ремнем. На гимнастерку он нацепил все свои регалии, а сбоку повесил полевую сумку. Я взглянул на Илью Антоновича и подавил улыбку. Он сделал все, чтобы выглядеть солидно и внушительно.

Меня беспокоил вопрос о составе суда. В последнюю минуту прокурор может заявить мне отвод. И это не только законно, но и обоснованно. Но я уповал на строптивость своих заседателей, которые из чувства противоречия возьмут да и отклонят ходатайство прокурора. К счастью, до этого не дошло. Когда я спросил прокурора, доверяет ли он слушать дело этому составу судей, он сразу же ответил, что не возражает. Хуже было с подсудимым. Илья Антонович никак не мог понять, что значит возражать против состава суда, да и вообще — может ли он здесь против чего-либо возражать. А когда наконец дошел до него смысл слов, он очень удивился и дал мне понять, что кому же еще, как не мне, может он доверить свое печальное дело.

Я машинально вел процесс и плохо слушал, что говорилось. Я думал об одном — как вести себя с заседателями. Если я буду настаивать на условном осуждении, они восстанут против меня и будут требовать подсудимому самого строгого наказания. Если же вести себя так, чтобы они потребовали условного осуждения, тогда областной суд отменит наш приговор. Там не очень любят, когда приходят дела с условным осуждением. Областные судьи скорее сами применяют условное наказание, чем позволяют это нам. Они считают себя выше нас по крайней мере на три головы, а умнее — на все четыре. Перед ними не сидит человек, у которого глаза ошатели и с носа каплет пот. А у моего подсудимого пот тек даже из ушей.

К концу заседания у меня полностью созрел план действий.

В прениях прокурор просил суд определить Голове год лишения свободы; адвокат, как я и ожидал, просил тоже год лишения свободы, но условно.

Когда Илье Антоновичу предоставили последнее слово, он вскочил, вытаращил глаза и заговорил одними междометиями: «Э-э... Я-я... И...» — и, не сказав ничего вразумительного, махнул рукой и сел.

Как я предполагал, так оно и вышло. Не успел я сказать, что подсудимый, хотя и виновен, но заслуживает снисхождения, как заседатели в один голос заявили,

что никаких снисхождений ему — два года тюрьмы, и баста. Я подписал приговор, но предупредил, что не согласен с ним и буду писать особое мнение. Должен сказать, что они не возражали, когда я попросил их не брать осужденного под стражу до вступления приговора в законную силу.

Когда я огласил этот приговор, зал ахнул. У прокурора почему-то неестественно задергалась шея. Но он ничего не сказал, схватил портфель и стремительно вышел. Зато возмущению адвоката не было предела. Он долго доказывал в канцелярии суда секретарям, что это предел дикости и жестокости.

— Нет, вы только подумайте! — страстно говорил он, размахивая руками. — Сам прокурор просил год, а они — два. О, идиоты, варвары, бессердечные!

Но что было с Ильей Антоновичем! Приговор пригвоздил его к полу. Все давно уже разошлись, а он все стоял перед столом суда, беспомощно разводя руками. Адвокат подошел к нему, посадил на стул, стал горячо убеждать, что он этому позорному приговору ломает хребет. Он поинтересовался, кто остался при особом мнении. И когда я назвал себя, он изумленно вскинул брови:

— О-о-о-о! — И сразу же сел писать кассационную жалобу.

Жалко Голову, до слез жалко! Но что делать?! У меня другого выхода не было.

Посыпались телефонные звонки. Меня беспрерывно спрашивали, утка это или правда, что Голове дали два года.

Позвонил и Сергей Яковлевич и холодно сказал, что он был обо мне лучшего мнения. Я обиделся и заявил, что суд ни от кого не зависит и подчиняется только закону.

— Понятно. Будь здоров, судья! — оборвал он меня и повесил трубку...

Я пошел в канцелярию. Секретари о чем-то вполголоса разговаривали с судебными исполнителями. При моем появлении они замолчали, разбежались по своим местам и с усердием принялись скрести перьями. А уборщица и сторож Манюня демонстративно бросила на пол швабру и заявила, что завтра же берет расчет.

Спустя две недели дело Головы рассматривалось в кассационной инстанции облсуда. К делу, кроме жалобы, был приложен ворох характеристик и справок. Но на всю эту бумажную шелуху я меньше всего рассчиты-

вал. Главным козырем в этой рискованной игре был сам Голова, его личное обаяние: на суде должен был присутствовать Илья Антонович.

В тот день я с утра ходил как чокнутый. За эти две недели нервы окончательно растрепались, и мною овладело отчаяние. Теперь я был твердо убежден, что, несмотря ни на что, приговор будет оставлен в силе. До обеда я себя еще кое-как держал в руках, а потом стал звонить председателю уголовной коллегии. Без счету я вызывал город, и каждый раз мне отвечали, что дело еще не рассматривалось. И только к вечеру я услышал сиплый, не женский голос Павлины Тимофеевны, или попросту Павлиники, как зовут ее все народные судьи. Я робко спросил, как решилось дело Головы.

— Мы считаем, что народный суд правильно решил это дело. Самогоноварение по области приняло угрожающий характер, и борьба с ним должна вестись самая решительная.

Я ничего ей не ответил. У меня вывалилась из рук трубка.

— Алло, Бузыкин! — взывала ко мне Павлиника. — Куда ты пропал? Так я говорю, — продолжала она, — в этом смысле ты молодец, что ведешь жестокую карательную политику... Но, — она чуть-чуть смягчила голос, — все же мы решили сохранить ему свободу. Два года так и оставили, но считать их условными. Человек он заслуженный, неопасный и весьма симпатичный... — Дальше я не помню, что она говорила, но говорила что-то приятное и хорошее...

Мои расчеты и надежды оправдались. Голова остался на свободе. Но это не принесло мне ни радости, ни удовлетворения, хотя мой авторитет бесстрастного и строгого судьи в глазах начальства подпрыгнул сразу на три ступени. Зато я навсегда потерял друга и хорошего человека. Теперь мы не встречаемся. Он считает, что за все его добро я отплатил ему черной неблагодарностью. Разве мог он, да и кто-либо другой, предположить, что только для спасения его свободы я затеял эту рискованную игру с правосудием! Об этом не узнал никто. Да и надо ли об этом рассказывать?

А лихой партизан Голова после всех этих судебных передраг сник. С председателей его сняли, назначили бригадиром. Он пробыл на этой должности с полгода, потом выправил паспорт и уехал, а куда — никому не известно.

Заседатели

...Если судьба меня оставит в Узоре на долгие годы, тогда я подберу себе настоящих заседателей. А сейчас таких у меня немного. Вот они: санинспектор Лидия Михайловна Афолина, колхозник Петр Арсентьевич Ефимов, счетовод Василий Анохин, колхозный казначей Вадим Артемьевич Ухорин. Они всегда с охотой готовы разбирать любое запутанное дело, и, как они сами признаются, в суде для них — отдых. Это явление обычное. Кому неизвестно, что человек по-настоящему отдыхает от одной работы, когда берется за другую?

Лидии Афолиной лет двадцать пять. Она не замужем. И это меня удивляет. У нее все данные, чтоб нравиться мужчинам: и внешность, и характер — добрый, веселый. Она судит не умом, а сердцем. Во время слушания дела Лидия — дотошный следователь, в комнате тайного совещания — невыносимый спорщик. Это злит меня и возмущает. Но стоит взглянуть на ее разгоряченное розовое лицо, на приоткрытые в легкой улыбке губы — злость мгновенно пропадает. Улыбка у Лидии покоряющая, она выражает красоту, радость жизни, и больше ничего. Вероятно, поэтому большинство приговоров, вынесенных с участием Лидии Михайловны, отменяется областным судом за мягкостью меры наказания.

Петр Ефимов и Василий Анохин — толковые заседатели, и работать с ними одно удовольствие.

Выше всех я ценю, конечно, Вадима Артемьевича Ухорина. Философу свойственно разумно мыслить и неразумно поступать. Обывателю — наоборот. Ухорин по своему складу ума ближе к философам. Начнет говорить — не наслушаешься, а возьмется за дело... Все у него получается так, как у того кузнеца, который за неимением зубов раскалывает орехи кувалдой. Вадим Артемьевич, кроме как к умным разговорам, больше ни к чему не приспособлен.

Вадиму Артемьевичу шестьдесят лет, а за плечами у него никакого ремесла. Пробовал пахать — бросил, пытался служить — не получилось. Уехал в город, поступил на завод, а через три года опять вернулся в деревню, оставив в городе и жену и детей.

Про Ухорина ходят самые нелепые слухи. Вадим Артемьевич и не пытается их опровергать. С невозмутимым спокойствием философа он рассуждает: «О человеке можно ничего не знать, зато о нем можно все сказать».

Заседателем он стал, мне кажется, по ошибке, зато «ошибка» эта дала мне превосходного заседателя. Жизненные наблюдения, незаурядный ум Ухорина, не находившие до сего времени применения, как нельзя лучшегодились для суда. В самых затруднительных, казуистических делах он умел найти верный выход, а порою подсказывал поистине мудрое решение.

Два охотника никак не могли поделить волчью шкуру.

Голодный волк, бродя вокруг деревушки Козий Рог, напоролся на капкан. Железные челюсти капкана схватили его за лапу. Но зверь был матерый и настолько сильный, что уволок капкан. Хозяин капкана бродил по следу двое суток и, совершенно отчаявшись, бросил поиски. А через неделю узнал, что километров за пятнадцать от его деревни был убит волк с капканом на лапе. Он разыскал охотника, который убил волка, и потребовал свой капкан. Тот отдал ему без всяких возражений. Делу бы на этом и кончиться. Но хозяина капкана замучила зависть и обида. Государство за убитого волка выплачивало четыреста рублей премии и девяносто рублей за шкуру до денежной реформы. Все это привело в конце концов к судебной тяжбе. Владелец капкана требовал признания за ним абсолютных прав на зверя, утверждая, что все равно волк с капканом далеко бы не ушел и в конце концов сдох бы. Его противник иска не признавал, доказывая, что, если бы он не пристрелил волка, тот бы великолепно еще лет десять душил овец и резал коров, так как капкан уже едва держался на лапе зверя. Доводы обеих сторон звучали убедительно, однако проверить их достоверность не представлялось возможным. Приходилось обоим верить на слово. Но кому из них верить, что принять за истину и как решить это одновременно столь простое и сложное дело? Я обратился к Вадиму Артемьевичу, он, улыбаясь, пожал плечами, как бы говоря: «Ну вот, нашел над чем задумываться!» — но ничего не сказал. Другой мой заседатель уверенно заявил, что в иске надо отказать, так как волк должен принадлежать тому, кто убил его из ружья. Я с ним согласился и быстро написал решение.

Вадим Артемьевич несколько раз внимательно перечитал его, старательно очистил перо, нехотя обмакнул его в чернила и, вздохнув, вывел жирную подпись.

— Что это вы так тяжело вздыхаете? — спросил я.

— Нелегко подписываться под несправедливостью, — ответил он.

Это меня удивило.

— Зачем же ты подписался, если сомневаешься?

Ухорин усмехнулся:

— Ведь ты же, Семен Кузьмич, тоже сомневаешься. И тоже подписался, и не только подписался, но и сам сочинил это решение.

Меня взорвало.

— Что ты этим хочешь сказать? — резко спросил я.

— Сомневаешься — не торопись делать выводы, — спокойно ответил Вадим Артемьевич и, помолчав, добавил: — Мне кажется решение неверным — по-вашему выходит, что волка убить так же легко, как курицу. Да если бы у него на лапе не было капкана, разве бы его убили! Волк хитрый и осторожный зверь, недаром на него облавой ходят.

— Если бы волка не убили из ружья, он все равно ушел бы, отгрыз лапу и ушел, — веско заявил заседатель Ефимов.

— Конечно, ушел бы, — охотно согласился с ним Ухорин.

— Чего же ты хочешь наконец? — спросил я.

Вадим Артемьевич сказал, что он ничего не хочет и ему совершенно наплевать на этого волка, но справедливость требует, чтобы шкуру и премию поделить между охотниками поровну.

Мы еще немного поспорили с ним, но уже для вида, из самолюбия. Неопровержимая логика Ухорина была очевидна.

Когда я заново переписал решение и огласил его в зале судебных заседаний, охотники дружно сказали: «Спасибо, гражданин судья». Другого решения они и не ожидали. В таких делах они разбираются лучше всех судей, вместе взятых.

Вадим Артемьевич готов в любое время слушать любое дело. Если я его не вызываю, он идет в сельсовет и напоминает мне по телефону.

— Семен Кузьмич, вы меня не забыли? — спрашивает он.

— Никак нет, Вадим Артемьевич. Только что думал о тебе.

— Значит, мне завтра приходиться?

— Обязательно.

В колхозе Ухорин числится общественным казначеем. Я очень смутно представляю, что это за должность. На работу в суде он смотрит как на свою основную и дорожит ею.

Примирение

Позавчера я провел выездную сессию суда в Макарьевском сельсовете. Вы, наверное, думаете, что для этого мне специально по заказу подали машину и я погрузился в нее с заседателями, прокурором, адвокатом, экспертами и прочими участниками процесса. Ничего подобного! Я сунул в портфель три тощие синие папки и сказал своему секретарю Тонечке Пишулиной: «Идем». И мы пошли.

По большаку до Макарьева километров пятнадцать. Мы же двинулись напрямик тропинкой. Утро было ясное, тихое, прохладное, с обильной росой. Солнце еще не жгло — оно тепло и приветливо улыбалось нам с бездонно прозрачного неба. Река, отшумев в узком каменистом русле, спокойно текла, мягко покачивая прибрежный камыш, звонко клокотала на перекатах. Над густыми зарослями березняка, свистя и хоркая, тянули вальдшнепы; с противным пронзительным криком как настеганный носился чибис.

Но уже чувствовалось, что весна догуливает свои последние деньки, а на смену ей идет лето — душное, пыльное, с роями мух и назойливыми слепнями, с полуденной сонной истомой, соленым потом, с горячим дыханием ветров, бурными грозowymi дождями и изнурительными полевыми работами.

Влажная, упругая тропинка вела вдоль берега, крутого и обрывистого. Над водой клубился пар, словно ее подогрели. От берегов стремительно шмыгали ельцы, узкие и темные, как тени, на быстринах плескались язи, а в густых зарослях осоки тяжело, как камень, бултыхнулся лещ.

Тропинка свернула в сторону, и мы, перейдя по бревнам крошечное болотце с протухшей ржавой водицей, вышли на широкий низинный луг с редкими приземистыми кустами ольшаника. Свежий, сочный, изумрудный, он цвел всюду, блестел и переливался мириадами радужных искр.

И я задрожал, как от озноба. Моя душа встрепенулась, и я чуть не задохнулся от радости. Свершилось чудо! Оно, это тонкое едва уловимое «я», внезапно вернулось, и мне захотелось кричать и плакать. И я бы закричал и навзрыд заплакал от счастья, если бы не было рядом секретаря, — упал бы в траву, исступленно целовал бы эту благодатную сырую землю, дающую нам все: и жизнь, и силу, и счастье, и любовь. И мне

стало легче и привольнее, чем птице. Я мог свободно дышать, чувствовать и наслаждаться. Теперь я обладал всем! Все, что окружало меня, было мое: солнце — только для меня, и этот веселый пестрый луг существовал, чтобы улаживать и радовать мое «я».

Удивительно тонкая, капризная и чудесная штука — собственное «я» — то, что способно чувствовать, понимать и находить смысл и радость жизни в самом простом и обычном: и в этом заболоченном лугу, и в кривоствольной чахлой березке, и в стройной, гордой сосне, и в лиловом полевом колокольчике, и в этой светлой, игривой речонке с нелепым названием Разливайка.

Вернувшееся «я» не покидало меня весь день. Наоборот, оно росло, крепло, и наконец я полностью стал сам собой — человеком, умеющим чувствовать, страдать, а также уважать чувства и страдания других.

Когда мы пришли в Макарьево, около сельсовета стояла толпа празднично одетых колхозников. Я подумал, что, видимо, как раз попал на религиозный праздник. Но, оказывается, все они пришли послушать, как будут судить двух вдов, Машку и Наташку, подравшихся из-за жениха — Ваньки Веселова.

Помещение для суда было заранее подготовлено, заседатели давно уже дожидались меня, и я не мешкая, в каком-то приподнятом, веселом настроении, открыл заседание и объявил, что слушается дело по обвинению Марии Петровны Петровой в нанесении побоев на почве ревности гражданке Комаровой Наталье Ильиничне. В избе словно ветер зашелестел, несколько рук вытолкнули к столу Машку с Наташкой. Молодые складные вдовушки, одна в ярко-красной кофте, другая — в розовой, как вечерняя заря, в одинаковых черных широких юбках и аккуратных хромовых сапожках, они походили друг на дружку, как солистки из русского хора. Только одна была слишком полна и пухла, другая же не толста и не тонка, а так, в меру фигуриста. Они стояли передо мной, стыдливо прикрывая лица платками. У пышной видны были только яркие губы, у фигуристой — два черных настороженных глаза.

— Мария Петровна кто будет? — спросил я.

— Вон та, левая, — подсказал мне заседатель.

— Займите место на скамье подсудимых, Петрова, — нарочито строго, чтобы сдержать улыбку, приказал я.

Подсудимой оказалась толстушка. Она села на узенькую скамейку, съежилась, подобрала под себя ноги.

— Потерпевшая Наталья Комарова, какие у вас будут ходатайства перед судом?

Фигуристая, в розовой кофте женщина отрицательно покачала головой и села рядом с Петровой.

Я хотел сказать, что она только потерпевшая и на скамье подсудимых ей не место, но, подумав, решил: «Пусть сидит рядом».

— Свидетель Иван Веселов здесь?

Мой вопрос был встречен дружным хохотом. Подсудимая вскочила, взмахнула платком и, блистая полными слез глазами, закричала:

— Нетути больше Ваньки-то, гражданин судья. Ванька-то наш на машину — и аля-ту-ту поехали.

— Как «ту-ту»? Куда? Зачем? — растерянно пробормотал я, ошарашенный решительным напором подсудимой.

— А кто его знает куда! Известное дело, от суда, от сраму сбежал.

И тут вскочила потерпевшая. Все у нее тряслось: и кофта, и руки, и губы, и голос.

— Врет она, гражданин судья. От нее сбежал, замутила парня.

Подсудимая подбоченилась, топнула ногой:

— Как бы не так, от меня! Да спроси у кого хошь, кто от такой сласти побежит!

Потерпевшая Наташка Комарова оглядела ее с ног до головы и презрительно плюнула:

— Квашня!

— Головешка черномазая!

— Свинья кособрюхая!

Они принялись поносить и честить друг друга с изумительной изобретательностью на словечки и прозвища.

Они потом мгновенно изготавились к бою и, конечно, вцепились бы друг дружке в волосы, но я пригрозил им штрафом за недостойное поведение в суде. Они притихли, закрылись платками и уселись на скамейку. И так каждый раз, когда их темперамент начинал хлестать через край, я напоминал им о штрафе, и это действовало как ушат ледяной воды.

— Гражданка Петрова, — обратился я к подсудимой, — вы признаете себя виновной в том, что нанесли телесные побои своей соседке?

Подсудимая изумленно всплеснула руками и нараспев протянула:

— Царица небесная, ну и бессовестная! Она же первой и начала... Поглядь-ка, товарищ судья, как она, На-

ташка, двинула холодным сапогом под это место! До сих пор сине! — Она хотела показать, где у нее сине, но я поспешил остановить, сказав, что суд ей и так на слово верит. Моя снисходительность к подсудимой больно задела потерпевшую. Она опять вся затряслась и, глотая слезы, бессвязно залепетала, с упорным желанием разжалобить суд:

— Она сама первая, гражданин судья. Я и не думала ее ударить. А если так и получилось, то не нарочно, а случайно. Разве я не знаю, что за такие дела можно срок получить!

Подсудимая злорадно улыбалась.

— Ха, случайно! Знаем мы, как за случайно бьют отчаянно. Вот они доказательства, тут. — Она вытащила крохотную бумажку и помахала ею перед носом соперницы: — Вот она, справочка от доктора. Мы тоже законны знаем. Так что вместе чудили — вместе и клопов давить будем, моя милая Наташенька.

Наташенька, сверкая глазами, злобно процедила сквозь зубы:

— Суд еще посмотрит, чей козырь старше! — И вытащила из-за пазухи горсть волос и изорванную в клочья кофту. — А еще она, гражданин судья, повалила меня на землю, топтала ногами, царапалась и все старалась задушить. Поглядите, как она своими граблями разуделала мне шею. А груди так болят, что идохнуть нет никакой возможности. Так вот, дорогая Машенька, суд знает, кому больше давать.

По всему выходило, что, выражаясь словами Наташки, «давать» надо было обеим.

Хоть и так было ясно, но вопрос «Из-за чего произошла драка?» — этот вопрос щекотал мне язык. И я задал его. Да простят мне потерпевшая с подсудимой молодость и шаловливое любопытство.

Мария Петровна нехотя поднялась и, не поднимая глаз, тихо ответила:

— Из-за Ваньки Веселова.

— А кто он?

— Шофер здешнего леспромхоза.

— Что у вас с ним было?

— Любовь. Он обещал жениться на мне.

— Вам он тоже обещал? — спросил я потерпевшую.

Она кивнула головой и всхлипнула:

— Обещал, и даже раньше, чем Машке. А потом она его запутала. Парень-то он уж больно слабохарактерный, гражданин судья.

— Ничего себе слабохарактерный...

Сельсовет задрожал от хохота.

Я сделал от имени суда строгое предупреждение подсудимой и опять обратился к потерпевшей:

— И вы знали, что он одновременно и к ней и к вам ходит?

Она удивленно посмотрела на меня и улыбнулась:

— Так об этом все знали, гражданин судья.

— И вы его все-таки продолжали любить и надеяться?

— Что делать, гражданин судья! Я ведь человек-то живой.— И тяжело вздохнула.

В ее откровенно простодушном признании было столько тоски по своему маленькому счастью, что я вздрогнул и невольно взглянул на подсудимую. Ее лицо выражало то же самое. Мне стыдно и за себя, и за свои неумные, пошлые вопросы стало, да и за весь этот суд, который ничего не мог принести, кроме горечи, обиды и незаслуженного оскорбления.

Суд предложил им покончить дело миром. Они упали друг другу на грудь, громко расплакались и, обнявшись, вышли на улицу.

— Неразлучные подруги были,— после длительного молчания сказал кто-то.

— Помирятся. Теперь им делить нечего,— добавил другой.

— А бабоньки-то они славные — добрые, старательные. А вот видишь, как их судьба обошла,— сказал заседатель и щелкнул языком,— судьба-злодейка.

А бородатый старик, сидевший в углу около печки, глухим басом авторитетно изрек:

— Во всем виновата эта война распроклятушая. У меня тоже сноха с тремя ребятенками мается.

По второму делу мне тоже удалось заключить счастливый мир. Это дело было бракоразводное.

Гражданка села Озерки Зинаида Олеговна Хотелова подала в суд заявление о расторжении брака с мужем, гражданином Хотеловым Степаном Григорьевичем, и взыскании алиментов на содержание малолетнего сына Тимура Степановича. Когда я зачитал длинное заявление иска, к столу протискались стороны: Он, Она и их неопровержимое доказательство — Оно. Я взглянул и ахнул от изумления. Ответчику, то есть мужу, Степану Григорьевичу, еще было бы не зазорно и по яблоки лазать, а истице — прыгать через веревочку: так они молодо выглядели. Между ними стоял, держась за батькин

карман, краснощекий карапуз в немыслимо большом колпаке, а на шее у него висела, как огромная медаль, желтая клеенчатая слюнявка.

Несмотря на свою молодость, супруги были очень серьезные: видимо, они сознавали важность, ответственность своей затеи.

— Сколько же вам лет? — спросил я.

Степан Григорьевич не торопился с ответом. Придал лицу деловое и озабоченное выражение, то есть наморщил лоб, опустил углы губ и, нарочито солидно растягивая слова, ответил:

— Мне, товарищ судья, скоро будет девятнадцать. Зинаиде Олеговне, жене моей, недавно исполнилось совершеннолетие. А сыну нашему, Тимуру Степановичу, два года.— Он нагнул и вытер ладонью Тимуру Степановичу нос.

— И когда же вы успели обзавестись наследником? — удивленно спросил я.

— То есть вы, гражданин судья, имеете в виду нашего Тимура? — не теряя степенности, переспросил Степан Григорьевич и пояснил: — Мы только как месяц назад в сельсовете сочетались законным браком. А до этого существовали в незаконном браке.

— Ну вот, не успели расписаться, а уже разводиться. Куда же это годится, Степан Григорьевич? Ведь это же очень нехорошо,— заметил я.

Степан Григорьевич покачал головой и, как старичок, сокрушенно вздохнул:

— Она очень молода, гражданин судья. Я так думаю, и глупа поэтому.

Истица фыркнула в нос и, рассекая ладонью воздух, категорически заявила:

— Пусть я буду самая распоследняя дура, а все равно с тобой жить не буду.

— Это почему же? — спросил я.

— Дерется он, как самый последний мужик. А еще десятилетку закончил!

Степан Григорьевич свою роль разумного хозяина и строгого мужа исполнял с уморительной солидностью. Зинаида Олеговна изображала глубоко оскорбленную в своих лучших чувствах супругу. А суд походил на спектакль, в котором дети с комической серьезностью разыгрывали для взрослых семейную драму.

— Я, гражданин судья, не дрался, потому что драться с женщинами — не мужское занятие. А учил я ее уму-разуму,— степенно рассуждал ответчик.

Когда я спросил у него, в чем выражалось его учение, он пояснил так:

— Пришел я это, товарищ судья, со службы домой. А служу я в лесничестве, в бухгалтерях состою. Пришел я домой и вижу, простите за грубое слово, полный хаос: дверь раскрыта настежь, изба полна кур, собака позволяет себе спать на нашей новой, с пружинным матрасом кровати. Тимур сидит под столом и плачет и весь запацкан, извиняюсь за некультурное выражение, поносом. Перво-наперво ликвидировал этот хаос, а потом пошел разыскивать жену. А вы знаете, где я ее нашел? На самом краю деревни, у ее незамужней подружки Лидки Хреновой. А чем занимались? Срам сказать! Отплясывали под патефон танцы с фокстротами. Дело ли это, товарищ судья, для замужней женщины? Я так думаю, что не дело. И это было не в первый, а в третий раз. В первый раз я ее просто предупредил, потом предупредил крепко, а в третий раз взял за волосы и провел по улице до самого дома. Она выла как зарезанная и, конечно, нарочно притворялась, потому что, между прочим, я ее не таскал, а только слегка держал за волосы. И вот видите, вместо того чтобы извлечь из моего урока для себя пользу, она затеяла этот скандальный суд. Так что, товарищи судьи, я категорически против развода.

— Что бы ты, Степа, ни говорил, но после такого сраму я с тобой жить не буду. Разводите нас, гражданин судья, по всем законам,— капризно потребовала истица и поджала губы.

Я усмехнулся:

— А не лучше ли помириться, Зинаида Олеговна?

— Ни за что и никогда! — запальчиво выкрикнула Зинаида Олеговна и, смахнув с ресниц слезу, добавила: — Я вся оскорблена и обесчестена.

Однако разводить их мне не хотелось. Да и все, кто присутствовал на суде, не хотели этого, и, конечно, больше всех — Тимур. Он уже побывал на руках у отца, потом перебрался к матери, хватал ее за нос, теребил волосы, а она поминутно целовала его и гладила.

Примирение — дело не из легких. Как правило, уже разведенные супруги мирятся дома. В суде же почти никогда.

Я рисовал истице ужасы одиночества, запугивал трудностями, стыдил, уговаривал, просил. Меня активно поддерживали заседатели, а потом начали уговаривать, стыдить и убеждать зрители. И Зинаида Олеговна стала помаленьку сдаваться. Она еще продолжала негодовать

и страдать, что женская гордость её погублена, душа оплевана и чувства растоптаны грубым мужицким сапогом. Но гнев и страдание теперь звучали вознаграждением самолюбию. Она находила в них облегчение, и радость, и наслаждение. И наконец она, счастливая и румяная, как кукла, согласилась на примирение. И все, кто был в сельсовете, радовались. А я больше всех. И не потому, что мне удалось помирить эту наивную, смешную супружескую пару, а еще и потому, что разбуженное природой «я» помогло мне сделать что-то большое и доброе.

Когда мы с секретарем возвращались из Макарьева в Узор, то опять повстречали чету Хотеловых. Они выходили из лавочки сельпо. Степан Григорьевич согнулся под тяжестью покупок. Одной рукой он придерживал на плече железное корыто, в котором гроыхали два больших чугуна, ведро и стиральная доска. В другой руке он нес банку с керосином, а на шее болтался допотопный фонарь «летучая мышь», который можно еще найти в наших далеких, глухих деревушках. Зинаида Олеговна несла крохотный узелок и тащила за руку Тимура. Он волочил ноги и грыз серый и твердый, как кусок штукатурки, пряник. Они прошли мимо, даже не взглянув на меня, а может быть, просто не заметили. Я же долго смотрел им вслед.

На одной подножке

В окно моей комнаты видны железнодорожная насыпь, будка на ней, два куста вербы и лоскут белесого неба.

Утро. Солнце насквозь прожигает стекла, в комнате светло и жарко. Васюта под окнами кормит кур. Я знаю, что она сейчас придет и расскажет какую-нибудь новую историю.

— А вчерась-то... Не слышали? — начнет она. — Аптекарь чуть не утонул. Налил глаза и пошел в баню. А около бани яма. Он в эту яму с пьяных глаз нырнул и не вынырнул. Почти мертвого вытащили и на «скорой помощи» увезли в приемный покой. Положили там его на стол, завернули рубаху и только было хотели по евоному животу ножом полыснуть, а он очухался, открыл глаза и начал потихоньку матюкаться. Во срамник-то! Говорят, весь спирт в аптеке вылакал.

Потом Васюта побежит к соседке Наталье, а от нее к подружке Марье и всякий раз будет передавать эту

историю по-новому. И покатаются по Узору самые невероятные легенды об утоплении бедного аптекаря. Хотя это никакая не история и даже не событие — обыденный серенький случай. Пошел аптекарь в баню, на мостках оступился и упал в яму, сильно ушибся, и его отвезли на машине в больницу. Меня всегда возмущает мещанская страсть находить в человеке только плохое и радоваться этому и раздувать до нелепых размеров. Одни это делают из злобы, другие — ради забавы, третьи — так просто, и сами не знают, для чего. Этим грешат не только мещане, но и интеллигентные, образованные люди. В институте один кандидат юридических наук, кажется, Кениг, читал нам лекции о половых преступлениях. Примеры он брал из интимной жизни замечательных людей. С каким удовольствием он смаковал все дурное, словно бы он сам подсматривал в замочную скважину! И мы, студенты, вместо того чтобы оборвать пошляка, слушали его восхищенно, раскрыв рты. Почему же это так получается? Почему мы не ищем с таким же усердием в человеке хорошие, добрые начала и не развиваем их? Уверен, если бы мы так поступали, и жизнь бы наша была намного светлее и отраднее...

Выходной день. Скука. Не знаю, куда деваться от тоски. Симочка давно уже мне не пишет. Что с ней? Помнит ли она меня? Ее наивный, милый упрек: «Ах, Семен, зачем?» — я повторяю теперь по нескольку раз в день.

Разыскиваю последнее ее письмо, читаю какой уже раз тетрадный листок, исписанный Симочкой так мелко, словно бисером усыпанный. В нем много ошибок. Впервые читая, я подчеркнул их красным карандашом. Тогда это мне доставило удовольствие. А теперь я об этом жалею. В письме она грозилась скоро приехать. Но прошло пять месяцев, она не едет и не пишет. Смутное предчувствие беспокоит меня. Почему характер Васюты Тимофеевны с каждым днем черствеет и портится? Разговаривая со мной, не смотрит в лицо, поджимает губы, слова роняет, как драгоценные капли. На днях потребовала деньги за квартиру уплатить за месяц вперед. А вчера заявила, что мясо на рынке подорожало. Черт с ней, с Косихой и мясом, буду ходить в чайную. А придет Симочка — и все само собой уладится. Но почему же она не пишет? Я теперь очень люблю Симочку. А может, это все только кажется и мои страдания не что иное, как тоскливая блажь? Почему ж я тогда все

время думаю о ней? Разве мало в Узоре хороших девушек? А меня вот тянет к ней. Симочка ничуть не красивее, не добрее, не умнее своих подруг. Но у нее есть то, чего нет у других. А что это, я затрудняюсь объяснить. Вся она какая-то уютная. А мне этого уюта очень не хватает. Вот почему, мне кажется, я о ней думаю. Думает ли она обо мне? Надо выяснить немедленно, сейчас же, иначе будет поздно.

Я сажусь сочинять письмо. «Симочка, здравствуй...» В голове вихрем кружится: «милая», «любимая», «радость», «голубка», а нанести эти слова на бумагу не хватает сил.

По радио исполняют фортепьянный концерт Шопена. Дивная, неземная музыка захватывает меня, и я забываю и о Симочке, и о Васюте, и о своей неудобной жизни. Я слушаю без волнения, без радости, уронив на стол голову. Пианист едва касается пальцами клавиш, а мне больно, словно он бьет по сердцу. Музыка смолкла, и мне так грустно, словно мимо промелькнуло что-то неповторимо прекрасное.

Вошла Васюта и остановилась в дверях комнаты, держа руки под фартуком.

— Завтрак-то готовить или в чайную пойдешь? — И ушла, что-то бормоча под нос.

Я скомкал письмо, швырнул его в печку, оделся и пошел в чайную.

По случаю воскресенья чайная пустовала. У входа дежурил хромой бездомный пес Пират. Обычно, когда в чайной народу невпроворот и официантки мечутся как угорелые, Пират околачивается меж столов, с успехом попрошайничает.

В просторной, с низкими потолками комнате, словно голубая кисея, висел кухонный чад, пахло дымом, луком и еще чем-то отнюдь не съедобным.

За соседним столом инструктор райкома Ольга Андреевна Чекулаева отчитывает повара Федю Тюлина. Федя стоит перед ней навтыжку и, как солдат, повторяет одно и то же:

— Так точно. От нас не зависит.

— А грязь от вас тоже не зависит? — спрашивает Ольга Андреевна.

— Так точно. Это дело официанток, — бойко отвечает Федя.

— А плохие обеды тоже от вас не зависят?

— Так точно. Не зависят.

— От кого же тогда?

— От потребсоюза. Что дают — из того жарим, парим, варим.

— А мухи в борще от кого зависят? — Чекулаева подцепила ложкой муху и поднесла под нос повару.

Федя даже не моргнул и бойко заявил:

— Это не муха, а жареная луковка.

Ольге Андреевне пришлось пригласить свидетеля — меня. Под строгим надзором двух пар глаз Федя стал близоруко и внимательно изучать муху.

— Ну да, луковка, самая настоящая подгорелая луковка. Откуда же тут мухе быть? Разве что с потолка свалилась!

Ольга Андреевна приказала Феде немедленно убрать тарелку с борщом. Федя взял тарелку и, ворча, что надо самой дома обеда готовить, а не по чайным шляться, пошел на кухню.

Аппетит у Ольги Андреевны пропал. Она отказалась от борща с гуляшом и выпила один лишь стакан чаю. Я же от роду не брезглив. Что мне муха, когда я пережил ленинградскую блокаду! Но из солидарности тоже не стал обедать, только вместо чая заказал бутылочку пива.

Время уже подходило к полудню. Я пожаловался Чекулаевой на безысходную скуку. На это Ольга Андреевна ответила, что и ей хотелось бы немножко поскучать, да нет ни минуты свободного времени.

— Отчет о работе парткабинета готовить надо? Надо. Статью в газету написать надо? Надо, Семен Кузьмич, — улыбнулась она и загнула второй палец. — В среду опять занятие по марксизму, и к экзаменам в институте готовиться ой как надо! Сессия на носу, а у меня еще и конь не валялся. Когда же тут скучать! На сон не хватает времени. Жаловаться на скуку с тоской могут только бездельники да пустые люди.

Я хотел ей возразить, но она меня перебила:

— А ты что, не можешь найти себе в выходной день разумного дела? Не можешь? — И, не ожидая моего ответа, заявила: — Так я это дело тебе сейчас подберу. Поезжай в колхоз и проведи занятие с коммунистами.

Я сказал, что у меня занятия по пятницам. Она усмехнулась:

— Знаем мы эти пятницы! Уверена, опять не поедешь, скажешь, что завален делами. По-хорошему поезжай. Теперь тебе ехать-то недалеко — каких-нибудь пятнадцать километров поездом.

Время до вечера девать некуда. Погода отменная: полное безветрие и солнце. Оно захватило все небо и нестерпимо колет поселок жгучими лучами. Воздух застыл, и Узор как будто вымер. Пират от жары дышит как загнанный. Язык у него изо рта вывалился и болтается, как тряпка. Около чайной куры лениво перетряхивают лошадиный помет. На самой макушке высоченной ели чучелом торчит ворона. Ей даже каркнуть лень. Ни писать, ни читать — ничего не хочется, и спать — тоже. И в самом деле, почему бы не поехать в колхоз? Провести занятие — и гора с плеч.

Иду на станцию и успеваю как раз к приходу поезда. Поезд стоит в Узоре одну минуту, и билетов в летнее время на него не бывает. Но это меня не волнует. Перехожу на другую сторону поезда, степенно прогуливаюсь вдоль вагонов и, как только они трогаются, вскакиваю на подножку, а следом за мной вскакивает парень в темно-синем костюме.

Паровоз набирает скорость, мелькают семафор, будка, Васютин дом, придорожный кустарник. Упругий прохладный ветерок хлещет в лицо, пузырем надувает рубаху. Чудесно! Усаживаюсь поудобней на подножке, закуриваю. Парень тоже закуривает и косо поглядывает на меня:

— Далече?

— До «Новой жизни».

— Зачем?

— По делу.

— А кто вы будете?

Мне почему-то стыдно признаться, что я судья.

— Инструктор.

Парень смотрит на меня в упор и сплевывает окурочек.

— Инструктор? Понятно... А какой инструктор?

Врать — так уж врать до конца!

— По физкультуре.

Парень усмехается:

— И давно?

— Что давно?

— Инструктором стали?

— А вам какое дело?

Глаза у парня стекленеют.

— Хватит врать! Судья Бузыкин, кажись? Ну, что смотришь? — И он весело усмехнулся: — Своих не узнаешь? Пуханов я. Судил меня год назад за хулиганство.

Мне показалось, что поезд споткнулся и пошел назад. Я схватился за поручень с такой силой, что в гла-

зах потемнело. Я онемел от страха. Да и как не онеметь! Преступник и судья на одной подножке поезда.

Это случилось в Павском сельсовете. История и трагичная и тривиальная. Пуханов — он, кажется, тогда был трактористом — ходил в женихах. Его невеста, редкой красоты девушка, но избалованная и пустая, работала секретарем директора МТС. Цвет ее глаз уловить было почти невозможно. Темнота их в одно мгновение сменялась синевой, синева — прозрачной голубизной, порой они были золотистыми и в ту же минуту гасли, становились темными, глубокими, как омут. У нее все было легкое — и фигура, и походка, и руками она умела взмахнуть, как крыльями птица.

Пуханов, парень видный, отчаянного нрава, любил ее до безумия. Об этом можно судить по преступлению, которое им было совершено из ревности. Оно отличалось невероятной дерзостью.

Незадолго до свадьбы внезапно появился молодецкий лейтенант. На нем все блестело: сапоги, погоны, пуговицы, кокарда. Этот блеск затмил солнечный свет, и голова секретарши закружилась, как карусель.

Поначалу тракторист не обращал на это особого внимания. Прошла неделя, другая, и до Пуханова дополз слухок, что его невеста уезжает навсегда с лейтенантом.

Секретарша устроила не то помолвку, не то просто вечеринку. Хотя отвергнутый жених и не был приглашен, но он явился с компанией дружков и с выпивкой. Невеста перепугалась, но Пуханов заверил, что пришел гулять по-хорошему. И все было бы хорошо. Тракторист вмиг подружился с лейтенантом, за столом сидел с ним в обнимку, пил осторожно, был весел, остроумен, громче всех пел и ловчее всех плясал. Начались танцы. И тут секретарша все испортила. Пуханов пригласил ее на вальс, но она ему отказала и бросилась в объятия лейтенанта. Пуханов и это стерпел. Но когда она, танцуя, стала целоваться с офицером, нервы у Пуханова сдали...

В суде Пуханов рассказывал: «Меня словно кто ударил по голове — все завертелось, в глазах потемнело, и я полетел в какую-то пропасть». Он схватил стол и с невероятной силой ударил его об пол. Стол крякнул и развалился на куски. Гости бросились вон, давя у двери друг друга. Первым выскочил лейтенант, без шапки и шинели. Пуханов носился по дому как ураган. Бил, громил, топтал, корежил. Когда уже больше бить и ломать

было нечего, он сорвал с петель дверь, унес на спине и бросил в реку.

В суде Пуханов держался вызывающе. В последнем слове заявил, что ни в чем не раскаивается. Лейтенант на другой же день после скандала уехал. Когда я стал допрашивать секретаршу, она вся затряслась, заплакала и попросила простить своего первого жениха. Пуханова осудили на год лишения свободы. Он выслушал приговор и удивленно спросил: «За что? За разбитые горшки? А что тут разбито вдребезги,— он постучал кулаком по груди,— так это вам ничего? Эх вы, судьи!» Милиционер тронул его за рукав и сказал: «Пойдем». — «Пойдем,— вздохнул Пуханов и погрозил кулаком: — Погодите, отбуду срок, я вам все припомню!» Милиционер завернул ему руку за спину и вывел на улицу.

И вот через полтора года его угроза, казалось, готова осуществиться. Я мертвой хваткой вцепился в поручень и сжался в комок, думая: если он меня не прирежет, то не так просто будет ему сбросить меня с подножки. А Пуханов насмешливо сквозь зубы цедил:

— Судья и преступник на одной подножке поезда. Вот так встреча! Расчудесные чудеса.

Я его плохо слышал. Страх отнял у меня способность соображать. В голове вертелась одна дикая мысль: махнуть с подножки под откос. Но поезд шел быстро, и как раз по тому перегону, который здешний народ прозвал «проклятым». Осенью на ходу здесь из товарного вагона вывалилась свинья, и совсем недавно на этом перегоне паровоз сбросил с рельсов корову. Только бы проскочить этот проклятый участок, там начнется подъем. Я мысленно молил бога, подгонял и торопил поезд. Пуханов, казалось, не обращал на меня никакого внимания. Сидел он на ступеньке сгорбясь, втянув голову в плечи. Но вот он пошевелился, кинул на меня косой взгляд и сунул руку в карман. И в то же мгновение какая-то неведомая сила толкнула меня с подножки. Я очень плохо помню, как это получилось... Его рука ухватила меня за воротник, придавила к ступеньке. Лицо у него было как мел, а в расширенных глазах метались огромные зрачки. Пуханова трясло. Он долго не мог поймать в пачке папиросу. Наконец это ему удалось, и он в пять глубоких затяжек выкурил ее. Я чувствовал себя так, словно меня опустили в парное локо.

Накурившись, Пуханов несколько успокоился и, покачивая головой, стал размышлять вслух:

— Ну и ну... Вот так дела... Час от часу забавней! С чего это ты?.. Жить, что ль, надоело?..— И вдруг резко спросил: — Испугался? Меня?

Я не ответил. А что я мог ему сказать?

Пуханов продолжал рассуждать:

— Вот люди, только о себе думают. — И опять обратился ко мне: — Если бы ты, судья, разбился, мне бы была последняя амба. Наверняка приписали бы убийство. Просто ужасно подумать.— Он весь содрогнулся и с горечью произнес: — А я там как зверь вкальвал, чтоб досрочно освободиться. А тут...— И, не договорив, махнул рукой.

Начался подъем. Поезд, сбавляя скорость, лязгал буферами, дергался.

Пуханов встал, с презрением посмотрел на меня и плюнул.

— И ехать-то с тобой противно! Того и гляди, еще какую-нибудь штуку выкинешь,— сказал он и прыгнул с подножки, несколько шагов пробежал за вагоном и упал. Он лежал плашмя, не двигаясь, а потом медленно поднялся и стал тереть ушибленное колено.

Мне теперь ничто не угрожало. Но было так плохо, словно я совершил непростительную подлость. Когда я вспоминаю этот дорожный случай, меня передергивает, как от озноба... И в то же время этот случай заставил меня смотреть по-другому на человека. В самом плохом, отвратительном я пытаюсь отыскать хоть крупицу доброго, хорошего. И когда мне преподносят человека как идеальный пример, я этому так же не верю, как не верю, когда мне говорят о человеке как о кладезе зла и пороков.

Осень

За окном сентябрь, ясный и тихий. Воздух чист и прохладен. Дышится легко, и дали проглядываются на редкость отчетливо. Далеко-далеко видны словно отчеканенные кромки лесов и пестрые полосы полей. Небо с двойным рядом облаков. Нижние — грязные, лохматые — плывут в одну сторону, верхние — белые, с легкой синевой, как весенний талый лед,— в другую. Каждый звук долго, явственно звенит и откликается.

Поезд с грохотом пересек пыльную улицу Узора. Изпод колес выкатился клубок пара, скатился в канаву и запутался в сухой, жесткой траве. Мне очень грустно,

что ушел поезд, ушло лето, ушел безвозвратно еще год моей недолгой жизни, и еще ушла от меня навсегда Симочка. С этим поездом она приезжала в Узор. А я ее и не подумал встречать. Почему? Да потому, что она приехала не ко мне и не одна.

Но почему мне только грустно? Почему нет обиды и той щемящей сердце боли, когда от нас уходит любимый человек? Вероятно, в этом повинно время. Оно запылило образ, заморозило страсти, застудило чувства. И с горькой улыбкой я утешаю себя всем известной соломоновой мудростью: «Эх, Семен, Семен, все проходит».

Где же мне ночевать? В кабинете или попроситься к своей уборщице в сарай, на сеновал? Я так задумался, что не заметил, как появилась в кабинете Васюта и заговорила нараспев, растягивая слова и при этом широко улыбаясь:

— Это что ж такое! Его там ждут, а он сидит и не чешется. Пошел, пошел,— потянула она меня за рукав, когда я стал отказываться.— Сам ведь позвал. Так и говорит: «За стол не сяду без жильца».— Васюта оглянулась и таинственно зашептала: — Стар он для Симушки, ох, староват. Не такого я зятя-то ждала, да-а, не такого.— Осуждающе посмотрела на меня, скривила рот и вытерла концом платка сухие глаза, но в ту же минуту оправилась и бойко, восхищенно продолжала: — А так человек-то очень хороший. Два платья мне подарил и платок пуховый. А как ее-то одел!..— От наплыва чувств и радости Васюта закатила глаза под лоб и замахала обеими руками.— С достатком мужчина, из себя видный, представительный. От старой жены у него двое. Ну и то слава богу, хоть алиментов не платит. Ну, пошел, пошел! — И она опять потянула меня за рукав.

Что делать, пошел. Отвязаться от Косихи было невозможно. Впрочем, любопытство тоже сыграло кое-какую роль.

Встреча с Симочкой меня все-таки волновала. Я не представлял себе, как мы будем смотреть друг другу в глаза, о чем говорить. Но вот мы встретились, посмотрели друг на друга и не потупились, заговорили без трепета, как будто мы только сегодня утром расстались.

Она мало изменилась, разве что слегка располнела. Но полнота очень ей шла. Ее длинная коса теперь была уложена в тугий узел, и несколько пушистых завитков выбивались возле ушей. И вся она была какая-то светлая, насквозь пронизанная обаянием и радостью.

Она заговорила просто, глаза ее смотрели на меня прямо, без тени смущения. Понизив голос до шепота, я спросил, любит ли она своего мужа. Она не увильнула от вопроса и даже не опустила глаз — спокойно ответила:

— Люблю. Он хороший человек.

— А меня?

— Ах, Семен, ты тогда...— И, не договорив, сдвинула брови к переносице, повернулась спиной...

Есть люди, которые покоряют окружающих с первого взгляда. Борис Дмитриевич Полостов был именно из таких. С первой минуты знакомства у меня не было и намека на неприязнь к сопернику. Полостов — высокий, сильный, отлично сложенный мужчина. Я люблю крупных, сильных людей: и по характеру они добрее, и смотреть на них приятнее. Маленькие, слабосильные — первые задиры. Они желчны, обидчивы, властолюбивы и, как правило, считают себя умнее всех. В компании держутся заносчиво, кричат громче всех и, изошря свой мозг, беспрерывно острят и язвят. А большие люди смотрят на них, как на детей, и снисходительно улыбаются. Правда, бывают исключения. Но редко.

Полостов показался мне умным, образованным и даже талантливым, хотя и не без странностей. И все это без показухи, без бахвальства.

Когда мы подходили к дому, Борис Дмитриевич стоял на крыльце в шелковой рубаше с расстегнутым воротом и разговаривал с петухом. Вернее, говорил он, а рябой, тощий, с исклеванным гребнем петух орал и с треском хлопал крыльями и вдруг, согнув шею, перевернулся через хвост и припустился за курицей. Борис Дмитриевич хотел было припустить за петухом, но, увидев меня с Васютой, остановился и, смущенно потирая руки, пошел навстречу.

— Здравствуйте, здравствуйте,— говорил он, подходя,— значит, вы и есть судья. Очень, очень рад. У меня был один знакомый судья, Зусин Модест Петрович, в одной квартире жили. Не знаете такого? Оригинальный человек. О своих подсудимых не мог без слез говорить. И давал им всем только «от и до». Вы тоже так судите?

Все это он проговорил быстро, но не торопясь, сочным, звонким баритоном и, взяв меня под руку, повел в дом, не переставая балагурить.

— А Узор мне ваш сразу понравился. Ничего сквернее и не видывал. А вы что пьете? Водку, чай? А я так

и то и это. У меня специально припасена бутылочка «Петровской». Фу, ну и запахи же у тещи в снях!

За столом Борис Дмитриевич полностью овладел разговором и заговорил всех окончательно. О серьезном он говорил несерьезно, а о пустяках — наоборот, с умным видом. Судил обо всем резко, порой даже бранливо, но обязательно с усмешкой, и выходило весело.

За каких-нибудь полчаса он успел рассказать десяток анекдотов. Симочку они не интересовали, а Васюта не понимала, хотя и слушала их с широко открытым ртом и выпученными глазами. Полостов рассказывал их ради меня. Я терпеть не могу анекдоты, особенно если они рассказываются с целью просто посмеяться. Борис Дмитриевич рассказывал их забавно, обязательно по какому-нибудь поводу, к месту.

— О боже, бывают же такие чудеса, — вздыхает он, переходя от анекдотов к дорожным приключениям. — Ехал с нами в одном вагоне невзрачного вида человечиско. Сидел в уголке тихо, как мышка, сжимая под лавкой ногами какой-то мешок и пугливо озираясь. И вдруг пропал. Никто не заметил, как вышел. Да и вообще, кому до него дело! Значит, приехал, если вышел. А на следующей станции в вагон вваливается ряд милиции, и прет прямо в наше купе, и шаст под лавку. Вытаскивает мешок — обычный мешок, в каком бабы на рынок кур возят. Вытащили, показывают нам и хохочут: «Вы знаете, граждане, что в этом мешке? Триста тысяч!» Оказывается, этот тип, банковский работник, вез на весь район деньги. А на станции выскочил в буфет выпить кружку пива. Пока пил — поезд ушел. Если б деньги пропали, какую бы ты финансистике статью пришил?

— Преступную халатность, — сказал я.

— А это сколько?

— Предельно три года.

— Да здравствует правосудие! — захохотал Полостов, и все тело его всколыхнулось и тоже засмеялось, и только спокойными и серьезными оставались глаза. Как я заметил, у Бориса Дмитриевича вообще улыбались только брови и губы, а глаза, серо-зеленые, оставались острыми и хитрыми. Выражение их менялось, когда он обращался к Симочке. Тогда в них появлялось что-то кроткое и по-детски восторженное.

Поначалу мы изучающе примеривались, обращались друг к другу на «вы», при этом зачем-то обязательно наклоняя голову, украшали речь такими фразами, как

«Позвольте мне по этому вопросу высказаться» или «Как я заметил, вы очень тонко выразились», и т. п. До слез хохотали над плоской остротой. Но вскоре как-то незаметно перешли на «ты», заспорили, перебивая друг друга, сыграли в шахматы и расстались наипервейшими друзьями.

Наша дружба завязалась не случайно, закономерно, из потребности общения столь близких по характеру натур. Да и с кем я мог искать в Узоре общения? Разве что с Сергеем Яковлевичем! Но он постоянно занят. Полостов, как и я, в Узоре одинок. Все же он счастливее меня. Около него теплая, обаятельная Симочка. Мне же вдвойне плохо. Я все время чувствую вокруг себя пустоту и стужу.

Прошла неделя, и мы уже не могли провести вечер друг без друга. Правда, первые впечатления об уме, таланте его потускнели и стерлись, но все же он приятней и интересней других.

Полостову пятьдесят лет, он полковник на пенсии. Выйдя в отставку, сразу же поступил учиться на какие-то краткосрочные курсы по подготовке учителей. Во время учебы познакомился с Симочкой. Окончив курсы, приехал в Узор, чтоб навсегда в нем осесть учителем географии в средней школе.

С первых дней преподавательская деятельность пошла у Бориса Дмитриевича, как говорят, через пень-колоду. Он решил ввести свою методику преподавания. Что это за методика, я не знаю. Но говорят, что на уроках у полковника Полостова ребятишки ходят на головах.

По вечерам мы встречались или у него дома, или у меня в суде. Как ни уговаривал меня Полостов остаться у Васюты квартирантом, я наотрез отказался и поселился в суде, в крохотной комнатухе, в которой ночевала уборщица и сторож Манюня. Для этого мне пришлось освободить ее от обязанностей сторожа и взять их на себя. Когда я сообщил об этом по телефону своему шефу, он неодобрительно проворчал: «Мне — что, смотри сам. Как бы чего не вышло!» А что могло выйти? Как сказал один старик: «Разве ж разумный человек по своей воле в суд пойдет? Ни в жисть не пойдет! Его туда беда с милиционером за воротник тянут».

А меня другое тянуло в дом Васюты Косых, хотя каждый раз я уходил из него разбитый и подавленный, давая себе слово больше никогда здесь не появляться.

Мне приятно сидеть в чистой, теплой, уютной комнате. От намытых полов пахнет можжевельником и свежестью. Все свои мысли и заботы Васюта сосредоточила на уничтожении в доме грязи. Она весь день скребёт и чистит. Да и внешне Васюту теперь не узнать — одевается нарядно, ходит степенно, говорит односложно: «Да», «Нет», «Ни к чему». Соседи называют ее теперь не Васюта Косая, а по имени и отчеству — Васюта Тимофеевна. По вечерам она сидит на кухне в очках и читает одну и ту же книгу — роман «Начало жизни». А зять ее в это время сгорбился над шахматами, играет с судьей.

Полостов играет прилично, но уж очень обдумывает каждый ход. Я же передвигаю фигуры, как хорошо отрегулированный автомат. Да и как тут думать сосредоточенно! За спиной по половицам ходит босиком Симочка. Я прислушиваюсь к ее шагам и просматриваю ход пешкой. Борис Дмитриевич мгновенно выигрывает партию, начинает другую. Симочка стоит у жарко натопленной печи, то покачиваясь из стороны в сторону, то глядит на нас подбоченясь, то поднимет руки к голове, чтоб поправить волосы, и все время говорит, то смеясь, то грустно, то с какими-то тяжкими, притворными вздохами. Лицо у нее покраснелось, пышет жаром и счастьем. Меня подмывает схватить ее в охапку и убежать. Куда?! Да не все ли равно, лишь бы убежать с ней. Но это несбыточная мечта. Не только потому, что рядом сидит ее законный муж, но, главное, потому, что Симочка теперь со мной слишком спокойна и откровенна.

Как-то мне посчастливилось застать Симочку дома одну. Борис Дмитриевич задержался в школе, а Васюты не было. Я страшно обрадовался и попросил Симочку посидеть со мной, поговорить. Она села рядом на диван, поджала под себя босые ноги, зябко съежилась, накрылась шерстяным платком.

— Знаете, Симочка, что... — начал я не своим каким-то деревянным голосом.

— Что?

Это слово она не сказала. Я уловил его по движению губ.

— Что я до сих пор люблю тебя, — сказал я, стараясь придать голосу твердость.

Она подняла на меня глаза и, как прежде, посмотрела на меня прямо и открыто. Я тоже смотрел ей в глаза в упор и долго. Но она не отвернулась, не мигнула, у нее даже не дрогнули ресницы.

Я заговорил торопливо, сбивчиво, с жаром, что люблю в первый раз, а может быть, в последний. Уверял, что мне без нее и жизнь не в жизнь. Расхваливал ее мужа, говорил, что он достойнее меня во сто крат, а я так несчастлив...

Кончил я свой жалобный монолог такими словами:

— Симочка, я тебя ни в чем не обвиняю. Я даже рад, что у тебя так счастливо сложилась судьба. Я больше докучать не буду и ходить к вам больше не буду. Но знай, что я одинок, как никогда, и очень страдаю.

Но она даже не шелохнулась и не повела бровью, и на лице ее ничего нельзя было прочесть, кроме равнодушного недоумения. Я ждал ответа на свое признание. Симочка же молчала. Мне стало обидно. И я с горечью сказал:

— Я не верю, что ты любишь Полостова.

— А вот люблю,— живо откликнулась она.

Я усмехнулся:

— Раньше и мне то же говорила.

— Я и тебя любила.

— А теперь?

Она посмотрела, закуталась в шаль, сжалась в комочек.

— Ну что же ты молчишь?

— А что мне говорить?

— Раньше ты любила меня, а теперь?

Она нервно передернула плечами:

— Теперь люблю Бориса Дмитриевича.

Я уныло опустил голову и устался в пол, как большая собака. Симочка бесшумно встала и вышла из комнаты.

Я почти никуда не хожу. Только по утрам выползаю на рынок и раз в неделю в библиотеку. Набираю охапку книг, без разбору, что попадет под руку, и глотаю, не пережевывая, ночи напролет. Единственно, кто еще меня помнит и навещает, так это Ольга Андреевна Чекулаева. Позвонит по телефону и спросит:

— Ты еще жив, Буза?

— Существую.

— А как?

— Надо бы лучше, да не умею.

— Ну так я к тебе вечером забегу и поучу немножко.

Она приходит, сильная, здоровая, и сразу же начи-

нает наводить у меня порядок. Закатывая рукава кофты, Ольга категорически заявляет:

— Все мужчины порядочные поросята. И образ жизни у них — как внешний, так и внутренний — поросчатый.

— Вот что, голубушка, — говорю я, — если ты желаешь сотворить ближнему добро, то вначале сотвори его в душе. А потом принимайся за это дело с тихой радостью, без попреков и оскорблений.

Ольга Андреевна, чтоб не рассмеяться, стискивает зубы.

— Подумаешь, великая радость чистить твой свинарник!

— Оставь и уходи.

Она вспыхивает:

— Эх ты, бревно неотесанное! Другой бы на твоём месте за великую честь почел, что к нему пришла такая молодая и красивая женщина. Что улыбаешься? Может, скажешь, что я не красивая?

Она вплотную подходит ко мне, кладет руки на плечи и сильно встряхивает:

— Отвечай мне, красивая я?

Глаза у нее темнеют. Мне становится почему-то жутковато, я опускаю голову и бормочу:

— Красивая.

— А еще какая? — шепчут ее губы.

— Сильная.

— И ты меня боишься?

Она ждет ответа с нетерпением. Пальцы ее словно клещами сжимают мое плечо. А я стою, молчу и краснею. Ольга Андреевна отходит к окну, смотрит на улицу. Видит ли она что-нибудь там, я не знаю. Скорее всего ничего не видит — мешают слезы. Она давно любит меня. Но я как-то странно ощущаю ее красоту и любовь. Они не вызывают во мне ни волнения, ни желания. Ольга Андреевна как быстро вспыхивает, так же быстро остывает. Минутная слабость прошла. Я таскаю ведра с водой, дрова, мусор, а она чистит, скребет и моет, и делает это все с большим удовольствием.

Но вот уборка кончена. В комнате жарко и сыро, как в прачечной. Подсыхает пол, над плитой сушится полотенце. Из чайника хлещет пар, а крышка звенит, подпрыгивает.

Двенадцатый час ночи. Но мы все еще сидим. Чтобы как-нибудь протянуть время, Ольга Андреевна начинает опять уборку. Моет посуду, подметает пол и делает все

это нарочито медленно. Посуда вымыта, стол насухо вытерт, Ольга оглядывается, что бы еще такое сделать; и, убедившись, что делать совершенно нечего, садится, положив на колени руки. И так, не шелохнувшись, сидит долго, морщит лоб, кусает губы. Она хочет что-то сказать и не решается — ждет, когда заговорю я. А я молчу, нехотя перевертываю страницы книги.

— Знаете что? — прерывает она молчание, обращаясь ко мне почему-то на «вы».

— Что? — равнодушно откликаюсь я.

Ольга испуганно вздрагивает и говорит совершенно не то, что хотела сказать.

— Который час?

— Вероятно, первый.

— Так много? А спать не хочется, — говорит она, грустно улыбаясь. — Ну, я пошла.

Ольга встает, снимает с гвоздя пальто. Я помогаю ей просунуть в рукава руки и по ее грустным глазам вижу, как ей не хочется уходить. И, словно в подтверждение моей догадки, она, вздохнув, говорит:

— Если бы ты знал, как мне не хочется!

— Чего не хочется?

— С утра ехать в командировку.

— Я провожу тебя.

— Зачем?

— Да так...

— Не надо. Прощай. — И хлопает дверью.

Каждый раз, уходя, она бросает мне это слово. Но я знаю, что она придет, и придет обязательно, чтоб сказать мне его еще раз. Придет, покрасневшая от радости, стыда. Она радуется, ей приятно видеть меня, сидеть рядом, дышать одним воздухом.

Мне тоже приятно бывать у Симочки, дышать с ней одним воздухом.

СОДЕРЖАНИЕ

НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ ЖЕЛЕЗНЫЙ ДОЖДЬ

НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ	8
ЖЕЛЕЗНЫЙ ДОЖДЬ	96
Богдан Сократилин о преимуществах ар- мейской жизни	101
Рассказ первый, записанный со слов Богда- на Аврамовича	111
Рассказ второй, записанный со слов Богда- на Аврамовича вечером того же дня	173

УРОД

НАДЕНЬКА ИЗ АПАЛЁВА СУДЬЯ СЕМЕН БУЗЫКИН

УРОД	210
НАДЕНЬКА ИЗ АПАЛЕВА	275
Апалёво	275
Наденька	278
Молодежь	285
Все проходит	293
СУДЬЯ СЕМЕН БУЗЫКИН	311
Узор	311
Единогласно	313
Как я слушал первое дело	315
Голова	321
Заседатели	331
Примирение	334
На одной подножке	341
Осень	348

**Виктор Александрович
Курочкин**

НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ

Повести

Заведующий редакцией А. И. Беланский
Редактор А. А. Девель
Оформление серии В. И. Боковни
и Д. А. Бюргановского
Рисунок на обложке и шмуцтитулы Б. А. Аникина
Художественный редактор А. К. Тимошевский
Технический редактор Л. П. Никитина
Корректор Т. П. Гуренкова

ИБ № 3007

Сдано в набор 27.01.84. Подписано к печати 18.05.84.
М-13819. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 1. Гарн.
литерат. Печать высокая. Усл. печ. л. 18,90. Усл.
кр.-отт. 19,43. Уч.-изд. л. 20,58. Тираж 100 000 экз.
Заказ № 402. Цена 1 р. 40 к.
Ордена Трудового Красного Знамени Лениздат, 191023,
Ленинград, Фонтанка, 59. Ордена Трудового Красного
Знамени типография им. Володарского Лениздата,
191023, Ленинград, Фонтанка, 57.

Курочкин В. А.

К93 На войне как на войне: Повести. — Л.: Лениздат, 1984. — 357 с., ил. («Библиотека молодого рабочего»).

В книгу вошли две военные повести Виктора Курочкина — «На войне как на войне» и «Железный дождь», а также повести «Урод», «Наденька из Апалёва» и журнальный вариант ранней повести «Судья Семен Бузыкин». Вступительное слово написано писателем-фронтовиком И. И. Виноградовым.

К $\frac{4702010200-035}{M171(03)-84}$ 200-84

84 3(2)7

В 1984 году в серии:

**«БИБЛИОТЕКА
МОЛОДОГО
РАБОЧЕГО»**

выходят следующие книги:

**МЕРИМЕ П.
НОВЕЛЛЫ**

**ТИХОНОВ Н.
ВО ВСЕ СТОРОНЫ СВЕТА
(Стихотворения, поэмы)**

**ШАГИНЯН М.
ЧЕТЫРЕ УРОКА У ЛЕНИНА**

библиотека
молодого
рабочего



лениздат

Виктор Курочкин
семнадцати лет пришел на фронт.

В звании младшего лейтенанта
он принял командование тяжелой
самоходкой, прошел через
небывалое танковое сражение
на Курской дуге. Был ранен.

Награжден орденами
Отечественной войны I и II степени,
орденом Красной Звезды, медалями.

И война в его изображении
истинная, подлинная.

Повесть «На войне как на войне»
вошла в золотой фонд
русской военной прозы,
была экранизирована. По повести
«Наденька из Апалёва»
поставлена пьеса
«Сердце девичье затуманилось».

